

Л. ГУРКО

Кризис
американского
духа

И * Л

*Издательство
иностранной
литературы*

CRISIS
OF THE AMERICAN MIND

Leo Gurko

CHAIRMAN, DEPARTMENT OF ENGLISH,
HUNTER COLLEGE, NEW YORK

Rider & Company

Для научных библиотек

Л. Гурко

**Кризис
американского
духа**

Сокращенный перевод с английского
И. С. ТИХОМИРОВОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1958

Редакция литературы по философии и психологии

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга американского автора профессора Л. Гурко «Кризис американского духа» написана с позиций буржуазного либерализма. Ее автор — типичный представитель этого идейного направления. Издательство, выпуская в свет эту книгу, давало себе отчет в том, что автор, критикуя американский образ жизни с буржуазно-либеральных позиций, не отвергает его, а старается прописать рецепты по устранению кричащих противоречий этого образа жизни. Но именно потому, что об этих противоречиях пишет буржуазный либерал, заподозрить которого в «коммунистической пропаганде» невозможно, его показания, разоблачающие капитализм, весьма ценны.

Давно уже известно, что свидетельства представителей буржуазного лагеря бывают в ряде случаев разоблачительными по отношению к этому лагерю.

Желает того или не желает Л. Гурко, он в своей книге рисует упадок буржуазной демократии, акцентируя особое внимание на разложении современной американской культуры, и приводит факты этого разложения. Материалы, которые привлекает автор, раскрывают механизм реакционной политики американских монополистов в области национальной американской культуры, незавидное положение творческой интеллигенции, в частности ученых и писателей, эксплуатацию их мозга представителями «большого бизнеса», презрение к свободной мысли и свободному исследованию, насаждаемое американскими монополистами. Автор сообщает некоторые новые данные о расовой дискриминации, о грубых националистических предрассудках и суевериях, об истерии ревизализма. Эти предрассудки и суеверия всячески поддерживаются и разжигаются американскими монополиями и их прессой, кино, радио и телевидением. Политику американских монополий в области культуры как нельзя лучше охарактеризовал Теодор Драйзер, когда он писал: «В Америке кучка захвативших власть магнатов стре-

мится обратить в рабство наш великий народ — и в этих целях она прежде всего старается духовно растлить его».

Как буржуазный либерал, Л. Гурко возмущается «кошмаром маккартизма», он говорит о его антикоммунистической демагогии и симпатизирует жертвам разгула маккартистских элементов, запугивающих американцев мифической угрозой «мирового коммунизма». Он рассказывает также о социальной демагогии «мелких американских фашистов» вроде Хью Лонга и пресловутого отца Кофлина (стр. 238—239).

Книга, таким образом, представляет определенный интерес отражением разложения современной американской буржуазной культуры. Она отражает мучительные противоречия, в которых бьются представители американской буржуазной интеллигенции.

Выпуская русский перевод этой книги, издательство считало целесообразным ознакомить советского читателя именно с этой стороной книги.

Но буржуазный либерал остается таковым даже тогда, когда он критически относится к наиболее яркому проявлению произвола монополий, кричащих противоречий капиталистического общества.

Будучи буржуазным либералом, Л. Гурко, разумеется, не мог дать последовательной и глубокой критики духовной жизни современного американского общества. Эта непоследовательность и поверхностность критики есть, прежде всего, следствие убеждения автора, будто пороки американской жизни могут быть устранены при сохранении капиталистических порядков. Автор убежден, что реакционные тенденции, проявившиеся в американской буржуазной демократии и ее культуре, якобы могут быть устранены при условии, что к руководству политической и духовной жизнью страны придут более «разумные», более «реально мыслящие», более «интеллектуальные» деятели, с более глубоким сознанием «своей моральной ответственности». В этой связи автор развенчивает одних американских политических деятелей и одобряет других, не замечая, что дело не в личных моральных качествах того или иного буржуазного деятеля, а в политике того класса, которую этот деятель призван проводить и которой он служит верой и правдой. Автор видит не борьбу народной, подлинно демократической культуры с культурой буржуазной, а борьбу различных

течений внутри одной «культуры американской нации», целостность которой, как мимоходом вынужден признать Л. Гурко, подрывается классовыми противоречиями, все более обостряющимися в стране.

Вместе с тем он явно преувеличивает значение «просвещенного сотрудничества» в области культуры в условиях буржуазного общества и значение той «резкой критики», которой подвергается духовная жизнь современной Америки со стороны буржуазной общественности. Л. Гурко не видит, что подлинный расцвет культуры американского народа возможен только на путях ликвидации господства монополистического капитала.

Основное внимание в своей книге Л. Гурко уделяет судьбе интеллигенции. Он не показывает действительное положение подлинного творца материальных и духовных благ американского общества — талантливого и трудолюбивого народа Америки — трудящихся масс, в особенности рабочего класса. Следствием этого не может не быть определенная односторонность книги. Ее автор, по существу, боится масс.

Рецепты, которые, как надеется Л. Гурко, излечат безнадежно больную буржуазную культуру, являются более чем наивными. Так, он всерьез полагает, что «сочетание культуры с коммерцией», то есть покровительство крупных монополий науке и искусству, способно вывести современную Америку из присущего ей глубокого духовного кризиса. Он питает «самую живую надежду на то, что материальное положение деятелей искусств улучшится» (стр. 303). Каким же образом?

Оказывается, главным образом с помощью «огромных затрат на интеллектуальную деятельность со стороны фондов Рокфеллера, Гуггенгейма и Форда» (стр. 304). Иными словами, автор думает, что все будет хорошо, если американские монополисты уделят часть своих богатств, то есть часть награбленной ими сверхприбыли, стимулированию культуры. Слов нет, и бизнесмены заинтересованы в определенном роде культуры, поскольку, как правильно замечает автор, «интеллектуальное развитие и широкое образование нужны для целей самого бизнеса» (стр. 304). Но это — упадочническая, антигуманистическая культура.

В то же время подлинную культуру, которая связана в Америке с такими замечательными именами, как Джон

Браун и Джон Рид, Теодор Драйзер и Джек Лондон, Чарли Чаплин и Поль Робсон, и многими другими, американские монополисты не только никогда не поддерживали, но и всячески травили и преследовали с помощью послушного им государственного аппарата.

Автор сообщает много фактов, рисующих коррупцию в «свободных американских институтах», и даже приводит резкую оценку Хемингуэем некоторых деятелей американского кино, радио и прессы как «проституток по призванию» (см. стр. 145). Он приоткрывает завесу над механизмом управления буржуазной прессой со стороны монополий, так что читателю становится ясным, что ни о какой подлинной свободе печати и слова в современном буржуазном государстве не может быть и речи.

Вместе с тем он пытается убедить читателя в свободе печати в США, различает «хорошие» и «плохие» газеты, «серьезные» и «бульварные». Первые он всячески берет под защиту, считая их деятельность выражением американской демократии, вторые же осуждает. Однако одного этого осуждения недостаточно для того, чтобы понять, почему «плохие» и «бульварные» газеты задают тон в американской прессе и почему именно они пользуются наибольшей финансовой поддержкой монополистов. «Свобода печати» оказывается свободой буржуазной печати, которая выражает не мнение народа, а волю господствующего капиталистического класса.

Как видно, с одной стороны, автор книги разоблачает американский образ жизни, а с другой стороны, прописывая рецепты его излечения, выступает как апологет современных буржуазных порядков. Это показательно для современной буржуазной либеральной интеллигенции. Это обстоятельство не удивляет нас. Оно дает полное основание заявить, что такой путь критики американского образа жизни и показа «кризиса американского духа» непоследователен, противоречив. Только марксистско-ленинская критика является действительной критикой капитализма. Она соединяет подлинный анализ общества с практической революционной борьбой по его изменению. Именно так критикуют капитализм.

Попутно с критикой различных сторон современной американской культуры автор пытается ответить на вопрос о причинах международной напряженности, поскольку, как он это признает, международная напряжен-

ность не может оказать тормозящего влияния на развитие культуры и прогресса различных народов.

Однако ответ, который Л. Гурко дает на этот очень важный и актуальный вопрос, является явно неудовлетворительным. Он видит, например, попытки американского империализма захватить в свои руки нефтяные источники на Ближнем и Среднем Востоке, но объясняет это «истощением» нефтяных ресурсов в самих США; он лишь глухо говорит о пагубности «доктрины Трумэна» и пишет об ответственности «международного коммунизма» за международную напряженность, то есть повторяет общепринятые в буржуазной пропаганде лживые объяснения причин международной напряженности. Правда, он вносит и свою лепту, когда пишет о «рыцарском» поведении США (см. стр. 284).

Что касается «рыцарского» поведения американского капитализма во время второй мировой войны, то о нем более чем красноречиво свидетельствуют Нагасаки и Хиросима, где с помощью только что созданной тогда атомной бомбы были истреблены сотни тысяч детей, женщин и стариков. Народы нашей страны помнят «американских рыцарей» по участию в кровавой интервенции против молодой Советской республики во время гражданской войны. Можно напомнить и другие подвиги рыцарей доллара: интервенцию в Корею, подавление демократической республики в Гватемале, агрессию против ливанского народа, провокации и агрессию против великого китайского народа. Вместе с тем народы всего мира хорошо знают, что Союз Советских Социалистических Республик всегда был и является стойким и мужественным защитником дела социального и национального освобождения трудящихся масс, непоколебимым оплотом дела мира и дружбы между народами. Внешняя политика Советского Союза, основанная на ленинских принципах сосуществования стран с различным социально-экономическим строем, привлекает в лагерь мира и социализма все новые и новые миллионы сторонников.

Как представитель буржуазного либерализма Л. Гурко не приемлет великих идей научного коммунизма, не желает по достоинству оценить величайшую социальную, политическую и культурную революцию, которая произошла в странах социализма и начало которой было положено Великой Октябрьской социалистической револю-

цией, а также ее громадное влияние на социальное развитие народов всего мира, в том числе и на их культуру.

Хотя автор и осуждает попытки маккартистов запугать американцев, он одновременно, в целях доказательства своей лояльности использует некоторые истасканные обвинения против коммунизма (стр. 20, 24—26, 232, 254, 288). Некоторые из этих его «рассуждений» в книге сокращены при переводе. Читатель заметит также, что там, где автор берется судить о социалистической культуре, он не обнаруживает компетентности, которая в определенной мере присуща его оценкам «кризиса американского духа». Его рассуждение о пролетарской литературе и материалистической эстетике (стр. 255—256) далеко не блещут оригинальностью, они фальшивы и заимствованы у известных в США специалистов вроде Э. Симмонса.

Свою книгу Л. Гурко заканчивает призывом способствовать созданию «полноценного человека, который должен стать центральной фигурой новой цивилизации». Л. Гурко надеется, что этот человек появится в результате развития положительных сторон, которые, как он считает, присущи буржуазной демократии, и изживания ее отрицательных сторон. Это, разумеется, глубокое заблуждение автора, только что не без убедительности показавшего, какого весьма неполноценного человека воспитывает современная буржуазная культура и желают воспитывать американские монополии.

К тому же, что весьма показательно для позиции Л. Гурко, он не замечает, что тот полноценный человек, которого он не видит в современном буржуазном обществе и которого он ищет, уже появился — этот человек нового социалистического общества, избавившийся в результате социалистической революции от эксплуатации, неуклонно повышающий свое материальное благополучие и свободно развивающий свои духовные способности.

Будущее человечества не может быть обеспечено никаким другим обществом, кроме социалистического, и никакой другой культурой, кроме социалистической, — таков неизбежный вывод, вытекающий из объективных закономерностей развития современного общества. Обзор современной американской буржуазной культуры, данный Л. Гурко в его книге «Кризис американского духа», еще раз подтверждает этот неоспоримый вывод.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Один умный человек четверть века назад сказал: «В мире сейчас существует два грандиозных эксперимента — русский и американский. Не может быть так, чтобы оба оказались успешными».

Нельзя отрицать, что в данный момент Россия захватила инициативу в свои руки. Со смелостью, которую не приходится осуждать, она ведет борьбу за мир по всем направлениям. Нью-йоркская биржа в страхе трепещет, всемогущий доллар теряет по одному, по два цента, а владельцы автомобильных заводов вынуждены сокращать часть своих рабочих.

Может быть, Америка стоит накануне нового 1929 года? Этот вопрос у многих на устах.

Поэтому книга Лео Гурко «Кризис американского духа» выходит в свет очень кстати. Подобно Розе Дартл, нам хочется все знать.

Эта книга во многих отношениях замечательна. М-р Гурко вырос в Детройте — главном центре автомобильной промышленности. Будучи идеалистом, он осуждал преклонение перед всемогущим долларом, хотя отдавал себе полный отчет в его значении и необходимости.

Он закономерно попал в Нью-Йорк — город сияющих небоскребов и блестящих возможностей. Но куда девались добродетели века крытых фургонов? Где ему найти простоту жизни, которая придавала энергию его предкам?

Окунувшись в жизнь, как пловец в море, Гурко искал таящуюся в ней правду. Он увидел, что если американка развивает свои умственные способности, то ей почти наверняка будет трудно привлечь внимание мужчины. Молодая женщина, серьезно занимающаяся в университете, обречена на одиночество.

Да, в этом виноват был мужчина. Американец слишком занят, зарабатывая доллары, чтобы интересоваться сонетами, фурами или картинами. По его понятиям, образованная женщина, выражаясь на современном жаргоне,— ярмо на шее.

М-р Гурко ужасается тем, что видит вокруг, но, как честный человек, признает, что накопление долларов является для американца формой самовыражения.

Если американец ищет искусства, ему предлагают телевизор. Если мечтает о романтической любви, ему показывают Мэрилин Монро. Ему хочется помечтать, а ему дают последние сводки с биржи.

М-р Гурко — не пропагандист. Он — наблюдатель, исследователь и актер американской жизненной комедии. Подобно всем писателям, он ищет зрелой мысли и убеждается, что обаяние американского народа в отсутствии у него этой зрелости.

Это бесспорный факт, что в Нью-Йорке владелец ресторана может указать вам на кого-нибудь и сказать: «Этот человек стоит сто тысяч долларов в год!» — и будет уверен, что нарисовал вам полный его портрет.

Окончательное впечатление от книги таково, что м-р Гурко в отчаянии от американского образа жизни и все же не променяет его ни на какой другой.

М-р Гурко относится к числу тех счастливых писателей, которые могут быть серьезными, не становясь скучными. Его сатира смягчена искренним гуманизмом, а описание недостатков американского общества уравновешивается у него признанием того факта, что мужество и оптимизм все еще типичны для американского характера и что у американцев начинает уже вырабатываться более зрелый подход к жизненным проблемам.

Короче говоря, эту книгу должны прочесть все, кто хочет знать, что означает для нас американский эксперимент.

Биверли Бэкстер

Моей жене Мариам Гурко, чей творческий ум, редакторское мастерство и исключительное терпение помогли выходу в свет этой книги.

Лео Гурко

МЕСТО ИНТЕЛЛИГЕНТА В ЖИЗНИ АМЕРИКИ

Г Л А В А I

КОШМАР МАККАРТИЗМА

По мнению западноевропейцев, одним из наиболее пагубных последствий холодной войны является распространение в Соединенных Штатах угрожающего явления, широко известного под названием маккартизма. Это движение, возглавляемое самым беспринципным из всех политических демагогов послевоенного периода — пресловутым сенатором Маккарти, под флагом защиты национальной безопасности развернуло наступление на гражданские свободы, на демократические течения и либеральные традиции и в конце концов приняло форму злобного антиинтеллектуализма. Ловко спекулируя на страхе американцев перед Россией, маккартисты взяли такой курс, который был способен не только установить их контроль над американской внешней политикой, но и окончательно превратить их в цензоров над образом мыслей американцев.

Необычайная карьера сенатора Маккарти как лидера маккартистского движения началась официально с его речи в Уилинге, в штате Западная Виргиния, весной 1950 года; в своем выступлении тогда он утверждал, что в государственном департаменте работает несколько сот членов коммунистической партии. Это заявление имело прямую связь с холодной войной между Америкой и Советским Союзом, впервые достигшей к этому времени большого размаха, и послужило искрой, из которой разгорелось все маккартистское движение.

Вскоре, однако, выяснилось, что республиканцы-маккартисты и их сторонники были заинтересованы не столько в устранении «коммунистической опасности» (американская коммунистическая партия даже в пору своего расцвета, в 30-х годах, имела фактически неболь-

шое влияние; к 50-м годам она сократилась до весьма скромных размеров), сколько в дискредитации и искоренении либерализма, «нового курса» и всех традиций, связанных с социальными реформами. Поэтому Олджера Хисса использовали в качестве дубинки не столько против коммунистического движения, сколько против Рузвельтовского государственного аппарата, который стали обвинять в том, что он кишит подрывными элементами. Демократическую партию, представление о которой еще со времен Гражданской войны ассоциировалось с реформами, стали называть «партией измены». Государственных служащих, даже не имевших явных связей с коммунистами, но когда-либо участвовавших в либеральных движениях, пригвождали к позорному столбу в различных комиссиях по расследованиям и, очернив их репутацию, увольняли с работы. Под подозрение ставились преподаватели колледжей, Организация Объединенных Наций, учебники, даже те произведения фольклора, в которых встречался хотя бы самый слабый намек на социальные перемены (в штате Индиана легенда о Робин Гуде была названа коммунистической пропагандой, потому что в ней идеализировался человек, грабивший богатых, чтобы помогать бедным). Высшие чиновники государственного департамента, некогда критически относившиеся к Чан Кай-ши, ставшему теперь одним из кумиров новоявленных реакционеров, увольнялись со своих постов, а такой уважаемый американец, как генерал Маршалл, автор плана Маршалла, лауреат Нобелевской премии мира (хотя и профессиональный военный), был заклеен в сенате как «продажный обманщик» за то, что во время своей миссии в Китае предложил создать коалиционное правительство из коммунистов и гоминдановцев.

На каждого коммуниста, оказавшегося на скольконибудь видном посту, приходились сотни лиц, которых подвергали гонению часто на таких крайне шатких основаниях, как косвенный намек и слух. Многие лица, чья свояченица, или троюродная сестра, или брат входили когда-либо в какую-либо организацию «коммунистического фронта», были обвинены с помощью дикой теории, несовместимой с понятием об американской демократии,— установления вины по связям. По существу, одним из главных обвинений против Дж. Роберта Оппенгеймера

было то, что кто-то из его родственников сочувствовал коммунистам. Неустанная погоня за «подрывными элементами» распространилась на армию, на частные предприятия, на профсоюзы, колледжи и университеты, образовательные и научно-исследовательские благотворительные учреждения, на увеселительные заведения; наконец, под обстрелом оказалась даже сама конституция. Ссылка на пятую поправку к конституции в качестве гарантии против самообвинения теперь рассматривалась Маккарти и его сторонниками как признание вины. Некогда почтенное слово «безопасность» приобрело теперь неприятный оттенок, и если про кого-нибудь было сказано, что он представляет собой «угрозу для безопасности», никакие ухищрения не могли смыть с него это клеймо. Как только пускалась в ход машина подозрения — причем достаточно было самого легкого намека, — обвиняемый никогда уже не мог от него избавиться. Быть однажды оправданным оказывалось уже недостаточно. Видный ученый д-р Эдвард А. Кондон, стоявший во главе Государственного бюро стандартов, оправдывался шесть раз. Когда он ушел с государственной службы и хотел поступить на частное предприятие, против него было начато седьмое расследование; возмущенный, он отказался от места и занялся своей личной научной работой. Создалось представление, что лицу, когда-либо подвергавшемуся допросу или расследованию, никогда нельзя полностью доверять, как нельзя доверять человеку, хотя бы раз побывавшему в тюрьме.

Студентов предупреждали, чтобы они не вступали в «радикальные» или «левые» студенческие организации, если хотят сохранить надежду на получение работы в государственном учреждении. Видным американским ученым отказывали в выдаче заграничного паспорта под предлогом их «подрывных» связей (наиболее яркий пример — д-р Лайнус Полинг, ученый-химик, лауреат Нобелевской премии), а выдающимся зарубежным ученым по тем же мотивам не давали въездных виз. Был создан целый ритуал присяг, введены длинные и подробные анкеты, и даже традиционное отвращение американцев к «осведомителям» стало сменяться аморальной идеей, что для доказательства своей собственной благонадежности необходимо донести на всех своих друзей, родственников и знакомых, которые могли когда-либо участвовать в какой-либо подозрительной деятельности. Начиная с 1950 года в Аме-

рике даже сократилось изучение русского языка, в известной мере из-за боязни студентов быть обвиненными в «подрывной деятельности», а отчасти из-за страха родителей, что их отпрыск может проникнуться симпатией к коммунизму.

Страшная атмосфера взаимных подозрений и недоверия стала, подобно радиоактивному облаку, распространяться по всей стране. Общественные деятели не решались открыто высказывать свое мнение из опасения, что какой-нибудь беспринципный политик сможет когда-нибудь выступить с обвинением их в подрывной деятельности или по меньшей мере в потере бдительности, и такое обвинение приведет к увольнению их с занимаемой должности (именно такова была причина увольнения из государственного департамента ветерана войны Джона Пейтона Девиса). Антиинтеллектуальная направленность всего этого движения проявилась в том страхе и осторожности, которые стали поражать умы американцев. Совет: «Не будь ни плох, ни хорош. Будь осторожен», — казалось, все больше подходил к американской действительности.

Главный символ этих грозных событий — сенатор Маккарти — сам являлся хорошей иллюстрацией к их ярко выраженной антиинтеллектуальной направленности. Пожалуй, самое страшное в нем было то, что он никогда не высказал никакой мысли ни по одному вопросу, за исключением своей ненависти к коммунистам. Если не считать вопроса о преследовании коммунистов, он не проронил ни одного слова по поводу важнейших современных политических и социальных проблем. По вопросам сельскохозяйственной политики или помощи другим странам, по рабочему вопросу или вопросу о национализации энергетических предприятий, о жилищном строительстве, правах штатов, о бюджете, по вопросам обороны — полное молчание. Маккарти представлял собой американскую разновидность литературного героя Артура Кестлера — нового неандертальца, из мозга которого все мысли были изъяты и заменены одной чистой ненавистью. Разрушительный интеллектуальный нигилизм коммунистов рефлекторно вызвал у Маккарти разрушительный антикоммунистический интеллектуальный нигилизм, присущий противникам коммунизма, одержимым единственной идеей — антикоммунизмом. Маккарти в XX веке стал наследником политической партии нигилистов-ксенофобов, закон-

чившей свое краткое и прискорбное существование в середине XIX века.

Главными жертвами Маккарти неизбежно стали мыслящие люди. Среди его ближайших сторонников было много военных¹, а массовую поддержку он получал в основном от таких же недовольных элементов среднего класса, какие в свое время явились наиболее фанатичными сторонниками Гитлера в Германии.

Вскоре после прихода республиканцев к власти в 1953 году Маккарти, опираясь уже на свой авторитет председателя постоянной сенатской Комиссии по расследованию, обрушился на «Голос Америки». Радиостанция «Голос Америки» была единственным правительственным учреждением, всецело занятым вопросами идеологии и литературы. Немудрено, что она явилась подходящей мишенью для человека, который считал такие вопросы *per se* [сами по себе] подозрительными. И вскоре десятки служащих «Голоса Америки» подверглись унижительному допросу под объективами телевизионных аппаратов; те, кто когда-либо в жизни критиковал какую-то сторону американской действительности, были вынуждены подать в отставку, всем лицам с независимыми мнениями и суждениями были заткнуты рты, и радиостанция превратилась в жалкое подобие самой себя.

Покончив с этим делом, Маккарти принялся за более крупную интеллектуальную дичь — колледжи и университеты, начав с самого выдающегося высшего учебного заведения в стране — Гарвардского университета. Когда двое преподавателей этого университета попытались прибегнуть к помощи пятой поправки к конституции, Маккарти потребовал их увольнения. Ректор Гарвардского университета Натан Пьюси отказался выполнить это требование, в связи с чем Маккарти заклеил его самым «подрывным» эпитетом, какой только смог придумать, назвав его «ректором Пятой поправки», а Гарвардский университет — «университетом Пятой поправки». Обладая огромными денежными фондами и давней традицией защиты своего права на самостоятельное мнение, Гарвардский университет занимал твердую позицию и мог прене-

¹ Среди основателей комитета, созданного в ноябре 1954 года для сбора 10 миллионов подписей под протестом против осуждающей Маккарти резолюции конгресса, были десятки отставных армейских и морских офицеров.

бречь мнением Маккарти. Другие учебные заведения — более слабые, менее богатые и зависящие от общественных фондов, — не будучи фактически общественными учреждениями, — уступали, более или менее неохотно, требованиям нового комиссара о насильственном введении новых ортодоксальных взглядов.

Пожалуй, наиболее уязвимыми для разного рода подозрений и преследований по самому характеру своей деятельности были ученые. Как творцы атомной и водородной бомбы, они стали средством войны, значительно более действенным, чем самолеты и боевые корабли; вокруг них, естественно, был опущен защитный занавес, казалось достаточно плотный, чтобы предотвратить просачивание их знаний к русским. Имелось много специфических для Америки причин, чтобы относиться к ученым с особым подозрением: их наивность в практических, земных делах, порожденная изоляцией в лабораториях; их интернационализм, заставляющий их смотреть на науку как на всеобщее достояние, одинаково доступное всем странам; их неумение разбираться в политике, которое делало их легкой добычей для махинаций местных коммунистов, выступающих под «идеалистическим» прикрытием, — так, во всяком случае, считали многие политические деятели и работники органов безопасности. Ученые были одновременно незаменимы и ненадежны, являясь своего рода бесценным имуществом, подверженным опасности внезапной порчи, или взрывчатым веществом, опасным, как атомная энергия, которой они одни могли управлять. Всегда легко найти доводы в защиту любой теории; поэтому измена Клауса Фукса, бегство в Советский Союз Бруно Понтекорво, передача секретных сведений д-ром Аланом Нанном Меем, успех Розенбергов, выкравших для русских ценные формулы¹, — все это было использовано как яркое и грозное доказательство того, что ученых следует изолировать и охранять от их собственных слабостей и удалять при малейшем намеке на подозрение. Фукс должен был стать дубинкой, с помощью которой следовало привести в подчинение весь государственный научный аппарат; именно так

¹ Автор, в других местах книги называющий маккартизм худшим проявлением политической жизни США, некритически воспроизводит здесь домыслы и клевету маккартистов и ФБР. — *Прим. ред.*

использовали дело Олджера Хисса, чтобы унижить и очернить в глазах истории весь «новый курс».

Зот на таком фоне в начале 1954 года и было выдвинуто перед всем миром обвинение против д-ра Дж. Роберта Оппенгеймера. Это обвинение вызвало смятение среди американской публики и породило ужас в Западной Европе. Драма была классической; она имела все признаки заранее подготовленной инсценировки. Главное действующее лицо было не только чрезвычайно сложной и чувствительной натурой; Оппенгеймер возглавлял группу ученых, создавших первую атомную бомбу, и был научным руководителем работ в области атомной энергии. В качестве такового он являлся одним из первых людей в стране, лицом, обладавшим огромным престижем и влиянием. Наложить на него клеймо подозрительной личности и тем самым лишить его всякого доступа к правительственной информации означало подорвать устои самого Олимпа и потрясти этические представления всего западного мира.

Два главных обвинения, выдвинутых против Оппенгеймера, представляли собой типичные примеры нового антиинтеллектуализма. Первое сводилось к тому, что общество, в котором он вращался, было полно коммунистов: с ними был тесно связан его брат, а также его бывшая жена и целый ряд его друзей, не принадлежавших к научным сферам. Поскольку Оппенгеймер не стремился избавиться от их компании, всегда существовала опасность, что он заразится их взглядами. Правда, не было никаких улик, свидетельствовавших о том, что за пятнадцать лет знакомства он поддался их влиянию, но продолжающийся контакт делал такую возможность более чем вероятной. Правительство не могло позволить себе долгие подвергаться такому риску. Все это было известно властям еще в 1942 году, когда началась разработка первого проекта атомной бомбы и была впервые выдвинута кандидатура Оппенгеймера в качестве руководителя работ, но тогда пришлось пойти на риск ввиду исключительных способностей ученого. С тех пор появились новые специалисты, и необходимость идти на риск соответственно уменьшилась¹.

¹ Речь шла только о работе Оппенгеймера в государственных учреждениях. Председатель комитета по атомной энергии адмирал Страусс высказался за исключение отсюда Оппенгеймера. Тем не менее несколько месяцев спустя он вместе с другими попечителями

Это обвинение, помимо его юридической стороны, касавшейся вопроса об установлении вины по связям, основывалось на старом опасении, что любой контакт с идеями сам по себе рискован. Подразумевалось, что безопасен только контакт с «верными» идеями. А еще лучше, когда нет никакого контакта с какими бы то ни было идеями. Во всяком случае, почему из всех людей именно ученый должен интересоваться сложными политическими и социальными вопросами, выходящими за рамки его лаборатории? Он стал бы более квалифицированным ученым, если бы сохранил чистоту ума, сосредоточившись только на научных проблемах. В основе такого рассуждения лежит, в сущности, недоверие к идеям как таковым, к мыслящему и пытливому уму и отсюда — к самому разуму. Борьба идей является той пищей, которая питает ум на его пути к зрелости, и, по существу, у него нет другого способа развития. Вместо того чтобы быть «сбитым с пути» опасными взглядами, ум, наоборот, закаляется в борьбе с ними, крепнет и в конце концов становится неуязвимым. Тот факт, что Оппенгеймер, несмотря на свое долгое общение с людьми, подозреваемыми в принадлежности к коммунистической партии, ни в какой мере не «подпал» под влияние коммунистических идей, сам по себе был лучшей гарантией его интеллектуальной лояльности. Обратное предположение было типичным для классического вида антиинтеллектуализма.

Второе главное обвинение против Оппенгеймера основывалось на его нежелании одобрить производство водородной бомбы. Почти все другие ученые, работающие над проектом, высказались в том же духе, но все же мнение Оппенгеймера по такому решающему вопросу казалось особенно опасным. Если бы оно возоблагодало, Советский Союз получил бы колоссальное преимущество. Хотя Оппенгеймера не обвинили прямо в том, что он выступает против водородной бомбы именно по этим соображениям, но все же сопоставили его точку зрения с потенциальной выгодой для противника, и это сопоставление значительно отягчало его вину.

голосовал за вторичное назначение д-ра Оппенгеймера директором научного института в Принстоне. Грань между государственной и частной службами в нынешний век «охраны безопасности», стирающаяся в других областях, здесь полностью сохранилась.

Дело Оппенгеймера объективно означало, что отныне люди были лишены свободы суждения. В самом деле, если точка зрения, основанная на моральном или интеллектуальном убеждении, случайно совпадала с интересами противника или в дальнейшем расходилась со взглядами влиятельных групп, то высказавшее ее лицо могло оказаться дискредитированным. Теперь решения неизбежно стали бы приниматься в силу их практической ценности, а не правильности, и деятельность свободного ума оказалась бы еще более скованной. Затем боязнь взять на себя ответственность начала бы принимать еще большие размеры. Зачем рисковать? Доведенная до своего логического конца, эта боязнь могла парализовать всю структуру правительственного аппарата. Нельзя было доказать, что решение Оппенгеймера в отношении водородной бомбы не являлось его искренним убеждением. А без этого доказательства обвинение его по такому мотиву могло привести только к ограничению свободы суждения и тем самым причинить ущерб интересам науки и обороноспособности страны.

И все же ни один человек, прочитавший материалы дела, не мог не отнестись с известным сочувствием к точке зрения людей, высказавшихся за увольнение Оппенгеймера. Возможно, они считали, и не без основания, что на карту поставлены судьбы мира. Под тяжестью такой ответственности они свели обычный риск и терпимость почти к нулю, и, таким образом, то, что считалось вполне нормальным в обычной обстановке, теперь должно было безжалостно приноситься в жертву. При выборе между безопасностью и индивидуальной свободой многое можно сказать в пользу последней. Если же приходится выбирать между жизнью и индивидуальной свободой, то защита свободы становится значительно более трудным делом. Если люди, одобрявшие изгнание Оппенгеймера, были действительно убеждены, что на карту поставлена жизнь нации, они были правы, не оправдав его за недостаточностью улик. Блага гуманности становятся явной роскошью, когда дело сводится к голому вопросу жизни и смерти. Однако, за исключением этой крайности, они являются насущной необходимостью, определяющей образ жизни человека. Огромное потрясение, вызванное увольнением Оппенгеймера, привело к сознанию, что эти блага уничтожаются, что судьба нации не может зависеть от

одного только вопроса о личной лояльности Оппенгеймера и что поэтому он является жертвой — в известной мере самой крупной жертвой — страха и вытекающего из него антиинтеллектуализма, порожденных холодной войной.

Эти значительные и вместе с тем тревожные события заставили многих пессимистически настроенных американцев и еще более многочисленных обеспокоенных европейцев считать, что американская демократия находится накануне крушения. По-видимому, вопли Маккарти заглушали (по крайней мере для ушей иностранцев) протесты миллионов американцев, для которых маккартизм являлся настоящим проклятием. На самом же деле яростные преследования рядовых граждан в Америке вызвали с их стороны не менее энергичную оборону и побудили огромное число ранее аполитичных людей стать на защиту своих прав, которые в обычное время они считали бесспорными. Оглядываясь назад, на кошмар маккартизма, можно убедиться, что не было такого момента, когда бы вызванное им противодействие демократических сил не было массовым и решительным. Хотя эта оппозиция оказалась недостаточно сильной, чтобы предотвратить приход к власти Маккарти, но она смогла помешать его власти укрепиться и стать неограниченной. В настоящее время сам Маккарти уже перешагнул свой зенит и быстро отходит в прошлое. Теперь, когда сенат Соединенных Штатов — это собрание робких людей — решился его осудить, а он сам порвал с президентом Эйзенхауэром, он скатывается вспять, к буйным низам американского общества, с такой же быстротой, с какой из них поднялся.

Буйные низы всегда существуют, и поэтому демагоги — довольно частое явление в политической жизни Америки. Однако американские политические институты так гибки, а народ настолько полон решимости защищать свои права, что Аароны Бэрсы и Томы Уотсоны, нигилисты, куклуксклановцы и коммунисты, Хью Лонги, отцы Кофлины и Джо Маккарти рано или поздно сходят со сцены и в свете исторической перспективы уже не выглядят такими страшными, как в дни своего расцвета¹. Поднявшись

¹ Автор рассматривает здесь американских коммунистов в одном ряду с Маккарти и куклуксклановцами. Тем самым он демонстрирует свою классовую ограниченность, неспособность подняться выше кругозора дюжинного либерала. Коммунизм не может «сойти

к власти, они часто кажутся непобедимыми и вызывают серьезную тревогу у иностранных наблюдателей американской жизни. Больному с тяжелой формой гриппа всегда кажется, что он умирает, хотя на деле он поправляется. Политические лихорадки в Америке протекают аналогичным образом и имеют те же обманчивые симптомы. Сдержанность не является характерной чертой нашего поведения, как у англичан, и поэтому у нас, несомненно, время от времени будут по-прежнему появляться кандидаты в фюреры. Но думать, что они смогут удержаться у власти больше, чем на самый короткий срок, — это значит одновременно считать, что основной путь развития американской истории является ложным.

Сам Маккарти, по-видимому, обладал столь грубой и необузданной жадностью власти, что под конец пытался проглотить такую огромную силу, как армия, сенат и президент. Когда эти цели оказались выше сил любого человека, раздутое самолюбие Маккарти было крайне ущемлено, и, охваченный страстью мстить и разрушать, характерной для многих демагогов (проигрывая игру, Гитлер поклялся, что увлечет с собой в могилу всю Европу), он сам отрезал себя от главных источников своего политического влияния, выступив со злостными нападениями на своих коллег-сенаторов. После того как сенат официально осудил его, он бросил вызов самому Эйзенхауэру. Во время этой последней его вспышки отчаяния и ярости от него отреклись многие влиятельные лица, ранее поддерживавшие его, и в конце концов Маккарти оказался изолированным от главной сферы действия и влияния, где еще так недавно процветал.

Хотя сам Маккарти как личность уже близок к забвению, маккартизм продолжает еще жить в том психозе лояльности, который пронизывает всю структуру государственного аппарата и распространяется в различной степени на частную жизнь; в положении ученых и учителей, находящихся под подозрением; в грубом манихействе¹

со сцены» так же, как класс, интересы которого он представляет, — рабочий класс. Будущее за рабочим классом, а следовательно, и за коммунизмом. — *Прим. ред.*

¹ Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III веке среди последователей зороастризма и воспринявшее от этой религии учение о добром и злом началах, лежащих якобы в основе мира. — *Прим. перев.*

американской внешней политики, которая слишком часто подходит к мировым событиям с точки зрения чистого добра и зла. Несомненно, что до тех пор, пока будет продолжаться холодная война и пока коммунистическая империя будет угрожать Западу, все эти опасения, с естественным недоверием к свободной мысли и рядовым гражданам, будут по-прежнему иметь место и тем самым постоянно порождать в американской жизни антидемократические, неустойчивые и враждебные интеллектуализму элементы ¹.

Как следствие всего этого, напрашивается большой вопрос: является ли такое положение стабильным для американского общества или это только временная фаза, за которой вновь появится обычная свободная, беспрепятственно развивающаяся Америка, до 50-х годов сиявшая в представлении европейцев как светлый идеал? Происходит ли коренное изменение характера страны или она только временно страдает от очень серьезного вида умственной кори, вызванной слишком быстрым ее ростом? Хотя никто не может ответить на это с абсолютной точностью, но все же вторая альтернатива кажется нам более вероятной. Именно та острая враждебность, которую вызвали Маккарти и его деятельность, служит ярким доказательством, что американцы отнюдь не утратили своей приверженности к свободе и не превратились в реакционных обывателей. Глубокое беспокойство, вызванное в народе результатами и неправильным ведением различных расследований и кампаний по проверке лояльности, приводит к систематическому пересмотру этих методов и свидетельствует о ясном понимании американцами, что все это является покушением на их традиционные свободы. Кроме того, судя по ряду признаков, американцы начинают свыкаться с мыслью о том, что коммунисты прочно утвердились на какое-то время в России и в Китае, и соответ-

¹ На протяжении всей своей книги Гурко убедительно показывает, что антидемократизм в современных США порождается самими условиями американской жизни и главным образом в результате деятельности монополистических кругов американского капитализма. Известно, что Советский Союз, проводя последовательную ленинскую внешнюю мирную политику, никогда никому не угрожал и не угрожает. Тем более бессмысленно обвинять «коммунистическую империю» в антидемократизме, присущем американской жизни. Это, в сущности, способ оправдания реакционной политики американского капитализма. — *Прим. ред.*

венно перестраивают свои понятия; они перестают высокомерно отрицать существование коммунистического строя и позволять себе бессмысленные враждебные акты. Признать коммунизм реально существующим явлением современного мира — это болезненный процесс, к которому Америка медленно и неохотно приспособляется. Если не случится перерыва в виде третьей мировой войны, то такое приспособление создаст условия для постепенного подхода к той политической зрелости, которая позволит американцам управлять своей страной в качестве трезвых и дисциплинированных людей, а не взбалмошных подростков. Когда это, наконец, произойдет, теперешняя волна антиинтеллектуализма начнет спадать и, возможно, откроется новая эра уважения к разуму.

Весь кошмар маккартизма и гневное сопротивление ему возникли не просто из ничего или козней одного человека; это только новейшее проявление противоречий, присущих самой американской жизни и уходящих своими корнями в глубь американской истории. Эти противоречия прошли много стадий и принимали самые различные формы. Дальше на страницах этой книги рассказывается о борьбе между защитниками и врагами свободной мысли и всей разнообразной деятельности, которую порождает эта мысль.

Г Л А В А II

МЫСЛИТЕЛИ И ДЕЛЬЦЫ

«Америка — единственная страна в мире, — заметил как-то один фельетонист, — где человек, произнесший слово, непонятное для своего собеседника, испытывает перед ним чувство унижения»¹. Быть заподозренным в ученой или, еще того хуже, публично проявлять ее — значит стать мишенью для насмешек. В представлении американцев, профессора колледжей выглядят чудаковатыми людьми, обычно старыми и настолько углубившимися в пропыленные и никому не нужные книги, что они утратили всякую связь с живой действительностью. Деятели искусства

¹ Сэмюэл Грэфтон, бывший фельетонист газеты «Нью-Йорк пост».

любой специальности считаются людьми, чуждыми условностей; им иногда, со скуки, можно позавидовать, но их отнюдь не следует допускать в порядочное общество. На интеллигента многие смотрят как на сноба, и самое слово «интеллигент» приобрело нехороший оттенок. Особенно чувствительны к нему женщины. Если вы назовете женщину «интеллигенткой», она скорее всего сочтет себя оскорбленной. Это будет равносильно тому, как если бы вы сказали, что она лишена женского обаяния, должна восполнять умом то, чем обделила ее природа по части красоты, и неспособна, по-видимому, жить полноценной жизнью. В данном случае, как очень часто и в других, развитие ума рассматривается как неудачный суррогат наслаждения жизнью.

Такие же обобщенные представления распространяются и на область самой культуры. Культура — это нечто тяжелое, громоздкое, скрытое в библиотеках и музеях, или собрание неведомых фактов, за которыми вечно гоняются женские литературные клубы, стремясь поставить себя выше «обыкновенных людей». В некоторых районах страны на искусство по-прежнему смотрят как на нечто чужеземное и антиамериканское, связанное каким-то аморальным путем с Францией, и считают, что культура вообще не может принести никакой пользы при решении повседневных задач. В других случаях культура рассматривается как роскошь, которую могут позволить себе, пожалуй, самые богатые, но она имеет мало касательства к делам простых людей и уж совершенно чужда специфически американскому понятию, обобщенному под рубриками «обыкновенные люди», «средний человек», «рядовой человек». Иллюстрацией к этому может служить интервью с Гэри Купером, которое было опубликовано в «Нью-Йорк таймс»¹. На вопрос, чему он приписывает свой успех, популярнейший американский киноартист ответил на том же жаргоне, на каком выражаются изображаемые им на экранах герои:

«Все это чушь!.. Считаю, мне просто подфартило. Я всегда стараюсь держаться ролей, в которых люди привыкли меня видеть: этаких типичных средних парней вроде мистера Дидса, сержанта Йорка и д-ра Уосселла — из

¹ Ezra Goodman, Average Guy, the «New York Times» 19th December, 1948.

центральных штатов США. Иногда люблю сняться в каком-нибудь боевике о Западе — это дает мне возможность немного пострелять.

Мои вкусы в искусстве и литературе самые что ни на есть обычные. Я не пытаюсь делать вид, будто что-то знаю, и не ставлю себя выше других людей. Я — средний парень по своим вкусам и развитию. Если есть какая-либо причина к тому, что вы называете моим успехом, то она именно в этом».

В просторечье культура является синонимом педантизма, ухода от действительности, подделки, чужеземщины, отсутствия мужественности в мужчинах и привлекательности в женщинах. В лучшем случае она рассматривается как безобидное развлечение для праздных женщин. Это отражено в забавных карикатурах Элен Хокинсон, изображающих тучных женщин из литературного клуба с их синтетической страстью к синтетической культуре¹.

Когда от культуры нельзя отделаться просто иронией, ее «популяризируют». По-видимому, нет вопроса столь сложного, чтобы нельзя было свести его к поверхностному толкованию, и столь серьезного, чтобы нельзя было смягчить его воздействия. Каждый аспект науки — от атомной бомбы до исследований в области рака — излагается в газетах и журналах почти всегда поверхностно, а часто и неправильно. За редким исключением, вроде фильма

¹ Выдвигаются самые различные аргументы в пользу преобладания женщин в культурных сферах. Один из наиболее оригинальных доводов (его можно было бы назвать «теорией бедер и плеч») был выдвинут в статье д-ра Дж. Б. Райса, которая напечатана в журнале «Эсквайр»: «Тела мужчин и женщин устроены по-разному. У мужчин не только тоньше слой мяса и жира, но и скелет у них создан иначе. У женщин наибольший вес и объем сконцентрирован около бедер, в то время как у мужчин, предназначенных для более тяжелых функций, он находится в плечах. Женщина может устроиться достаточно удобно на небольшом стуле с прямой спинкой и твердым сиденьем, а для мужчины это невозможно. Значительный вес его мускулистых рук и более тяжелых плеч делает для него по прошествии нескольких минут почти невыносимой любую позу, в которой он не может откинуться назад, чтобы подпереть плечи. Подобно грудному ребенку, он не понимает, где ему больно и почему, он знает только то, что ему противны концерты и лекции. До тех пор пока в аудиториях будут только маленькие стулья с прямыми спинками и не будет достаточно места для ног между рядами, мужчины намерены предоставлять драгоценную культуру почти исключительно женщинам» (из статьи «Натура мужчины», «Эсквайр», октябрь 1948 года).

«Змеиная яма», киностудии используют психиатрию — сложную и важную область медицины — как источник для целого ряда сенсационных фильмов, в которых часто жертвуют точностью в угоду «развлекательности». Религиозные вопросы выхолены до потребительского уровня. Этика и философия просеяны сквозь сито прагматизма и сводятся к вопросам: «Поможет ли это?» и «Не буду ли я уличен?»¹

Процесс оскудения культуры происходит и в других областях. Медицинские исследования заболеваний сводятся к преждевременным рекламам о гарантированном их излечении или раздутым сообщениям о сенсационных случаях с использованием медицинской терминологии ровно настолько, чтобы эти сообщения выглядели научно. Современное искусство, противящееся популяризации, служит мишенью для клеветы, потому что его вольнодумство затрудняет его эмоциональное восприятие, а экспериментализм, присущий ему, делает его трудным для понимания. То же самое можно сказать о значительной части современной музыки и поэзии. Когда деятелям искусства удастся пробить себе дорогу среди такой враждебности и достичь своей цели, то это делается за счет рекламирования их личной жизни и мелодраматических сторон их деятельности. Культура может служить экзотической приправой для скрашивания скучной, повседневной рутины; но она редко воспринимается как нечто существующее в действительности само по себе и приносящее самостоятельный жизненный опыт. В результате нет почти никакой разницы между прямым отрицанием культуры и процессом ее «популяризации».

Часть вины за создавшееся положение падает на самого интеллигента. Он страдает рядом профессиональных

¹ Прекрасной иллюстрацией к этому служит серия «баскетбольных дел» о взяточничестве, вскрытом в ряде колледжей в 1950—1951 годах, и исключение в 1951 году 90 слушателей из Вест-пойнтской военной академии за жульничество. Моральная сторона вопроса была, пожалуй, лучше всего выражена бригадным генералом Дэвидом Дж. Крауфордом, начальником бронетанкового центра армии в Детройте. Снятый с должности и привлеченный к ответственности за взятки, которые он получал от фирм-поставщиков, и за постройку себе яхты из казенного материала, генерал заявил: «Я не делал ничего такого, чего не сделал бы на моем месте любой человек, только меня уличили в этом» (цитировано по «Нью рипаблик» от 6 августа 1951 года).

недугов: чувством собственного превосходства; неспособностью во многих случаях занять твердую позицию в каком-либо вопросе, так как для него слишком ясны обе его стороны; склонностью забывать, что идеи, оторванные от практики, могут обесцениться и потерять свой смысл; пренебрежением к людям, менее образованным и восприимчивым, чем он сам; высокомерной и догматической убежденностью в правоте своих выводов; некоторой повышенной щепетильностью в подходе к жизненным проблемам. Все это способно создать о нем неверное представление как об обитателе башни из слоновой кости, кичливом, заносчивом субъекте, непрактичном теоретике, о человеке, который хотя «никогда не может уплатить по счету», но имеет на все свое собственное мнение, философе разного масштаба — от студента-дилетанта до профессионала, действующего в высших сферах абстрактной мысли. Не удивительно, что в Америке интеллигент часто оказывается вне главного потока жизни, ему не хватает твердого общественного престижа, каким пользуются бизнесмены, доктора, инженеры или адвокаты; не удивительно и то, что средний американец относится к нему наполовину с благоговейным страхом, наполовину с пренебрежением и вообще чуждается его.

Это состояние отчужденности усугубляется тем, что интеллигент — это человек, преследующий бескорыстные цели: он занимается своей профессией скорее из любви к ней, чем ради получения от нее средств к существованию. К этой категории относятся писатели, художники, учителя, ученые, священники и другие образованные люди — почти все, кто выбирает свой жизненный путь по иным мотивам, чем приобретение денег или политической власти. Все это имеет место в обществе, где господствуют денежные стандарты.

По самому своему названию мыслитель сначала думает, а потом действует, оказываясь в резком противоречии с более распространенной американской тенденцией — сначала действовать, а потом думать. Эта тенденция возобладала благодаря огромным богатствам страны, которые в особенности в конце XIX в. оказывались захвачены теми, кто действовал быстрее всех и был меньше всего связан чувством долга по отношению к другим. Быстрота действий, менее всего сдерживаемая размышлением над причинами и следствиями, позволяла человеку

извлечь наибольшую материальную выгоду. Размышление несколько тормозило действие и, следовательно, порождало отставание в погоне за счастьем. Презрительное отношение к идеям, теориям, философским абстракциям господствовало в течение среднего и позднего периода завоевания границы; в это время можно было сравнительно легко воспользоваться свободной землей и лесами, золотыми россыпями и медными месторождениями — требовалась лишь одна физическая сила, что делало неизбежным пренебрежительное отношение к культуре. Эта общедоступность естественных богатств способствовала созданию типа американца, описанного Фредериком Джексоном Тернером в его книге «Граница в американской истории»: «...самоанализ... не характерен для исторически сложившегося типа американца. Американец искал счастливого случая, а не занимался теориями. Судьба бросила его в поток, который быстро нес его сквозь такую массу возможностей, что размышление и тщательно продуманное планирование казались для него пустой тратой времени. Он не знал, куда его влечет судьба, но шел своим путем, веселый, оптимистически настроенный, деловой и жизне-радостный»¹.

Мы стали нацией предприимчивых дельцов, практиков, а не теоретиков, сторонников близкого, а не дальнего прицела, которые создавали горы достижений рядом с горами напрасно затраченного труда. Мы считали, что размышление и дальновидное планирование не имеют отношения к строительству страны, и поэтому относили их к побочным занятиям.

До сих пор и интеллигенты и неинтеллигенты допускают огромную ошибку, полагая, что между «умственным» и «физическим» трудом должна существовать пропасть. Весь наш исторический опыт показывает, что в действительности такой пропасти не существует и что, когда люди действуют, исходя из такого предположения, они причиняют только ущерб и беспорядок. Именно в период завоевания границы и бурного промышленного развития, когда наблюдалось особенно сильное презрение к обдумыванию и планированию, в результате такого взгляда и возникла гибельная политика по отношению к одной из

¹ Frederick Jackson Turner, *The Frontier in American History*, New York, Holt, 1920, p. 290.

областей жизни нации, имеющих важнейшее общественное значение,— охране естественных богатств страны. В течение долгого времени эти богатства считались неисчерпаемыми; поэтому никто не допускал мысли, что можно оказаться безрассудным и расточительным в их эксплуатации. Предостережения и усилия президента Теодора Рузвельта оставались, как правило, тщетными. Уничтожение лесов, непрерывное истощение верхнего слоя почвы, резкое сокращение нефтяных ресурсов, оскудение рыбных водоемов начали принимать опасные размеры только с конца второй мировой войны. Промышленники не интересовались этой проблемой отчасти потому, что она казалась нереальной, отчасти же потому, что внимание к ней не принесло бы им никакой немедленной прибыли. Профессиональные экономисты делали упор на распределение и производство как на основные пути к процветанию и фактически забывали об охране ресурсов. Даже вскрывшееся в 20-х годах скандальное дело, касавшееся нефтяных запасов для военно-морского флота, не вызвало у публики особого интереса к этому вопросу.

Биржевой крах 1929 года и последовавшая затем депрессия лишили американца его жизнерадостности и оптимизма, заставив, помимо его воли, обратить внимание на замирающую вокруг него жизнь и задуматься. Отчаяние ускорило этот процесс, расчищая путь чрезвычайным мерам «нового курса». Как бы ни расценивались эти меры, они представляли собой организованную, продуманную попытку поставить страну снова на ноги. Это, безусловно, подтверждалось новой политикой правительства в отношении естественных ресурсов, хотя эта политика, как и многие из экспериментов «нового курса», проводилась отрывистыми, неравномерными скачками. Учреждение ГКОЛМ (Гражданского корпуса по охране лесов и мелиорации) вызвало временную активность в этой области. Под влиянием пробудившегося в середине 30-х годов общественного сознания и благодаря энергии Гаролда Л. Икеса, занимавшего пост министра внутренних дел в четырех правительствах Рузвельта, стала проводиться дальнейшая организованная работа по охране естественных богатств. Но лишь в середине 40-х годов, когда огромная потребность в стали, нефти и продовольствии во время второй мировой войны вскрыла истощение наших естественных ресурсов, растущее сознание важности этого

вопроса стало принимать общенациональные масштабы. Различные предсказания о полном истощении огромных залежей железной руды в Миннесоте и некогда богатых нефтяных ресурсов Техаса и Оклахомы усилили внимание общественности к этому вопросу. Некоторые частные промышленные предприятия начали помещать свои капиталы в охрану ресурсов наряду с государственными мероприятиями, с полным основанием надеясь, что относительно небольшая сумма, инвестированная теперь, принесет в будущем неограниченные прибыли. Но эти разумные меры стали приниматься слишком поздно и притом нерегулярно и частично.

Отсутствие должной предусмотрительности в области естественных богатств имело, кроме того, политические последствия. Внешняя политика состоит из многих сложных элементов, в том числе и экономики. Истощение наших нефтяных запасов заставило нас искать нефтяные ресурсы за границей. Это усилило наш интерес к Аравийскому полуострову, что в свою очередь способствовало провозглашению «доктрины Трумэна» в отношении Греции и Турции как буферных государств, используемых для защиты этого полуострова. Так недалёковидность в одном только вопросе охраны естественных богатств внутри страны способствовала возникновению целого ряда событий мирового значения. Отказ четко, с должной предусмотрительностью продумать этот вопрос вызвал последствия, значение которых в данный момент буквально почти не поддается учету. Возможно, наша нефтяная проблема будет разрешена в последнюю минуту каким-нибудь изобретательным ученым, который найдет практический способ извлечения нефти из угля, и тогда получение жидкого топлива будет зависеть от запасов угля (которые считаются фактически неисчерпаемыми). А может быть, придумают какой-нибудь другой способ синтетического производства нефти, чтобы избавить нас от последствий нашей собственной недалёковидности. Однако опираться с радостью на изобретательность, всегда в нужный момент приходящую на помощь безрассудству, равносильно забвению прошлых ошибок. Если оставить в стороне закон средних чисел, то именно это благодушие с его безразличием к рассудительности и плановости создает такие ситуации, когда мы становимся врагами своих собственных интересов.

Другим примером безрассудного отношения к вопросам, имеющим огромное общенациональное значение, является часто проявляемое нежелание признавать происходящие в технике перемены. Нередко это объясняется мелочным стремлением к жалким прибылям сегодня за счет значительно более крупных прибылей завтра; ведь рост прибылей неизбежен при огромном расширении деловой активности, происходящем благодаря техническим изобретениям. Вся история торговли и промышленности характеризуется враждебным отношением к новым открытиям. Поставщики лошадей боролись против дилижансов, владельцы дилижансов — против каналов, владельцы каналов — против железных дорог, владельцы железных дорог — против автомобилей, автобусов и самолетов; каждый из них вел непримиримую борьбу со своим преемником. Крупные компании скупали патенты и в течение того или иного времени держали их под сукном. Такие изобретения, как печатный станок и текстильные машины, которые в конце концов вызвали огромное развитие промышленности, должны были преодолеть равнодушие и прямое сопротивление, чтобы получить право на признание.

Огромные перемены, вызванные появлением парохода, железных дорог, швейной машины и десятков других изобретений, тормозились из-за скептического и враждебного отношения к этим изобретениям. Когда впервые появился автомобиль, он был встречен такими же насмешками, издевкой и недоверием, какими были встречены до него пароход и паровоз; это же явление наблюдалось позже, когда Генри Форд применил конвейерную систему в массовых масштабах и совершил революцию, предложив своим рабочим 5 долларов в день.

Промышленный и технический прогресс тормозился также противодействием со стороны банкиров, бизнесменов и широкой публики. В течение долгого времени крупные банкирские дома были склонны рассматривать научно-исследовательскую работу и вытекающие из нее быстрые перемены в промышленности как явления, нарушающие покой страны, и относились с подозрением и инстинктивным отвращением к предложениям о внедрении в практику новых открытий. Банкиры даже сельскохозяйственные машины, облегчающие труд человека, считали злом для фермеров полагая, что они могут деморализовать их, предоставив им слишком большой досуг.

Бизнесмены были не единственными, кто не сумел предугадать большие выгоды, которые сулило развитие новых идей. Доктора и другие представители медицинской профессии вели в прошлом борьбу против новых методов и открытий в медицине. Жизнь великих исследователей-медиков XIX века — Пастера, Коха, Зоммельвейса — отражает ту же горькую историю организованного сопротивления новому. Фермеры, по традиции самые консервативные элементы общества, встретили железный плуг, когда он впервые появился, как орудие разрушения, которое, несомненно, отравит почву. Они считали поезд огромным черным пыхтящим чудовищем, которое будет пугать скот, сожжет амбары пламенем, вылетающим из локомотива, и даже так напугает кур, что они перестанут нести яйца. На паровоз смотрели еще, как на орудие дьявола, так как его скрежещущие колеса, извергающееся из топки пламя и страшный грохот исходили, казалось, прямо из самого ада. Эти дикие суеверия закрывали глаза многим фермерам на реальные выгоды, которые сулили им быстрая перевозка их продуктов на рынок и открытие новых потребительских районов, до этого еще им не доступных.

Общеизвестно, что рабочие также выступали против технических нововведений. В современном его виде этот протест начался в 1820 году с движения луддитов, разбиравших ткацкие станки на первых текстильных фабриках. С тех пор рабочие разрушали новые машины, которые угрожали заменить их, принуждали союзы предпринимателей сокращать введение новых методов труда, задевающих их экономические интересы, требовали периодических мораториев на сокращающие труд изобретения и во многих других случаях сопротивлялись техническому прогрессу так же упорно, как фермеры и предприниматели. И все же именно этот прогресс явился причиной того, что уровень жизни американских рабочих за прошедшие полстолетия беспримерно вырос.

Все эти разновидности невежественного эгоизма являются в известной мере результатом безразличного или враждебного отношения к обдумыванию и планированию в широких масштабах. В своей книге «Развитие американской демократической мысли» Ролф Генри Габриэл так описывает это враждебное отношение к научному прогрессу: «...век науки ознаменовался экономической и международной катастрофой... Растущее философское направле-

ние обвиняло машины... в том, что цивилизация переживает потрясение. Когда в черные годы депрессии миллионы американских мужчин и женщин оказались за бортом, не имея возможности заработать себе на кусок хлеба, среди масс распространилось представление о машине как о злобном Франкенштейне. Примитивные мысли пострадавших вылились в требование о прекращении научной деятельности... Волна ужаса прокатилась по лабораториям страны. 23 февраля 1934 года, в самый черный зимний месяц депрессии, газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала характерное сообщение: «Вчера ученые нанесли встречный удар своим критикам. Используя некоторые из своих изобретений — радио, микрофон и громкоговоритель, — они заявили миру, что наука дает людям работу, а не лишает их ее... Два видных представителя науки, д-р Карл Т. Комптон... и д-р Р. А. Милликэн... поразили словами и опровергли цифрами тех, кто требует «выходного дня для научных исследований», и тех, кто утверждает, что наука является причиной экономических бедствий»¹.

Противодействие, тормозившее развитие науки и техники, все же его не остановило. Но эта задержка вызвала трудности, дорого обошлась стране и вообще нанесла ущерб общественным интересам. Лишний раз близорукость одержала верх над проницательностью, причинив вред не только стране, но в конечном счете и благополучию тех кругов, чьи непосредственные интересы, казалось, находились под угрозой.

Расточительное использование естественных богатств и противодействие техническому прогрессу — это только два примера той цены, которую мы платим за пренебрежение к дальновидности и разумному подходу к жизненным явлениям. Без основных элементов такого подхода, то есть без размышления и хорошо продуманного планирования, о котором говорил Тернер, нас ожидает перспектива новых расплат за необдуманность и расточительность, в каких бы областях они ни проявлялись. Перемены к лучшему могут наступить только тогда, когда все поймут, что ценности мыслительных способностей человека не выражаются в заумном теоретизировании и далеких от жизни

¹ R a l p h H e n r y G a b r i e l, *The Course of American Democratic Thought*, New York, the Ronald Press, 1940, p. 382.

абстракциях, а оказывают эффективное воздействие на его повседневную практику¹. Как только это станет ясно, большая часть антипатии к культуре и мыслящим людям исчезнет.

Г Л А В А III

КУЛЬТУРА В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ

I

В 1937 году один из наиболее популярных и талантливых современных актеров — Лесли Говард — выступил в голливудском фильме под названием «Дублерша». Это была самая обыкновенная картина, которая представляла собой легкую сатиру на кинофильмы и на тех, кто их создает, — вроде розги, которая сечет не слишком больно. Однако взгляд на культуру в этом фильме отличался столь типичной извращенностью, что это придало ему значение, которого он не заслуживал по своим внутренним достоинствам. Главный герой, роль которого исполнял м-р Говард, — ученый-математик, достигший высокого поста в одном из крупных банков восточных штатов. Вначале перед нами предстает худой, сутулый, довольно бесцветный молодой человек в роговых очках, которые он постоянно нервно снимает и надевает; он шагает по конторе банка, быстро диктуя на ходу какую-то бумагу с большими и сложными расчетами измученному секретарю, следующему за ним по пятам. Он смотрит на всех отсутствующим взглядом, и бледный цвет его лица свидетельствует о том, что он редко бывает на свежем воздухе. Короче говоря, это голливудская концепция интеллигента: умный, но, черт возьми, какой-то недоделанный; что-то с ним неладно. Слишком много статистики, слишком мало красных кровяных шариков.

¹ В местных масштабах проявление этого принципа было драматически показано в книге Луиса Бромфилда «Малабарская ферма». Этот увлекательный рассказ о восстановлении писателем запущенной фермы в штате Огайо показывает, что можно сделать при помощи сознательного планирования и разумного применения агрономических знаний для ликвидации последствий естественной эрозии почвы и беспечного отношения людей к земле.

Банк имеет закладную на одну кинокомпанию, которая теряет свои прибыли и теперь находится на грани краха. Чтобы спасти свои капиталовложения, правление банка командирует нашего анемичного друга-математика в Голливуд. Цифры должны помочь, полагает он, все дело в цифрах. Сама жизнь — это, по существу, бухгалтерская операция. В Голливуде, однако, начинается его настоящее просвещение. И что это, оказывается, за просвещение! Прежде всего он встречает молодую очаровательную девушку, которая выступает в качестве дублерши темпераментной звезды экрана. Разъяснив герою, что служащие компании — это человеческие существа, а не цифры в ведомости, она соглашается стать его секретарем и ввести его в курс дела. Председатель правления компании — учтивый плут; он умышленно сажает фирму на мель, чтобы продать за бесценок ее активы подставной компании, тайным владельцем которой он является. Звезда находится в сговоре с ним и начинает увлекать нашего героя таким способом, по сравнению с которым приемы Теды Бара выглядели бы образцом тонкого искусства. Главный режиссер — влюбленный в звезду — знаток своего дела, но начинает запивать из-за ее позорного поведения. Директор студии — жулик, говорящий с фальшивым венским акцентом и всегда готовый урвать любую незаконную прибыль, которую соизволит предоставить ему его босс. Вот в эту нездоровую и не сулящую ничего хорошего обстановку попадает наш герой с его бумажным вооружением и прискорбным отсутствием жизненного опыта. Его единственным активом является практичная, несколько цинически настроенная молодая леди, которая знает что к чему, но которой, как мы видим, нелегко будет передать свои знания новому начальнику. К нему она чувствует безотчетную симпатию, пока что чисто материнского свойства: его детская беспомощность импонирует ее материнскому инстинкту.

Приобщение нашего героя к реальной жизни происходит очень быстро. Директор одним ловким ударом ставит ему синяк под глазом; тогда его приятельница обучает его приемам джиу-джитсу, что позволяет ему в дальнейшем сбивать с ног мужчин в два раза крупнее его. Председатель компании увольняет всех служащих как раз тогда, когда наш герой уже близок к решению проблемы. Это заставляет его снять пиджак, обратиться к уволенным

служащим с речью и уговорить их остаться на работе еще лишь на одну неделю. К этому времени вся его наружность изменилась. Он забросил свои очки и заметно выпрямился; его взгляд, некогда тусклый, теперь блестит; цвет его лица даже на черно-белом экране приобрел здоровый оттенок. Его речь перестала быть монотонной смесью туманных вычислений и сделалась энергичной и прямой. Короче говоря, он изгоняет председателя из студии, увольняет звезду, убеждает режиссера бросить пить и выпустить боевик, спасающий компанию от краха, затем принимает всех служащих, которых признает теперь реальными людьми, обратно на постоянную работу и женится на своей девушке. Он властно целует ее — признак, что он приобрел уверенность в себе и то «уменье», без которого ни один американский мужчина не может обойтись. Его превращение из книжного червя в мужчину окончательно завершено.

Кино упорно держится за этот образ человека абстрактного мышления, его недостатки и последующее спасение. Существует множество вариантов этой темы, но ряд общих принципов остается без изменений: герой непрактичен; его умственное развитие мешает ему участвовать в жизненной борьбе; как мужчина он если уж и не совсем противен и беспомощен, то, во всяком случае, застенчив и неуклюж; от этих недостатков его чрезвычайно быстро избавляет молодая очаровательная девушка, которая знает ответы на все вопросы и просвещает героя при обстоятельствах, начинающихся с жалости и кончающихся любовью.

В 1948 году, одиннадцать лет спустя после выпуска «Дублерши», Голливуд продолжал варьировать все ту же самую чувствительную тему. В этом году популярный актер Рей Милланд выступил в главной роли в кинофильме под названием «Беда с женщинами», который во всем, кроме нескольких технических деталей, напоминал знакомый образец. Главный герой этого фильма — не математик, а профессор психологии, только что выпустивший в свет сенсационную книгу с критикой в адрес женщин как безжалостных и тиранически настроенных существ. Он сам остерегается женщин и отказывается иметь с ними какое-либо дело. Так как он является преподавателем, то, само собой разумеется, носит роговые очки, никогда не может найти свои носки, туфли или галстук и при случайной

встрече со знакомыми с трудом может сказать «Хелло!» так, чтобы не запнуться и не заикнуться. Его омоложение начинается с того момента, когда опытный редактор одной газеты посылает предприимчивую и красивую молодую женщину-репортера взять у профессора интервью. Профессор поклялся никогда не давать интервью, тем более женщинам; поэтому половина картины посвящена дешевым трюкам, где он пытается удрать от нее, а она — его поймать. Когда ей это удается, в результатах не приходится сомневаться: его превращение происходит с головокружительной быстротой. Очки снимаются. Одного поцелуя ему оказывается достаточно, чтобы стать мастером в искусстве любви. Его стеснительные манеры исчезают и сменяются такой независимой беспечностью, какой позавидовал бы любой завсегдатай парижских бульваров. Представления героя о женщинах становятся значительно более умеренными и разумными. К последним кадрам он приобретает все черты, необходимые герою кинофильма: он — мужествен, красив, свободно держится, чувствует себя в равной мере как дома и в уличной схватке, и в гостинице, ничем не смущается. Трудно сказать, какой из образов менее реален: образ интеллигента или интеллигента после его превращения в тип американского мужчины, рекламируемый Голливудом.

Этот стандарт не ограничивается только мужскими образами. «В одном из последних кинофильмов,— пишет Александер Коул,— в комических кадрах показывается явно культурная молодая женщина, крайне неудачно выступающая на репетиции какого-то дивертисмента с танцами и пением. В общем все ее старания настолько безуспешны, что другие танцовщицы смеются над ней. Тогда мягкосердечный Дюрант кричит на них: «Перестаньте ржать! Все бы вы выступали не лучше, если бы были образованны, как она!»¹

Женщины в кинофильмах претерпевают такие же превращения, как и мужчины-интеллигенты, включая очки и все прочие атрибуты. Типичный пример представляет собой фильм «Иностранное дело», в котором Джен Артур играет женщину — члена конгресса, отправившуюся в оккупированный Берлин в составе комиссии конгресса для расследования морального поведения американских

¹ «Нью-Йорк таймс» от 11 августа 1946 года.

солдат. В первых кадрах мы видим интеллигентную женщину в духе Голливуда. Пока все смотрят из окон самолета на расстилающийся внизу немецкий ландшафт, она занята составлением серии официальных донесений о несущественных статистических деталях путешествия; свои записи она раскладывает по многочисленным карманам портфеля весьма сложного устройства. На ее лице, полузакрытом очками, написано чопорное, строго деловое выражение. Ее волосы стянуты в тугий узел. Одежда ее прочная, но безвкусная. Когда самолет приземляется в Берлине, мы узнаем, что она является женщиной весьма принципиальной и хочет на деле убедиться, что солдаты не позволяют себе никакого «братания» с немецкими девицами и спекуляции на «черном рынке». Ее нельзя обмануть, как остальных членов комиссии, тщательно обставленными поездками, которые организует прикомандированный к ним генерал. Все смотрят на нее, как на страшную обузу, склочницу и, что всего хуже, как на женщину с идеологическими убеждениями. Из этого положения имеется, по-видимому, только один выход. На помощь призывают красивого капитана, которому поручается ухаживать за леди, развлекать ее любым способом в надежде ликвидировать ее назойливость. Потребовалось всего несколько кадров, чтобы она начала принимать другой вид, тот вид, который природа предназначила для женщин. Очки снимаются, узел на голове распускается. Безвкусный деловой костюм заменяется умопомрачительным туалетом, купленным (это как завершающий штрих) на «черном рынке». Благодаря нескольким полезным советам по части женского обаяния, преподанным ей немецкой певицей из ночного кабаре (любовницей многих нацистских заправил, а затем и американских победителей), наша героиня отбрасывает свои принципы и расцветает, превращаясь в привлекательную женщину. В ее хорошенькой головке не остается ни единой мысли или убеждения, за исключением того, что она влюблена и готова пойти на что угодно, лишь бы заманить в свои сети любимого человека. Она использует все средства и добивается своей цели. В конце фильма метаморфоза полностью завершена. Ее внешность расцветает, в то время как умственные способности идут на убыль, вернее, она расцветает именно потому, что они идут на убыль, так как, по утверждению Голливуда, между телом и умом существуют непримирим-

мые противоречия. И раз необходимо сделать выбор между тем и другим, благоразумная женщина (или мужчина) предпочтет физическую привлекательность, оставив ум на произвол судьбы¹.

Это только один из вариантов, в которых женщину спасают от деспотизма интеллекта. Кинофильмы «освобождают» представительниц и других профессий: деловую женщину, достигшую потрясающего успеха на административном поприще, но ценой огромного ущерба в личном плане; школьную учительницу, любимую всеми детьми, но начинающую увядать; общественную деятельницу, исключительно активную, но заметно потускневшую с внешней стороны; служащую конторы, отгороженную от жизни столами, папками и бумагами.

Десятки фильмов следуют аналогичному образцу и спасают некое число умных «синих чулков» от сурового возмездия и ограничений, которые накладывают на них умственные способности. Появление на экране фильмов «Квартира для Пеппи» и «Письмо к трем женам» — единственных за последнее время кинофильмов, где берутся под защиту «интеллигентки» (в обоих случаях учительницы), — свидетельствует о том, что Голливуд может восставать против тирании своих собственных штампов. Но два фильма не могут изжить привычек, сложившихся за 30 лет, и голливудская превратная точка зрения на культуру и идейность при изображении американской жизни остается прежней.

Даже дети не избежали пронизательного взора Голливуда. В каждом фильме, где идет речь о школе, фигурирует маленький ученый мальчик. Он носит очки и говорит многосложными словами. Обычно одежда этого мальчика более нарядная и более «девичья», чем у его товарищей, что выделяет его как «неженку». Он всегда избегает драк и грубых игр; его руки не способны ни на что, кроме писания длинных слов; он смотрит на мир с робостью совы. Время от времени, чтобы показать, что не его личный характер сделал его таким, а вредное пристрастие к книгам, авторы фильмов заставляют нашего маленького

¹ Или еще пример. Артистка Ванесса Браун — сама в прошлом вундеркинд с учебной квалификацией 165 — заявила в интервью журналу «Лайф»: «В Голливуде можно иметь ум только тогда, когда ты прячешь его за низким декольте» («Лайф», № 8, декабрь, 1952).

героя потерять терпение от всяческих нападков, сбросить свои очки и избить главного школьного задиру. После этого он никогда больше не надевает очков, переходит на обычный английский разговорный язык и становится обыкновенным, средним мальчуганом. Чаще, однако, бывает так, что его оставляют «книжным червем», служащим для других мальчиков постоянным устрашающим примером пагубных результатов учения.

Презрение, жалость и пренебрежение Голливуда к интеллектуальной жизни не имеют возрастных пределов и могут сравняться только с его страстью освобождать лиц оboего пола от тягостных умственных оков.

II

Отношение журналов, имеющих большой тираж, к умственным способностям человека — по крайней мере в беллетристических произведениях — примерно такое же. В этих произведениях чем больше человек «чувствует» и чем меньше «думает», тем эффективнее действует в отношениях с другими людьми. В рассказах, которые можно назвать типичными, ученые и философы обычно не фигурируют, а если и появляются, то отношение авторов к этим злополучным персонажам явно презрительное. Характерным примером служит следующий отрывок из рассказа, напечатанного в журнале «Колльерс»:

«Вспыльчивость была ей к лицу. Волнуясь, она становилась еще более привлекательной. Если бы Генри Фаулер был человеком чувства, а не науки, он слегка приласкал бы ее и дал возможность самой решить вопрос о поездке в Нью-Йорк. К сожалению, Генри был не из тех, кто мог лаской и уговорами добиться от жены послушания. Он использовал логику, которая всегда ненадежна, и разумные доводы, вызывающие только отвращение»¹.

При всем своем умении обращаться с атомной бомбой ученый не может справиться со своей женой. Он неспособен ни ласково ворковать с ней, ни повелительно прикрикнуть на нее; а это, как хорошо известно всем постоянным читателям журнальной беллетристики, два наиболее эффективных способа руководить женщинами. Вместо

¹ Vera Caspary, Marriage «48», «Collier's», 9th October, 1948.

этого ученый применяет ненадежную логику и ненавистные жене разумные доводы, которые, может быть, пригодны для ядерной энергии, но зато являются отравой для женщин знакомого нам типа, в особенности если они хорошенькие. Возможно, что с некрасивыми женщинами дело обстоит иначе: они, может быть, и прислушиваются к голосу рассудка и логики, но это только доказывает, что они действительно некрасивы. Будь они миловидны, они не стали бы так поступать. Далее, существует абсолютно непримиримая враждебность не только между умом и эмоцией, но и между «чувством» и «наукой». Под чувством, по-видимому, подразумевается обычный, простой, грубоватый «здравый смысл», та чисто инстинктивная способность, которая восхвалялась, начиная с Вениамина Франклина и кончая Дэвидом Харумом, и без которой, как принято думать, в Америке невозможен никакой подлинный успех. Этот здравый смысл ни в коем случае нельзя смешивать с теоретическими или интеллектуальными способностями, избыток которых выбивает человека из колеи и неизбежно приводит к неудаче.

Та же самая тема в различных вариантах повторяется почти в каждом популярном периодическом издании. В простейшем варианте мыслящий человек не только бесплоден в области чувства, но и скучен в обществе. В одном рассказе, опубликованном в еженедельнике «Сатэрди ивнинг пост», героем является профессор химии; он настолько скучен, что красавица-жена не может его терпеть. «Я не могу вести жизнь профессорской жены в университетском городке,— заявляет она.— Эта жизнь опротивела мне до того, что я готова кричать... Он — сухарь. Он — просто скучный, утомительный сухарь. Конечно, он добр, и характер у него покладистый, как у коровы...» Положительные коровьи качества героя тонут, однако, в потоке других недостатков. «Наши друзья невыносимо скучны. Вы бы послушали, о чем они говорят... Формулы и уравнения. Символические реакции и опыты. Весь день я только это и слышу»¹.

В конце концов жена, оплакивая свою участь, бросает профессора. Хотя он вскоре должен стать заведующим кафедрой и, по-видимому, прекрасно разбирается в своих

¹ Nancy and Norbert Davis, *The Captious Sex*, «The Saturday Evening Post», 8th January, 1949.

формулах, уравнениях и университетской политике, во всем остальном он ведет себя, как слабоумный. В этот момент ему подвертывается его старая любовь — красивая незамужняя женщина, зарабатывающая 18 тысяч долларов в год в качестве заведующей отделом универсального магазина; по совершенно необъяснимым причинам она испытывает тайное влечение к нашему профессору. Он пытается неуклюже ухаживать за ней, именно так, как это должен делать профессор, не имеющий понятия об ухаживании за женщиной. Когда его жена узнает об этом, она мчится обратно — предъявить свои права на мужа, но, прежде чем ей удастся раскрыть рот, он признается в своей неспособности жить без нее и обещает сойти со своих академических высот.

Герой играет незавидную роль невнимательного мужа, неумелого любовника и раскаивающегося супруга. Во всех трех ролях ему присущи черты стандартного журнального образа: рассеянность, непрактичность, наивность в жизненных делах. Никакое проявление жалости или покровительственного сочувствия к нему не может скрыть тот факт, что в важнейших жизненных вопросах герой является абсолютным дураком.

В ряде журнальных вариантов той же темы противоречие между наукой и жизнью проявляется в более сложных ситуациях. Во многих случаях ученый (чаще всего это бывает историк или археолог) теряет свою жену, которая уходит к другому, так как ее муж не может понять, что ценны люди, а не факты. Если герой не принадлежит к числу неловких, рассеянных простаков, он изображается сухим, бесчеловечным, холодным, бесчувственным, замкнутым человеком. Он смотрит на любовь тем же бесстрастным взглядом, каким наблюдает за любыми лабораторными процессами, а в отношениях с женой дает волю чувству не больше, чем при исследовании какой-нибудь истертой рукописи IX века или ископаемой окаменелости. Не удивительно поэтому, что его жена, после того как ее чувства претерпели эту голодную диету, бросает его навсегда ради какого-нибудь жизнерадостного бизнесмена или инженера. Или готова уже покинуть его, когда он приходит в себя, выбирается на свет из своего книжного тумана и удерживает ее, прежде чем она успевает совершить опрометчивый шаг. В последний момент он понимает, что под влиянием умственной жизни и присущих ей особенно-

стей чуть было не лишился способности жить и чувствовать. Снова голова противопоставляется сердцу.

Во всех этих вариантах интеллигент, пока он верен себе, является немощным и слабым, а человек-практик — что весьма характерно — сильным и мужественным. Читателям упорно внушается мысль, будто книги, библиотеки, абстрактные идеи, лаборатории, музеи, обвитые плющом стены университета — так или иначе выхолащивают жизнь, а фабрики, деловые кабинеты, шахты, мосты, переброшенные через бурные реки, грузовики, мчащиеся ночью по пустынным шоссе, уже сами по себе придают жизни полноту и разнообразие. Наш ученый из романа отгорожен от активной жизни своими идеями. Здесь мы подходим к самой сути вопроса: люди, которые слишком много думают, пишут или говорят, — эмоционально неполноценны; надо полагаться на людей действия. Прямая связь, существующая, как утверждают, между мыслью и бессилием, имеет обратную сторону в виде связи между практичностью и мужественностью. Эти сопоставления повторяются вновь и вновь в маленьких новеллах (помещаемых в одном номере журнала), романах, повестях и рассказах, публикуемых в огромном количестве в популярных журналах Америки.

III

В 1946 году отдел международной информации и культуры государственного департамента приобрел коллекцию картин американских художников для показа их за границей. Коллекция включала 79 выполненных маслом полотен и 38 акварелей общей стоимостью 56 тысяч долларов; ее пересылали из столицы в столицу с целью рекламы передовых направлений американского искусства. Главная выставка была открыта в Париже во время сессии ЮНЕСКО, в ноябре 1946 года.

На эту покупку была затрачена лишь очень незначительная часть крупных средств, расходуемых Соединенными Штатами на пропаганду за границей, и первое время она не привлекла к себе в Америке особого внимания. Однако херстовские газеты, всегда готовые обрушиться на «нездоровое чужеземное влияние», открыли энергичную кампанию против коллекции; в течение нескольких недель они каждое воскресенье посвящали ей целую страницу,

разоблачая, как они выражались, «абсурдность» и «коммунистические влияния» в искусстве; газеты утверждали, что под видом современного искусства показывается «никому не понятный хлам». Выставку называли непоказательной для Америки, а в картинах прослеживали влияние иностранной идеологии и духовного разложения Европы. Херстовские газеты заявляли, что художники либо создают картины совершенно абсурдные и непонятные, либо понижают американское общество, рисуя его уродливыми, низменными, материалистическими чертами, и, таким образом, проводят коммунистическую линию в картинах и акварелях столь же явно, как и в печати.

Созданная газетами шумиха быстро достигла конгресса. Многие конгрессмены, до этого совершенно не интересовавшиеся коллекцией, пошли взглянуть на нее и стали испускать страдальческие вопли. Вашингтонский фельетонист Фредерик С. Отман описал последовавшую затем сцену:

«Конгрессмены размахивали репродукциями с таких картин, как «Троллейбус» Грегорио Престопино, «Девушка с петухом» Филиппа Эвергуда, «Голубой ландшафт» Лорен Макайвер и «Желтый стол» Абрахама Раттнера. Они заявляли, что если эта мазня считается искусством, то тогда они (конгрессмены) — просто близорукие раки»¹.

Шум нарастал. Несколько конгрессменов были возмущены чувственной картиной Ясуо Кунийоши «Отдых циркачки» и негодовали, что деньгами налогоплательщиков оплачивается такая «порнография». Многие доводы, использовавшиеся десять лет назад против УПА (Управление промышленно-строительных работ общественного назначения), были извлечены из-под спуда, освежены и вновь пущены в ход. Завершающий удар нанес президент Трумэн: взглянув на репродукции картин, он сказал, что они напоминают ему яичницу-болтунью. Вся эта брань оказала быстрое действие. Государственный секретарь Маршалл велел закрыть выставку на том основании, что она стала предметом публичной полемики. Картины были сняты со стен в Праге, Париже, Гаити и других более отдаленных пунктах, отправлены обратно в Соединенные Штаты и переданы Управлению военных активов для реализации наряду с излишками военных товаров.

¹ «Нью-Йорк уорлд телеграм» от 15 мая 1948 года.

Но их злосключения еще не кончились. Управление военных активов, испытывавшее затруднения при реализации более ходких товаров, не желало брать такие картины, как «Купание птиц», «Паровая машина» и «Увеселительные заведения на Бауэри-стрит». Потребовалось официальное обращение в Комиссию конгресса по ассигнованиям, чтобы убедить Управление военных активов, что у него нет другого выбора. С большой неохотой это управление наняло для оценки картин двух консультантов (из музея Уитни и Музея современного искусства), которые вызвали сенсацию, заявив, что некоторые из картин, показавшихся президенту похожими на яичницу-болтунью, стоят свыше 2000 долларов каждая. Характерно, что к числу их была отнесена и картина Кунийоши, так возмущившая чувства законодателей. Сами художники, продавшие свои работы правительству по определенной цене, были злы не только на своих хулигателей, но также и на то, что их картины будут продаваться по аукционным ценам. Их недовольство усилилось в связи со статьей художественного критика газеты «Нью-Йорк таймс», в которой был дан положительный отзыв о картинах, выставленных в день закрытия выставки, перед самой распродажей:

«...подавляющее большинство [картин] заслуживает внимания, а многие из них относятся к числу лучших произведений изобразительного искусства. Таким образом, распродажа предоставляет редкий шанс приобрести выдающиеся картины современных американских художников, какие не часто встречаются на аукционах...

В каталоге выделяются... две картины масляными красками Мэрина; ...три картины Макса Вебера, яркий натюрморт «Фрукты и вино»; ...чрезвычайно выразительные и поэтичные картины Бейзиота; овеванный теплым человеческим чувством «Троллейбус» Престопино; ...«Дома» Гроппера; ...очаровательный «Голубой ландшафт» Лорен Макайвер; ...и незабываемое социальное полотно Бена Шана «Голод»¹.

Распродажа прошла успешно. Картины быстро раскупались, и, к вящему ужасу представителей «яичного» направления, правительство заработало кругленькую сум-

¹ Эйлин Б. Лаучхейм (Aline B. Louchheim) в «Нью-Йорк таймс» от 21 мая 1948 года,

му на своем провалившемся начинании в области изящного искусства.

Этот эпизод является не только весьма любопытным и поучительным примером взаимоотношений между правительством и искусством. Он разоблачает также некоторые фантастические и превратные представления, все еще туманящие взгляд американцев на художника. Легко нападать на художника за то, что его произведения нелепы и непонятны, когда он пускается в неисследованные области кубизма и абстракционизма. Или обвинять его в том, что он недоволен Америкой, потому что рисует трущобы и бедняков. Верно, что временами его картины бывают заумными и непонятными, но то, что непонятно для одного поколения, часто бывает понятно для другого. Американский художник в течение этого века постепенно завоевывал уважение своих сограждан, и его положение теперь лучше, чем в начале века. Но он продолжает страдать от все еще существующих превратных взглядов на культуру в ее различных формах.

IV

Интеллигенты и художники сами способствуют распространению извращенного взгляда на культуру. Писатели хорошо отточенными стрелами энергично обстреливают разум и мысль. Одни из них соглашаются с карикатурным изображением ума как противника чувства и, следовательно, жизни. Другие ухватились за изображение интеллигента как кичливого сноба, от которого им хочется отмежеваться. Эрнест Бойд и Г. Л. Менкен в свое время нападали на профессоров, называя их педантами и сосудами с неусвоенными знаниями». Существуют профессора, так же огульно нападающие на всех писателей, которые не следуют традиции классиков, пишут на скользкие темы или, будучи озлоблены, заявляют слишком решительный протест, притом языком, не подходящим для гостиной. Война между творцами-художниками и критиками стара, как писаная история, и нет признаков ее ослабления. Ссоры между учеными и эстетиками так же остры, хотя и не так стары, и очень мало изменились по содержанию, а по тону совсем не изменились с тех пор, как почти век тому назад Арнолд и Хаксли вели свой знаменитый спор.

Среди писателей, считающих, что между мыслью и чувством должна существовать вражда, самым характерным является Э. Э. Кэмингс. За эксцентричностью грамматики и пунктуации Кэмингса, за его искаженным, невразумительным языком, напоминающим подчас лепет ребенка, скрывается сенсуалист, для которого пол является пульсом вселенной, воплощением настоящего животрепещущего и мимолетного момента, конечным результатом всякого опыта. Любой перерыв, чем бы он ни был вызван, дает этому моменту ускользнуть и исчезнуть навсегда и поэтому становится смертельным врагом поэта. К этому врагу и к факторам, его порождающим, поэт обращается с ненавистью и презрением. Из этих факторов на первом месте стоит ум, ибо по самой своей природе он питается размышлениями и заглядывает вперед, в стремительно надвигающееся будущее. Для Кэмингса мозг является бездушным истребителем опыта:

«Мысль — это скользящие контуры вазы, необычайно хрупкой; если мозг, безнадежно холодный, тронет ее оболочку, то, как бы легко ни ласкал он ее, она лопнет и расплещет столь близкое к ней, почти незримое содержимое»¹.

Нельзя одновременно любить и сохранить мудрость. В соревновании между тем и другим поэт отдает предпочтение первому:

Раз чувство первично,
тот, кто вникает
в смысл вещей,
никогда тебя крепко не поцелует;
быть абсолютным глупцом,
пока весна царит в мире,
мне очень приятно,
и поцелуи лучше,
чем мудрость, —
в этом клянусь тебе всеми цветами. Не плачь!
Лучшая мысль моего мозга ничтожной
взмаха твоих ресниц, говорящего:
— Мы созданы друг для друга. —
Так смейся, лежа в моих объятиях,
ибо жизнь — не параграф,
и смерть, я считаю, нельзя взять в скобки².

¹ E. E. Cummings, Collected Poems, New York, Harcourt, Brace, 1938, poem 97.

² Там же, стих 180.

Знание ведет к отрицанию, прогресс — это могила.

Да не допустит бог, чтобы ты задумалась,
и (в благости своей) спасет возлюбленного твоего:
ведь мысль ведет к познанию, к плите могильной,
прогрессом именуемой, и к отрицанию жизни.
Приятней мне у птицы научиться петь,
Чем научить десятки тысяч звезд не танцевать¹.

Таким образом, нас увлекают в поток бездумного ощущения, растворенного в чувственных фантазиях, погруженного в острый мимолетный экстаз быстротечного настоящего. В своем толковании чувственного наслаждения Кэмингс поддерживает миф, будто мысль делает существование бесцветным и выхолощенным. Антиинтеллектуализм Кэмингса сводится к рефлексу и инстинкту, горячим обвинениям и гневным отрицаниям, ярко иллюстрирующим судороги «чувства-безраздумья», которое означает для него самую интенсивную жизнь. Несмотря на различие в форме, его понятия об уме и материи немногим отличаются от взглядов киностудий и журналов.

Отголоски тех же взглядов можно найти и у других писателей. В одном из документальных романов Чарлза Джексона «С внешней стороны» об интеллигентах говорится в пренебрежительном тоне:

«Джордж Гандерсон знал в жизни трех, самое большее четырех интеллигентов и, казалось, никогда не встречал такого, который не говорил бы сам с собой или, что одно и то же, исключительно на темы, интересующие его собеседника-интеллигента. Чем более интеллигентными они становились, тем меньше общего имели с жизнью и людьми. Они вращались во все более и более замкнутых кругах, ничем, по существу, не интересуясь, говоря только специфическим языком, который был совершенно непонятен посторонним людям, а для самих интеллигентов был чем-то вроде шаблонного и в то же время постоянно меняющегося ритуала. Этот язык напоминал модные жаргонные словечки, применяемые в рекламном деле: они исчезают почти сразу после появления на свет и быстро заменяются еще более новыми»².

Здесь также подчеркиваются изоляция интеллигентов

¹ E. E. Cummings, Collected Poems, poem 315.

² Charles Jackson, The Outer Edges, New York, Rinehart, 1948, p. 232.

от жизни, их сектантство и заумность; мыслящие люди рисуются как думающие машины.

Ум и интеллектуальное развитие принижаются также восхвалением тела, действия и инстинкта. Главным выразителем таких взглядов в литературе был Шервуд Андерсон. Его герои много чувствуют, но почти совсем не думают. Они чувствуют, когда дела для них складываются хорошо или плохо, не разбираясь в причинах этого. ими движут внезапные, глубоко заложенные в них, необъяснимые импульсы; такой импульс заставил самого Андерсона бросить свой пост управляющего фабрикой красок в Огайо ради неопределенных и неясных перспектив бродяжнической жизни, журнализма и литераторства. Мужчины и женщины в его книгах влюбляются потому, что между ними возникают вибрирующие токи, и любовь их проходит, когда вибрация прекращается. Их души, движущиеся в пульсирующем ритме, тоскуют по другим душам с аналогичным темпом. Следуя Раскину и Д. Г. Лоуренсу, Андерсон считал, что ритм машины расходится с сознанием людей, и, подобно Лоуренсу, искал пульс более примитивного общества. Негры в его романе «Темный смех» («Dark Laughter») чувствуют себя легко и свободно, как не могут чувствовать себя живущие в постоянном напряжении белые. Белые — это комки нервов: вспыльчивые, сумрачные люди, готовые ежеминутно разразиться припадком злости. Их мир состоит из психических светотеней, порывов экстаза и уныния. Они очень смутно представляют себе, почему так чувствуют и куда идут. В их удивлении по поводу своих случайных успехов сквозит то же замешательство. Они играют мрачную комедию непонимания самих себя. Герои Андерсона насыщены чувствительностью, но им явно не хватает умственного развития, а без него их человеческий облик становится крайне ограниченным.

Произведения Андерсона являются иллюстрацией к основному направлению, существующему в среде писателей, которые под влиянием фрейдизма или в виде протеста против века науки и техники бегут от разумного и сознательного мышления или пытаются умалить его значение. Возможно, тут сказывается тоска по незыблемости и упрощенному укладу первобытного общества, в котором мысль не имеет источника развития и лишена своих прямых функций.

По широко распространенному мнению, идеи и просвещение расслабляют мужчин, делают женщин беспольными, а всех вообще людей — робкими и замкнутыми, но им приписывается также и обратное действие. Мыслящий человек, по представлению некоторых, — это черствый, педантичный, близорукий сухарь, а по мнению других — опасный искуситель, источник житейских соблазнов. Самый титул «профессор» приобрел в Америке XIX столетия оттенок мошенничества и хитрости. Вот что Росс Локридж младший в своем романе «Округ Рейнтри» говорит об этом явлении:

«С самого начала в округе Рейнтри его называли «перфессор». Джонни Шонесси, стоявший на голову выше остальных деревенских парней... всегда старался произносить первый слог правильно, тогда как весь округ произносил его заведомо неверно. Это курьезное искажение казалось даже Джонни весьма уместным. Ведь это было то самое прозвище, какое с незапамятных времен давали в округе всем бойким мошенникам, появлявшимся на карнавалах и праздничных торжествах с целью продажи простому люду средств для рращения волос, способов добиться быстрого успеха и новых патентованных средств против полового бессилия. Каждый из этих отъявленных плутов-фокусников был известен своим помощникам и неграмотным деревенским парням как «перфессор». Это была дань уважения странствующему чародею, который грабил людей с помощью только своего языка. Джонни наблюдал эту сцену сотни раз и никогда не переставал восхищаться замечательным комичным зрелищем победы хитроумия над человеческими надеждами и алчностью»¹.

Самым могущественным воплощением мыслящей личности является дьявол, а дьявол — почти во всех версиях — в умственном отношении выше бога. В «Потерянном рае» Мильтона змий перехитрил бога в раю и отомстил за свое изгнание с небес, соблазнив Адама и Еву, несмотря на все усилия бога предотвратить это. В образе Мефистофеля в пьесе Марлоу, поэме Гёте и опере Гуно он без особого труда покупает душу Фауста и доводит ее до вечного

¹ Ross Lockridge, Jr., Raintree Country, Boston, Houghton Mifflin, 1948, p. 147—148.

проклятия. Дьявол — всегда блестящая личность, полная идей и хитроумных замыслов, искусная и изобретательная, обманывающая бога только благодаря своему уму. В конечном итоге бог всегда торжествует благодаря своей добродетели, которая в прямых столкновениях оказывается могущественнее, чем хитрость Люцифера. Борьба между ними изображается как борьба между нравственностью и умом, причем эти два элемента считаются не только раздельными, но и антагонистическими. С теологической точки зрения ум приобрел известный оттенок безнравственности. Человеку с блестящими умственными способностями по меньшей мере нельзя доверять.

Вражда между небом и адом имеет свою параллель на земле, где происходит столь же яростная борьба между добродетелью и умом. Символы этой борьбы встречаются в литературе повсюду: в состязании между чудовищно умным и злым Яго и добрым и глупым Отелло, между Эдмундом и Глостером, Блайфилом и Томом Джонсом, Жюльеном Сорелем и миром условностей, на который он нападает. Эта борьба проникла даже на страницы ковбойского романа. В широко известных примитивных романах Макса Брэнда часто изображаются столкновения между порочным, но чрезвычайно умным преступником Бэрри Крисчианом и ходячей добродетелью Джимом Силвером. Сила и добродетель Силвера неизменно разрушают самые хитроумные замыслы Крисчиана, но мошенник всегда остается цел, чтобы послужить стимулом к появлению новой книги.

Предполагается, что мыслительный акт влечет за собой не только злодейство¹, но независимо от вопросов морали также какую-то долю риска и опасности. Размышление почти всегда приводит людей к беде. Оно заставляет их сомневаться в господствующих взглядах, прони-

¹ В самом последнем варианте кинофильма «Три мушкетера» главный злодей, Ришелье, говорит своей ближайшей помощнице миледи де Винтер: «Мы победим наших врагов, так как думаем и создаем планы, а они действуют только под влиянием импульса». Или что-то в этом роде. Во всяком случае, Ришелье причисляет себя к людям с высокоразвитыми умственными способностями, тогда как герои только бессознательно добродетельны. Нечего и говорить, что их бессознательная добродетель одерживает победу. Сам Дюма не столь последователен. Его д'Артаньян умен в такой же мере, как и ловек. Голливудский же д'Артаньян только ловек.

коть в неизведанные области, бросать вызов давно укоренившимся понятиям. Никто не может предугадать, куда устремится мысль и к чему она приведет. Поэтому размышление рискованно, опасно и, возможно, даже носит антиобщественный характер. Многие известные в истории жертвы, начиная с Сократа, были людьми, посвятившими свою жизнь мышлению независимо от его последствий и выступавшими против учреждений современного им общества. Подозрительность, направленная в настоящее время против использования умственных способностей, имеет длинную историческую традицию. Нам говорят: не будем ничего анализировать слишком детально; то, что мы видим вокруг, может оказаться не совсем приятным, может вызвать у нас чувство неудовлетворенности, превратить нас в скептиков, радикалов, еретиков, атеистов. В самом лучшем случае, размышление, безусловно, вызовет у нас состояние беспокойства, которое само по себе нежелательно, так как приводит к волнению и даже чему-либо худшему.

Наряду с изображением мыслителя как скучного, непрактичного человека, его представляют также опасным соблазнителем умов. В этой второй роли безнравственность и дух бунтарства присущи мыслителю почти в равной мере. Слишком долгое копание в пропыленных книгах превратит его в подвластного дьяволу Фауста. Чрезмерно длительная возня с пробирками приведет к созданию чудовища — Франкенштейна. Слишком долгое и сосредоточенное наблюдение в телескоп сделает из него Галилея со всем тем беспокойством, которое он причинил властям своего времени. Чересчур напряженная умственная работа превратит мыслящего человека либо в рассеянного, старомодного чудака, либо в угрозу обществу. В первой роли его можно игнорировать, во второй — следует подавлять. История прошлого и настоящая действительность знают множество примеров такого игнорирования и подавления; они способствовали широкому распространению мнения, что люди, слишком близко соприкасающиеся с идеями, как-то неуравновешены и ненормальны. Станный и противоречивый перечень грехов, приписываемых им, свидетельствует о нелогичности этого мнения и отводит ему особое место среди существующих искаженных представлений об интеллектуальной деятельности.

VI

Видное место среди распространенных измышлений относительно умственного развития занимает представление, что такое развитие делает людей несчастными. Утверждают, что высокие учебные отметки влекут за собой усиленную склонность к скуке, повышенную нервозность, большую восприимчивость к болезням и меньшую приспособляемость к современной напряженной жизни. Этой теме был посвящен ряд журнальных статей с обилием цитат из описаний разного рода психологических опытов, имеющих целью доказать, что людям живется лучше без мозгов. Типичным примером является статья Джона Э. Гибсона в журнале «Колльерс» с характерным заглавием: «Модно быть глупым». Статья начинается в безапелляционном тоне:

«Наука доказала, что во многих отношениях лучше быть глупым, чем иметь в голове много шариков. В свете самых новейших открытий становится, по существу, ясным, что высокая учебная квалификация — это определенный тормоз...

Если вы несколько слабоваты по части мозгов, то, наверное, будете более счастливым и дольше проживете. Вы быстрее поправитесь после болезни, сможете обойтись значительно меньшей продолжительностью сна, будете в меньшей степени подвержены скуке и бессоннице и даже сможете лучше водить автомобиль.

Психологи открыли, что мальчик, шевелящий губами при чтении, сможет лучше приспособиться к тяготам и напряженности современной жизни, чем его более умный брат».

Далее в статье утверждается, что лица с высоким умственным развитием чаще попадают в автомобильные катастрофы, подвержены большему числу хронических заболеваний и плохо приспособлены к общественной жизни. Все это с неотразимой логикой приводит к выводу, что умственно отсталые люди живут лучше, чем нормальные лица:

«Профессор социологии в Коннектикутском колледже д-р Р. Дж. Ривс Кеннеди провела наблюдение над сотнями типичных умственно отсталых людей из различных слоев общества. Их учебная квалификация была от 50 до 75... Д-р Кеннеди убедилась, что умственно отста-

лые зарабатывали столько же и так же хорошо приспособлялись к обществу, как и высокоразвитые люди. Она нашла также, что рядовая умственно отсталая женщина зарабатывала фактически *больше*, чем нормальная женщина-работница... Наблюдение показало, что типичный умственно отсталый человек имеет подходящую работу, хорошие домашние условия и семью; имеет радио и телефон, читает газеты и журналы и своим любимым развлечением считает кино. Типичный умственно отсталый мужчина — это полуквалифицированный рабочий, часто зарабатывающий *значительно больше* 50 долларов в неделю, то есть больше среднего заработка американского промышленного рабочего»¹.

Представление о нежелательности умственного развития наблюдается как широко распространенное явление во многих слоях американского общества. В политической жизни на людей с высокими идеалами обычно смотрят как на слегка тронутых; они — возмутители спокойствия, нарушители установившихся порядков. Для политического деятеля достаточно умения абстрактно мыслить, чтобы заставить верных сторонников избирательной машины содрогнуться; это умение нарушает одно из старейших и наиболее укоренившихся табу. В 1952 году во время кампании по выборам президента сторонники Эдлая Стивенсона опасались, что его слишком «умные» речи будут непонятны избирателям, а его противники-республиканцы презрительно отзывались о нем и о высокообразованных составителях его речей, называя их «тронутыми». Независимые и оригинальные взгляды редко ценятся в политической жизни, и не так часто встречаются люди, умеющие применять их на практике².

В обычной, повседневной жизни существует представление, что мышление ведет каким-то образом к несчастью. Элемент отрицания рассудка, содержащийся в поговорке: «Много будешь думать — скоро свихнешься»³, — воспринимается на веру как истина. Смысл здесь таков: беды

¹ «Колльерс», № 5, февраль 1949 года.

² С трудом можно назвать нескольких лиц: Вудро Вильсона, Франклина Делано Рузвельта, Эдлая Стивенсона; и только Рузвельт, наименее интеллигентный из всех трех, добился полного успеха.

³ Русский эквивалент: «Много будешь знать — скоро составишься». — *Прим. перев.*

минуяют быстрее, если не вдумываться в них слишком глубоко; как будто изучение их и обдумывание каким-то образом их усугубит и сделает более живучими¹. Способность избегать хотя бы отчасти контакта с опытом, открывать внешнему миру только минимальную часть своего «я» считается прямым путем к счастью или по крайней мере к отсутствию страданий. Это упрощение своей личности, эта психологическая замкнутость является неизбежным следствием открытой или завуалированной борьбы против мозга и его мыслительных способностей. И поскольку эта борьба препятствует сохранению цельности человеческой натуры, она превращается одновременно в выпад против осуществления демократических идеалов, подразумевающих полное раскрытие самого себя и своих способностей.

Другим проявлением подобного отношения к высокой успеваемости является «проблема развитого ребенка», как называют ее воспитатели,— словно умственное развитие само по себе представляет проблему. Директор одной средней школы, обращаясь к родителям группы способных детей, заметил: «Мне жаль вас, родителей развитых детей». Затем добавил: «В нашей школе есть маленькая девочка. У нее, бедняжки, успеваемость 162 балла. Да, я говорю «бедняжка» потому, что она оторвана от всех нас, остальных». Подразумевалось, что «все мы, остальные», имеющие, к счастью, только среднее развитие,— нормальные, счастливые и уравновешенные люди, тогда как способный ребенок — не приспособленный к жизни урод.

Ассоциирование ума с нервозностью, эксцентричностью и чудаковатостью — это повсеместное явление в Америке. Хотя мы представляем собой народ, интересующийся механикой и любящий машины, наше отношение к изобретателям, явно ненормальное. Изобретатели — необходимая профессия в обществе с высокоразвитой техникой; казалось бы, к кому, как не к ним, будут относиться с уважением и чуть ли не с благоговением. А между тем это одна из тех общественных групп, к которым американцы относятся с особым пренебрежением. Вернее, до тех пор,

¹ К тому же выводу приходят в литературе, исходя из образа Гамлета, «ставшего больным от мрачных мыслей», как будто трагедия Гамлета заключается в том, что он слишком много думает. На Гамлета ссылаются как на тишичный пример интеллигента, вынужденного постоянно бездействовать из-за обременяющего его груза ума.

пока их изобретение не получит признания; тогда они превращаются в увенчанных лаврами героев, сразу поднявшихся на вершину славы, чтобы служить примером будущим молодым поколениям, которые должны завидовать им и соревноваться с ними. Однако прежде, чем изобретение приобретет коммерческую ценность, изобретатель должен быть готов к клевете. Он — человек со странностями, выживший из ума, дилетант, чудак; он — дурак, чуть ли не умалишенный; он — безответственный лодырь, вероятно не заботящийся о своей жене и детях; он — просто помешанный. Но в тот момент, как он становится богачом, все эти обвинения отбрасываются в сторону и тонут в потоке восторженных похвал. Всем давно известно, что его эксцентричность — это признак гениальности. Его непрактичность оказывается пронизательностью; за видимым отсутствием заботы о близких скрывалось желание добиться для них лучшего обеспечения; его равнодушие к критике — уже признак не слабости его, а мужества. До тех пор пока изобретатель владеет только своими мозгами, его будут клеймить презрительными эпитетами — от безвредного чудака до буйного помешанного. Спасти его может только успешная продажа своего изобретения, и тогда его мозги уже больше ни при чем. Со времени бедного Джона Фича и его первых опытов с пароходом вплоть до нашего времени американская история знает множество отвергнутых изобретателей, большинство которых сошли в могилу, окруженные общим презрением.

Даже в книгах для юношества изобретательство само по себе редко поощряется. Наиболее знаменитый изобретатель в американской детской литературе, Том Свифт, имеет на плечах хитрую голову бизнесмена, и вряд ли он смог бы долго продержаться без нее. В самом начале своей карьеры, растянувшейся на сорок с лишним томов, он создает компанию под названием «Предприятия Тома Свифта»; она нужна не только для того, чтобы предотвратить захват его изобретений «покровителями», готовыми ограбить его, но чтобы обеспечить также постоянный приток средств для его собственной деятельности. Эта деятельность, насыщенная приключениями, заносит Тома Свифта в самые отдаленные уголки земного шара, причем у него всегда уже наготове очередное изобретение. Применив в трудный момент это изобретение, Том одолевает злодеев и возвращается к себе на родину; его изобретение

уже испытано на практике и готово для массового производства. Из плодовой головы Тома выходит такое множество различных велосипедов, самолетов, автомобилей, радарного оборудования, радиоприборов, прожекторов и различных других изобретений, что их хватило бы для заполнения обширного фирменного каталога, и все они готовы превратиться в товары для продажи. Без этого процесса отоваривания Том Свифт мог бы стать олицетворением настоящего ученого-изобретателя, но он был бы менее типичен для окружающей его социальной среды и, по всей вероятности, значительно менее популярен.

Чтобы гарантировать наверняка, что никакое клеймо интеллигентности не запятнало Тома, автор заставляет его умело действовать кулаками, быть находчивым, ловким и храбрым в затруднительных положениях. Его изобретательская деятельность всегда быстро сменяется драматическими приключениями, так что Том не рискует приобрести бледный цвет лица и рассеянный взгляд лабораторного экспериментатора. У него нет ни одного из качеств, обычно приписываемых ученому-затворнику. Том весел, чисто-сердечен, вежлив и быстро откликается на любой, даже самый слабый призыв к действию. Автор не позволяет ослабнуть впечатлению мужественности, производимому Томом, и не щадит усилий, чтобы создать из него безупречный образец идеального американского парня: в мире механики он чувствует себя как дома, но всегда держится настороже, чтобы не упустить какого-нибудь счастливого случая; у него настолько сильно развито чувство конкретного практицизма, что он никогда не тратит времени даром и не блуждает по туманным путям чистой теории или абстрактных исследований, не ведущих ни к чему определенному. Его связь с умственной деятельностью окружена многочисленными защитными рогатками, столь хитроумно устроенными и расставленными, что она принимает форму не пылких любовных отношений, а мимолетного флирта. Наконец, Том никогда не корпит в поте лица над умственной работой. В начале каждой книги он выходит из лаборатории, когда его новейшее открытие уже доведено до совершенства, все проблемы и трудности, встречавшиеся в ходе работы, остались позади и, в сущности, никогда даже не упоминаются. Появление на свет в тяжких муках нового изобретения — многочисленные препятствия, которые надо преодолеть, неудачные, беспре-

рывно повторяемые опыты, мужественное упорство, подвергаемое величайшему испытанию,— все это умышленно опускается. Том живет в мире не умственного труда, а делового применения его результатов и старается никогда не смешивать оба вида деятельности. Благодаря этому он избегает неврастения, которая, как принято думать, является неизбежным спутником всякого даже незначительного умственного напряжения, и выступает как вполне приемлемый представитель той крайне материальной среды, которую он эксплуатирует в соответствующих юношескому возрасту масштабах. Таким образом, Том наслаждается всеми приятными свойствами мысли, не испытывая всерьез связанных с ней жизненных затруднений. В этом и заложен ключ к его широкой популярности, одновременно показывающей, какой тип изобретателя публики готова безоговорочно признать.

Лаборатория, где хитроумный Том не хочет находиться в присутствии своих читателей, выглядит в глазах американцев почти так же, как и классная комната. В ней иногда могут совершаться важные открытия, но люди, которые там трудятся,— это бледные, бескровные тени настоящих людей. Вообще люди, жизнь которых протекает внутри помещения, никогда не могли сравняться по степени своей популярности в Новом свете с людьми, находящимися на открытом воздухе. И так как работники умственного труда по самой сущности своей профессии действуют почти исключительно внутри помещения, на них смотрят как на людей, не соприкасающихся с действительностью, как на людей, у которых почему-то иссякли животворные источники. Томас Волф высказывает эту точку зрения в романе «Паутина и скала» в одном из своих обычных авторских отступлений:

«Есть люди, обладающие богатством чувств и жизне-радостностью и передающие их всему, с чем они соприкасаются. Это прежде всего физическое свойство, а затем уже — душевное. Для таких людей безразлично, богаты они или бедны: они в действительности всегда богаты, потому что обладают такими запасами внутренней жизненной силы, что придают всему интерес, значение и привлекательность...

Таким свойством обладают молодые полицейские, сидящие без кителей в ночных ресторанах, шоферы такси в черных рубашках, боксеры, игроки в бейсбол и гон-

щики — смелые и добродушные люди; рабочие, занятые на металлоконструкциях, сидящие верхом на перекладине на головокружительной высоте, паровозные машинисты и тормозные кондукторы, одинокие охотники, трапперы, ставящие капканы, — очень застенчивые и замкнутые люди, живущие всегда в одиночестве, находятся ли они в пустыне или в городской комнате; вообще все люди, имеющие дело с конкретными вещами, с тем, что имеет вкус, запах, твердость, мягкость, цвет, что надо обрабатывать или регулировать руками, — строители, деятели, активные работники физического труда, созидатели.

Люди, не обладающие этим качеством, — это люди, шелепящие бумагами, стучащие клавиатурой, — клерки, стенографистки, учителя колледжей, люди, завтракающие в кафе-автоматах, бесчисленные миллионы, живущие скудно, ведущие бледное и лишенное риска существование»¹.

Умственная работа лишает человека соприкосновения с чувственным и физическим, тем самым порывая его связь с природой. Не удивительно, что те, кто работает над бумагами при искусственном освещении, кто живет только умственными запросами и позволяет своему телу атрофироваться без тренировки, теряют способность координировать свои действия и сохранять равновесие — качества, потенциально присущие всем людям. Они действуют вне пространства. А пространство было основным измерением в американской истории и остается им до сегодняшнего дня (хотя и в меньшей степени), несмотря на исчезновение границы с ее головокружительными перспективами свободных земель. Время, память, мысль — внутрикомнатные измерения — только еще начинают приобретать смысл и влияние, отчасти в результате сложнейших дилемм нашего века, но они все еще являются второстепенными по отношению к пространству, с его теперь индустриализированным и в то же время мускульным содержанием.

Лабораторный ученый в не меньшей степени, чем изобретатель, считается «чужаком», если занимается исследованием, не приносящим немедленной пользы и успеха. Исследовательская работа Мартина Эрроусмита в знаме-

¹ Thomas Wolfe, *The Web and the Rock*, New York, Harper, 1939, p. 377, 379.

нитом одноименном романе Синклера Льюиса служит прекрасной иллюстрацией к этому. Пока Эрроусмит согласен прерывать свои медицинские исследования на той или иной стадии, разливать вакцины по бутылкам и продавать их, он зарабатывает деньги и продвигается вперед по иерархическим ступеням своей профессии. Когда же он отказывается прервать ход клинических исследований до получения окончательных научных результатов, он теряет почву под ногами. Эта борьба между деньгами и истиной, практикой и теорией, материальными соображениями и душевной чистотой пронизывает всю книгу. Наконец, чтобы целиком отдаться своим исследованиям, Эрроусмит вынужден отрешиться от всякой мысли о профессиональной карьере, денежном обеспечении и радостях публичного одобрения и удалиться в уединенную сельскую лабораторию. В известном смысле он побеждает, но очень дорогой ценой, которую Льюис и не пытается скрывать. Эрроусмит в конце концов готов стать объектом глумления со стороны успешно практикующих врачей, мирится с перспективой оказаться в представлении большинства своих современников лицом, достойным сожаления, заблуждающимся чудачком-идеалистом.

Возникшие в ходе второй мировой войны потребности привели к производству атомной бомбы и стремительно выдвинули ученого на видное место в стране, какого он никогда ранее не занимал. Стоит только ученому создать что-либо конкретное, вроде сверхмощного военного оружия или надежного средства против рака,— и его работа становится понятной и общепризнанной, а его общественное положение соответственно возрастает. Но результаты его работы должны быть быстрыми, конкретными и практически полезными.

Однако даже после фактического успеха с атомной энергией с ученым продолжали обращаться как с человеком, не вполне отвечающим за свои поступки, не совсем взрослым. «Практики» прилагали отчаянные усилия к тому, чтобы поставить ученого под чей-либо контроль, причем почти всякий контроль считался более уместным, чем предоставление ему прежней свободы действий. Сначала предложили, чтобы ученых-физиков контролировали военные, которых никто не мог обвинить в том, что они не реалисты и не практики. Однако это предложение натолкнулось на традиционное нежелание американцев пере-

давать гражданские дела в ведение армии и было отвергнуто. Затем оказывалось сильное давление, чтобы передать атомную энергию в руки частных предпринимателей. Промышленники, конечно, проследят за тем, чтобы рассеянные, непрактичные ученые не поставили под угрозу безопасность нации. В конце концов для руководства работами по атомной энергии было создано государственное учреждение под контролем гражданских лиц.

Потребовались ужасы атомной бомбы, чтобы освободить широкие слои общества от их прежнего пренебрежительного отношения к ученому-теоретику. Но хотя к работе ученого теперь стали относиться с известным уважением, его самого — после того как улеглась первая сенсация — по-прежнему считали несколько неприспособленным к сложным условиям современной жизни. Это особенно сказалось на отношении публики к Эйнштейну. Непосредственно после Хиросимы его публичные выступления собирали широкую аудиторию, но с течением времени его высказывания на социальные и политические, то есть не научные, темы стали вызывать все меньше интереса. Мнение о том, что ученые, по крайней мере вне своей лаборатории, наивны и немного ненормальны, вскоре снова возобладало.

Представление о том, что умственная работа связана с патологией в области чувства, особенно распространено в отношении женщин. Интеллигентная женщина — будь то школьная учительница, доктор, адвокат или редактор журнала — является в Америке, как правило, объектом насмешек и сожаления. В основе такого отношения лежит старое реакционное представление, будто место женщины — дома, где мышление составляет наименьшую часть ее деятельности. Принято считать, что в любом случае женщина, имеющая профессию, платит за свою карьеру дорогой ценой в области чувств, так как женственное начало ее натуры в какой-то мере иссякает, и роль, предназначенная ей самой природой (милосердной и мудрой), извращается. Считают, что это особенно заметно на школьных учительницах с их традиционными свойствами старых дев. Согласно широко распространенному взгляду, женщина-адвокат или доктор, будучи замужем, обычно ущемляет права своего мужа и либо лишает его мужских качеств, либо делает их совместную жизнь невыносимой. Чаще она бывает незамужней, так как желает сосредото-

чить все свое внимание на карьере, а это со временем делает ее суровой, мужеподобной по характеру и по костюму. В качестве редактора журнала (популярный образ в кинофильмах и рассказах из толстых журналов) она может быть бойкой, умной, искушенной в жизненных делах, но чувства ее находятся в хаотическом состоянии, и ее часто беспокоят нервы. Типичный образ такой женщины можно найти в музыкальной комедии Мосса Харта «Леди в неведении» («Lady in the Dark»), где героиня, — известный и необычайно талантливый редактор, застенчивая и наивная, как девушка-подросток, — не может распознать своей настоящей любви, хотя объект ее все время у нее перед глазами; она выходит из тупика, только пройдя через очень сложный лабиринт психоанализа и толкования снов. Здесь опять-таки влияние умственной работы пагубно сказывается на ее нервах и чувствах ¹.

Если женщину-интеллигентку обвиняют в уклонении с правильного пути по одной причине, то мужчине-интеллигенту приписывают совсем другую. С образом мужчины-художника или писателя все еще по-прежнему связывается понятие богемы. Сколько бы ни встречалось в жизни примеров совершенно «нормальных» художников и композиторов, ведущих самое бесцветное и монотонное существование, с их образами продолжают связывать представление о свободной любви, вспыльчивом и безрассудном темпераменте и отрицании сложившихся общественных норм. Кинофильмы со свойственным их авторам стремлением приукрашать все, что они изображают, усиливают это впечатление. Любой композитор, чья «жизнь» воспроизводится на экране, имеет бешеный характер, восхищенное выражение лица, когда он играет или слушает музыку, и взволнованный голос. При этом род музыки, которую он сочиняет, не имеет особого значения. Бетховен, Гершвин и Джером Керн обладают одними и теми же свойствами,

¹ Это широко распространенное заблуждение имеет немало сторонников в научных кругах. Время от времени появляются трактаты, авторы которых умоляют женщин «вернуться в дом». Самый яркий пример последовательных взглядов по этому вопросу — книга Фердинанда Ландберга и Маринайи Ф. Фарнхэм «Современная женщина. Утраченный пол» (Ferdinand Lundberg, Marynia F. Farnham, *The Modern Women: The Lost Sex*), где профессиональная работа подвергается нападкам как смертельный враг здоровой, уравновешенной женщины и где женщину уговаривают вернуться к положению, которое она занимала в средние века.

в слегка измененных комбинациях. Ни один из этих созданных на экране образов явно не соответствует тому типу людей, которых рядовой посетитель американского кино желал бы видеть вторично у себя в доме.

На художника также смотрят как на неустойчивого человека, столь же нездорового типа, как Ван-Гог и Гоген. Кроме того, в каждом художнике есть какой-то опасный чужеземный налет, в частности французский, поскольку Париж — такое место, где все подающие надежды художники учатся рисовать, а Франция с давних пор считается средоточием всего антиамериканского в области манер, морали и искусства. И так как художник действует в сфере, которая часто трудна для понимания, то тем больше оснований думать о нем, как о человеке, выбившемся из колеи.

Положение писателя в этом отношении лучше, чем положение его коллег — мастеров искусств, но не в силу его личных качеств, а потому, что сфера его деятельности более доступна пониманию широких масс. Поскольку в век растущей грамотности его произведения могут читать почти все люди, он кажется менее странным и эксцентричным. Так как рынок для продукции писателя шире, то его шансы на коммерческий успех больше, а это значительно усиливает уважение к его профессии. Но даже писателю далеко до положения врача или инженера, не говоря уж о бизнесмене, и старый предрассудок, что у писателя тоже «не все дома», продолжает жить. Ни один уважающий себя родитель не будет растить ребенка с целью сделать из него писателя. Если верить американской литературе (или Голливуду), то ни один ребенок не становится в дальнейшем писателем без ожесточенной борьбы с теми, кто отвечает за его воспитание. Если он в конце концов начинает зарабатывать на жизнь своей профессией, то лишь в условиях полного равнодушия публики. Но чаще всего это ему не удается, и тогда он становится озлобленным, циничным, раздражительным и готовым к бунтарству, которое обыкновенно ассоциируется с искусством. Иногда он отказывается от литературной деятельности и возвращается к нормальному образу жизни — становится агентом страховой компании или владельцем автомобильного гаража, помогает своему отцу вести дела или занимается еще чем-нибудь столь же солидным. Он освобождается от своего лихорадочно горящего, дикого взгляда;

его взъерошенные волосы теперь причесаны соответствующим образом; смятая одежда должным образом выглажена; он начинает носить галстуки и шляпы. Превращение нервно возбужденного писателя с его болезненным воображением и сумасбродным поведением в здорового, уравновешенного человека, гармонирующего с американской действительностью, теперь полностью завершено.

Все эти искаженные представления отражают под различными углами зрения то недоверие, с каким в Америке относятся к интеллектуальной жизни. Эта жизнь преломляется в них, как в кривом зеркале. Отражение ничуть не похоже на действительность или в лучшем случае является ее преувеличением. Но до тех пор, пока его воспринимают как точное, на творческого работника и мыслящего человека будут по-прежнему смотреть с недоверием и его деятельность будет казаться подозрительной.

Г Л А В А IV

ЛОЖНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БОГАТСТВЕ И БЕДНОСТИ

I

Как это ни парадоксально, преклонение перед материальным успехом в Америке существует бок о бок с представлением, что богатство в какой-то мере портит человека. Погоня за деньгами уже давно считается несовместимой с поисками идеалов и правды. Совершенно очевидно, что одно часто противоречит другому; этот конфликт проявляется в целой серии типичных положений, где человеку приходится выбирать одно из двух. Во многих рассказах и кинофильмах с различными вариациями трактуется тема о художнике, который должен сделать выбор: либо развивать свой талант, живя при этом впроголодь на чердаке, либо отказаться от свободы творчества ради создания малохудожественных, но прибыльных портретов. Равным образом популярна (как показал это в «Мартине Эрроусмите» Синклер Льюис) ситуация, когда врачу приходится делать выбор между богатой, фешенебельной практикой и материально невыгодными поисками научной истины в уединенной лаборатории. Бывает также писатель, который колеблется между возможностью загребать кучу де-

нег в Голливуде и необходимостью перебиваться с хлеба на квас в жалкой меблированной комнатухе, чтобы создать выдающееся произведение американской литературы; по-видимому, он не может делать то и другое сразу.

Старая поговорка «продать первородство за чечевичную похлебку» отражает давнишний взгляд, что богатство часто приобретается ценой душевной чистоты. Это убеждение способствовало появлению штампов, получивших широкое распространение, и разделило американцев на представителей двух враждебных толков. Один из таких штампов сводится к мнению, что богатый человек *per se* [сам по себе] жаден и зол, в любом случае нажил свои деньги, эксплуатируя бедняков, и только стремится приумножить нажитое за счет кого угодно. Это была излюбленная догма популистов, и других партий, стоявших за аграрные реформы, после Гражданской войны; она дожила до нашего времени в широко распространенном среди фермеров недоверии к Уолл-стриту. Во время избирательных кампаний кандидаты различных политических партий предупреждают избирателей против происков «крупного капитала», не останавливаясь подробно на его деятельности, и сомнительно даже, имеют ли ораторы и их слушатели ясное представление о том, что такое «крупный капитал». Образ скряги-банкира (если говорить о том же штампе в другой его форме) давно уже популярен в американской литературе и фольклоре и широко распространен в кинофильмах¹. В октябре 1947 года на заседании комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, занимавшейся в то время расследованием подрывных влияний в Голливуде, некоторые из свидетелей заявляли, что этот образ банкира, созданный в кино, — коммунистическая выдумка и поэтому антиамериканское явление (точка зрения еще более абсурдная, чем само литера-

¹ Сами банкиры всегда очень болезненно реагировали на такое нелестное мнение о них со стороны широких кругов населения и при всякой возможности пытались изменить его. Фирма «Манифакчерерз траст компани» в целях рекламы аннулировала на специальной церемонии долговую расписку своего миллионного по счету дебитора. Растроганный дебитор заявил: «Банковское дело — замечательная вещь. Человек может прийти в банк и занять деньги только под одно свое имя». На это вице-президент банка сказал: «Отсюда становится ясным, что современные банкиры — это не цифры из гробсбуха, а люди» («Нью-Йорк таймс» от 30 октября 1952 года).

турное воплощение образа). Этот образ существовал в воображении американцев еще задолго до того, как стало слышно о Ленине; многочисленные примеры его встречаются у такого специфически американского писателя, как Орейшо Олджер. Этот образ имеет столько же общего с действительностью, сколько и созданная под его влиянием популярная поговорка, что людям живется лучше без денег.

Недоверие к денежному человеку — старая и глубоко укоренившаяся идея, восходящая по меньшей мере к Библии¹. Граница была благодарной почвой для появления идеи, что человек с умеренными средствами, по-видимому, честен; состоятельный же человек, несомненно, приобрел свои деньги путем какого-нибудь мошенничества, начиная с азартных игр и бродяжничества в лесах до хищения скота и махинаций с заявками на земельные участки. Эстетическая параллель к моральной характеристике богатого человека возникла в 1920-х годах, в период расцвета Гринвич-Виллидж²: считалось, что нищета и занятие искусством — синонимы, а погоня за деньгами притупляет тонкие чувства и приводит к буржуазной вульгарности. Но это мнение получило широкое распространение только в 1930-х годах, когда оно было подхвачено киностудиями; одна картина за другой показывали богатых нервными и несчастными людьми, ставшими такими главным образом вследствие своего богатства. Популярность такого мнения была публично признана в известной талантливой комедии Мосса Харта и Джорджа С. Кауфмана «Нельзя взять его с собой». В этой пьесе семья бедных Сайкаморов ведет чудесную жизнь, полную радости и счастья, тогда как семья богатых Кирби чувствует себя опустошенной и несчастной. Противоречия между ними приводят к решительной победе первой семьи над второй.

Одним из самых последовательных пропагандистов обоих этих взглядов на деньги в американской литературе является Джон Стейнбек. В некоторых из его романов нищета идеализируется; в других он ополчается против бедности и богатых боссов, которые повинны в ее существо-

¹ «... легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богачу войти в царство небесное» («Евангелие от Луки, XVIII, 25).

² Пригород Нью-Йорка, где живут главным образом писатели, художники, артисты и другие деятели искусства. — *Прим. перев.*

вании. Примером первого рода может служить его роман «Жилье Тортиллы». Все беды, выпавшие на долю праздных и счастливых пейзан, начинаются, когда Данни приобретает собственность и становится землевладельцем. До этого они все лежат, купаясь в лучах монтерейского солнца, окутанные дымкой идиллического блаженства. В тот момент, когда они оказываются втянутыми в денежные дела, их идиллия нарушается, счастье испаряется, они распадаются на враждующие между собой группы и угрожают один другому различными примитивными способами. В конце концов дом Данни сгорает — акт символического жертвоприношения, которое разоряет его товарищей и одним взмахом возвращает их к прежнему блаженству.

Роман «Консервный ряд» продолжает идиллию руссоистского рая из романа «Жилье Тортиллы»; появляются те же пейзаны, но в несколько иных комбинациях, однако с теми же самыми выводами в конце. В романе «Заблудившийся автобус» центральный герой — примитивный, не имеющий экономической опоры человек, который порывает со своими привязанностями, когда они грозят подавить его естественные инстинкты. В повести «Жемчужина» Стейнбек рассказывает нам историю бедной индейской четы, нашедшей жемчужину сказочных размеров и оказывающейся из-за нее вовлеченной в лабиринт алчности и преступлений. Их несчастья кончаются только тогда, когда они бросают жемчужину снова в море. Эта повесть написана в мрачных тонах, а «Жилье Тортиллы» в нежных, но, несмотря на различную эмоциональную окраску, подход к богатству в обеих книгах во многом совпадает. Этот подход, по существу, уже замечен в первом романе Стейнбека «Золотая чаша», где речь идет о пирате сэре Генри Моргане, который, достигнув вершин богатства, решил, что власть и деньги — еще не все, и предпочел стать бедным и неизвестным, а отсюда и более счастливым человеком.

II

Еще более широко, чем неприязнь к богатым и идеализация бедных, распространена совершенно противоположная привычка судить о человеке по его доходу. Среди мифов о богатстве и бедности, преобладающих в Америке,

этот встречается чаще других. Бедность может казаться некоторым идилической, но в глазах большинства она постыдна. Она является признаком неспособности человека и в то же время критерием для определения той степени уважения, какой он заслуживает. Она имеет сравнительное, так же как и абсолютное значение. Позор, связанный с бедностью, возрастает по степени сравнительно меньшей обеспеченности: иметь дом меньший, чем у соседа, менее дорогую одежду или любое другое имущество худшего сорта или в меньшем количестве. Вполне нормально иметь деньги, не имея мозгов. Однако иметь мозги, не имея денег, значит вызывать жалость и презрение. Так как, согласно ложному мнению, все люди имеют тенденцию опускаться или подниматься материально до своего настоящего уровня, то принято считать, что деньги являются точным калибром для проверки качеств человека.

В обществе, которое принимает за основу этот критерий, положение тех, для кого накопление собственности не является самоцелью, становится вдвойне трудным. Начать с того, что бескорыстный человек, обладающий страстью к учению, преподаванию или научно-исследовательской работе, к искусству и общественной работе или к каким-либо преобразованиям, вынужден будет с трудом пробивать себе дорогу, пользуясь весьма ограниченным признанием. Положение ухудшается тем, что общество отказывается оплачивать его труд в достаточном размере и в то же время относится к нему с презрением из-за его неумения заработать деньги. В результате ему приходится делать трудный выбор, тем более мучительный, что он основан на произвольном и неправильном представлении.

Менкен в присущем ему ироническом тоне указывает, что этот выбор вряд ли можно назвать свободным:

«Только непреодолимое естественное влечение... может побудить американца писать фуги или эпические поэмы. Существует искушение в виде бизнеса, приносящего доход с процентных бумаг. Уступить искушению — значит получить высокое вознаграждение. Преуспевающий бизнесмен пользуется у нас... таким общественным уважением и низкопоклонством, каким в других местах наслаждаются только епископы и артиллерийские генералы. К нему почтительно относятся в газетах даже в том случае, если он выступает в споре с любовником своей жены. Его мнением интересуются по всем общественным вопросам, включая

эстетические. В публичных домах и барах ему оказывается такое внимание, какое в старой Вене некогда оказывали Бетховену. Он пользуется аристократическим иммунитетом в большинстве судебных процедур. Он носит орден Почетного легиона, имеет звание доктора прав в Йельском университете, и его радушно принимают в Белом доме.

Человек, занимающийся литературой, каковы бы ни были его заслуги, не достигает таких высот в условиях нашей *Культуры*... Если он оказывается подлинным художником... то он так же одинок, как агент по страхованию жизни на собрании секты «адвентистов седьмого дня»...¹

Это одна из жизненных трагедий в Америке: ум и деньги сочетаются так редко, что трудно одновременно развивать себя и накапливать собственность. Часто повторяемый в романах Генри Джеймса, в частности в романе «Крылья голубя», тезис сводится к тому, что нельзя прилично жить без денег, но в то же время невозможно избежать коррупции в процессе их приобретения. Под коррупцией Генри Джеймс подразумевал отказ от чистоты своих взглядов и принесение в жертву своего таланта. Нельзя представить себе, какое огромное количество человеческих возможностей было утрачено вследствие этой необходимости выбирать между собственническим и творческим направлениями.

Кинооператора Гйона Мили, окончившего Миннесотский технологический институт, автора двенадцати опубликованных научных трудов, спросили, почему он отказался от научно-исследовательской работы ради фотографии. «Я работал целый год в исследовательском отделе фирмы «Вестингауз», — объяснил он, — и оставил научную работу не потому, что потерял веру в науку, я просто убедился, что за один день работы с фотоаппаратом заработал больше, чем Вестингауз заплатил мне за целый год»².

В своем романе «Опус 21» Филип Уайли возмущенно протестует против системы, которая поощряет ремесло и преследует искусство:

¹ Н. Л. Менскен, *Selected Prejudices*, New York, Knopf, 1927, p. 120—121.

² Из очерка Леонарда Лайонса в «Нью-Йорк пост» от 1 апреля 1947 года.

«Бизнес — единый бог нашего Конгресса. Если человек открыл кулинарное заведение или начал отливать цементные блоки, он становится Привилегированным. Его собственность облагается налогом как нечто священное и извечное. Его производственные издержки не подлежат обложению налогом. Только чистую прибыль, которую он кладет в карман, наш Конгресс рассматривает как доход. Каждый его бочонок муки или мешок с цементом является капиталом. Но если человек создает книги или сценарии в своей голове, то Конгресс смотрит на него как на лицо, стоящее на нижних ступенях социальной лестницы, как на простого наемного работника.

Умственная работа над материалом для книги может занять три четверти жизни человека. Ее продажа в течение года или двух лет может давать автору значительный доход. Но после выпуска этой одной книги — либо после двух или трех — автор рискует снова впасть в нищету. То, что им написано, возможно, останется умственным и эмоциональным достоянием для его соотечественников или даже для всего мира на протяжении жизни ряда поколений. И все же Конгресс не считает его труд равноценным пирогам или кирпичам и иногда в течение года взыскивает с автора весь его капитал, как будто это просто его годовой доход. Америка щедро заботится о производителях кирпича и пирогов и ущемляет права творцов книг и лауреатов Нобелевской премии. В самом деле, бессознательная враждебность толпы к плодам умственного труда настолько сильна, что совсем недавно группа членов Конгресса — продажных дельцов и наглых невежд — пыталась отменить авторское право. Довод их был таков: все то, что человек думает и пишет, а также то, что он чувствует и воспроизводит на полотне, принадлежит бесплатно всему народу; платить невыгодно, так как это — Искусство. Для подобных людей только торговцы утилем, механики, владельцы трамваев, фабриканты бутылок и тому подобные достойны максимальных барышей за свой вклад в повседневный быт. История (если она будет когда-либо написана) отметит тот факт, что скупость американцев привела к унижению всей культуры и умственной работы, что Америка сама лишила себя мозга и умерла обезглавленной»¹.

¹ Philip Wylie, Opus 21, New York, Rinehart, 1949, p. 13.

Раз деньги превращены в критерий жизни, на наши достоинства автоматически наклеиваются ярлыки с ценами. Плодотворность и бесплодность оцениваются соответственно их продажной стоимости. Все, что приносит деньги — производство бесполезных, но ходких безделушек или умение уговаривать людей покупать вещи, ненужные им, бесполезные, а иногда просто даже вредные, — *per se* [само по себе] плодотворно; деятельность, которая не может быть оценена в денежном выражении — замысел, размышление, развитие творческих задатков, присущих каждому человеку, выявление своих склонностей, — считается бесплодной и невыгодной. Студентов колледжа, желающих специализироваться по истории или английской литературе, часто отговаривают от этого, задавая им вопрос: а что вы будете делать после окончания? Разве выгодно писать книги? Этим есть смысл заниматься только в том случае, если вы рассчитываете получить кучу денег. Удовлетворит ли вас преподавание? Куда прибыльнее рекламное дело. Профессия и, по существу, жизненный путь избираются не на основе личного призвания или их общественной полезности, а по признаку наибольшей выгоды.

Наши мифы о богатстве и бедности часто противоречивы, но на деле мы предпочитаем богатство, даже превознося достоинства бедности. Пожалуй, можно заявлять что богатые нервны и несчастны. На банкиров и миллионеров все еще смотрят косо в отдаленных сельских местностях, где сильно влияние примитивного христианства. На фермах и в провинциальных городках Запада Америки все еще могут смотреть на Уолл-стрит как на символ греха. Но в большинстве штатов Америки господствует взгляд, по которому низкий доход считается признаком приниженого состояния, доказательством беспомощности, неспособности или невезения¹. Торо — может быть, великое имя в американской литературе, но Дж. П. Морган — еще более великое имя в американской жизни. Стремление создавать что-нибудь только из любви к делу считается наивным и глупым; в результате

¹ За исключением, пожалуй, периодов общественных катастроф, например крупной депрессии, затрагивающей такое множество лиц из всех слоев общества, что обычные мерки успеха и неудачи временно оказываются неприменимыми.

жизнь человека оказывается направленной по узкому каналу — туда, где добываются деньги. Этой тенденции могут противиться только самые смелые души, самые стойкие индивидуалисты. Поскольку писатели, учителя, художники идут против господствующей тенденции и накапливают лишь незначительную собственность, воздействие на них со стороны общественного мнения соответственно усиливается.

Репутация Америки как страны, не благоприятствующей развитию культуры и творческой жизни, сложилась в известной мере под влиянием указанного выше взгляда на деньги и экономической дискриминации в отношении лиц, не занимающихся коммерческой деятельностью.

Г Л А В А V

БЕГСТВО И ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

В Америке человек творческого труда часто чувствовал себя чужестранцем на родной земле. Созданная там обстановка казалась ему враждебной для свободного, ничем не ограниченного выражения его идей. Механическое и коммерческое направление американской жизни угрожало ценностям, в которые он верил. Повидимому, тенденция к единообразию, против индивидуализации лишала американскую культуру той эмоциональной насыщенности и многосторонности, которые всегда питали искусство. Писатель считал, что ему здесь не о чем писать, а если бы и нашлась подходящая тема, то он не встретил бы среди своих соотечественников сочувствующей аудитории. Чувствуя себя как рыба, лишенная воды, он часто был вынужден покидать родные берега и искать в другом месте соответствующую обстановку, темы и поощрение, которые, по его мнению, были необходимы для его творческой деятельности.

Бегство писателей приняло большие размеры после Гражданской войны. До этого страна была территориально меньшей и более сплоченной. В Новой Англии расцветали литературные и философские общества. Действовали общества «Коннектикутские остряки» и «Субботний клуб». Выдающиеся люди имели свои круж-

ки и часто общались друг с другом. Это было время Эмерсона и трансценденталистов, Джорджа Тикнора, Вильяма Эллери Чаннинга и Олкоттов, таких известных утопических экспериментов, как ферма Брук. В то время даже столь беспощадные критики американской жизни, как Торо, имели возможность сохранить свою индивидуальность, оставаясь на родине.

С окончанием Гражданской войны фабричная система, так ужасавшая Торо, стала развиваться с необычайной быстротой, меняя лицо страны, создавая «позолоченный век» с его новым средним классом, приверженным к показному, вульгарному и безвкусному бахвальству своим богатством. С завоеванием последних границ начали колебаться жизненные устои Новой Англии. Сложившийся уже Восток был наводнен молодой энергией и только что нажитыми состояниями грубого, некультурного Запада. Эта перемена сильно осложнила положение писателей, художников и мыслителей, которые чувствовали, что их все более и более оттесняют от основных направлений нового быта. Герман Мелвил и Уолт Уитмен после своих первых успехов перед Гражданской войной провели последние десятилетия своей жизни в обстановке забвения, замалчивания и общественного пренебрежения. Самыми счастливыми днями жизни Марка Твена были годы его детства, проведенного в простой сельской среде в долине Миссисипи; он никогда не мог полностью приспособиться к более позднему миру, где царил крупный капитал. «...в последние годы жизни Марка Твена,— писал В. Л. Паррингтон в своем исследовании «Основные течения американской мысли»,— между ним и его поколением открылась непроходимая пропасть... Он разоблачал грубость этого поколения, недостаток знаний, дисциплины, исторической перспективы, его интеллектуальную неспособность справиться со всей сложностью обстановки в мире, переживающем двойную революцию — в промышленности и в науке... Веселый юморист 70-х годов вырос в злого сатирика 90-х годов»¹.

Целое поколение американских писателей и художников сочло эту новую Америку настолько неблагоприят-

¹ V. L. Parrrington, *Main Currents in American Thought*, New York, Harcourt Brace, 1930, vol. III, p. 88—89.

ной для своей творческой деятельности, что решило покинуть ее навсегда. Уильям Ветмор Стори оставил свою профессию адвоката в Бостоне, чтобы стать скульптором в Риме. Стюарт Меррил обосновался в Париже, превратился в ревностного последователя символической школы поэзии и писал все свои стихи по-французски. Джеймс Макнилл Уистлер переехал в Лондон, прежде чем начал свою прославленную карьеру художника. Генри Адамс считал Америку XIX века настолько отвратительной, что бежал назад, в средние века, где в соборах XII века нашел единство и цель жизни, которых, по его мнению, лишились его современники. Самый известный из этого первого поколения эмигрантов — Генри Джеймс — смотрел на свою родину с точки зрения культуры как на обширную пустыню, которой плачевно недостает традиций и критериев художественного вкуса. Будучи еще молодым человеком, он покинул Америку и, имея постоянную резиденцию в Англии, скитался по Западной Европе; он кончил тем, что в старости отказался от американского гражданства и стал англичанином.

Это бегство эстетов от грубой действительности на их родине сделало всю их группу мишенью резкой критики. Сомерсет Моэм нападал на Генри Джеймса за то, что тот отвернулся от волнующего зрелища той географической и экономической победы, которая была одержана его страной. Ван Вик Брукс в биографическом очерке «Скитания Генри Джеймса» столь же неодобрительно отозвался о его бегстве с родины. Именно в это время и отчасти в результате этого бегства писателей возникло представление о связи интеллектуальной жизни с фатовством и женоподобной изнеженностью; такое представление усиливалось в силу суровости жизни на границе и неожиданно возросшей ценности всякого рода физического подчинения.

К началу XX века период завоевания границы подошел к концу, континентальная экспансия страны достигла своего предела и наступил перерыв, когда можно было приглядеться к оружающей обстановке. Крупные промышленники действовали еще шире и смелее, чем в годы юности Джеймса, и стало значительно проще обвинять их во всех бедах общества, чем при жизни предыдущего поколения. Литературные деятели совершили крутой поворот и вступили в схватку с такой же поспешностью, с какой

их предшественники бежали от нее. Драйзер, Фрэнк Норрис, Джек Лондон, Эптон Синклер, Линкольн Стеффенс и остальная плеяда новых реалистов засучили рукава и начали энергичную борьбу с социальным злом своего века. От них веяло духом мужественности, столь же острым и сильным, как и аромат женственности, исходивший от Джеймса и Адамса. В их произведениях, в особенности в рассказах Джека Лондона, процветал культ примитивного человека¹. Их отнюдь не страшила грубость промышленной жизни, наоборот, она их возбуждала, и с пылом, присущим всем ранним реформаторам общества, они предлагали изменить ее в соответствии со своими идеалистическими взглядами. Хотя их произведения, пожалуй, имели скорее социологическое, чем литературное значение, но все же они многое сделали в общественном смысле, приостановив и фактически даже направив в обратную сторону процесс «изнеживания» художника в глазах публики.

Однако, несмотря на их усилия, господство чисто коммерческих критериев в американской жизни продолжалось сравнительно беспрепятственно в годы первой мировой войны и в 20-х годах; оно привело к второй волне эмиграции писателей, которых Гертруда Стейн назвала «потерянным поколением». Их непосредственные предшественники, перед чьим авторитетом они преклонялись, поселились за границей, потому что считали европейскую атмосферу менее провинциальной и более благоприятной для свободной деятельности ума и развития искусства. Эзра Паунд родился в Айдахо, но стал своего рода культурным космополитом, способствуя взаимному «опылению» и «удобрению» десятков поэтических и художественных движений и кружков. Он проникся такой ненавистью к своей родине, что во время второй мировой войны стал выступать в качестве радиокomentатора у Муссолини, призывая американских солдат сложить оружие. На этом и закончилась его деятельность. Гертруда Стейн еще в ранней юности переехала во Францию, где оставалась до конца своей

¹ Героиня одного из ранних романов Фрэнка Норриса «Моран с «Леди Летти» — своего рода примитивная мужеподобная женщина. Она — шкипер торгового судна, плавающего в Тихом океане, сильная, энергичная, мускулистая и в то же время подлинная женщина. Все героини романов начала 900-х годов обладают прекрасными физическими данными.

жизни, став связующим центром для многих течений молодых художников и писателей, подпавших под ее влияние. Т. С. Элиот, родившийся в Миссури и получивший образование в Гарвардском университете, предпочел жизнь банковского служащего в Англии должности профессора колледжа в Америке и, как до него Генри Джеймс, стал английским подданным; большая часть его поэтических произведений и все его пьесы написаны на темы из английской жизни, и их место действия — Англия.

Их более молодые последователи — «потерянное поколение» — пережили сильное потрясение во время первой мировой войны. Война уничтожила многие старые ценности и традиции, а другим нанесла ущерб, проложив путь для беспокойных и смутных событий 20-х годов. После окончания войны Соединенные Штаты вступили в лихорадочную атмосферу бума, который более молодым писателям казался современным эквивалентом «позолоченного века», некогда озлобившего Твена и разочаровавшего Джеймса. Страна, казалось, опять была настолько поглощена наживой в огромных, все возрастающих масштабах, что уже не оставалось места для искусства, мышления и развития своих способностей. Снова художник стал чувствовать себя глубоко чуждым всему жизненному укладу своей страны. Активный деятель нового поколения Малколм Коули говорил об этом отчуждении писателей в своей книге «Возвращение изгнанника»:

«В течение 20-х годов многие или, пожалуй, даже большинство серьезных американских писателей чувствовали себя чужестранцами в своей стране. Даже стараясь казаться равнодушными космополитами, они были глубоко привязаны к ней, но в глубине души сознавали, что она их отвергла. В те дни страна управлялась лицами, к которым они питали профессиональную неприязнь. Это был век, когда совещания директоров акционерных компаний имели большее значение, чем заседания правительства, и когда судьба нации вершилась пожилыми банкирами и администраторами компаний. Их портреты каждую неделю появлялись в роскошных журналах; они носили стоячие воротнички и жилеты в белую полоску, плотно облежавшие маленькое округлое брюшко. Иногда они принимали надменный вид, иногда пытались улыбаться, но глаза их над дряблыми, серыми, морщинистыми щеками оставались холодными, как лед.

Эти правители Америки, как их называли в журнальных статьях, мало интересовались книгами и идеями...»¹

Вдобавок к чувству отчужденности «потерянное поколение» не находило в Америке тем, мыслей и наблюдений, достойных писательского пера. Общество, где господствовали обыватели, ханжи и глупцы, ставшие вскоре объектами сатиры Синклера Льюиса и Г. Л. Менкена, не только не вдохновляло их, но наводило на них острую тоску. Чувствуя себя отвергнутыми своей страной, задыхаясь вне творческой атмосферы, они стали лихорадочно искать за границей тем и ощущений, которых не могли найти у себя на родине. Они действовали с такой смелостью и страстным задором, каких нельзя было найти у современников Джеймса. Лидер новых изгнанников Эрнест Хемингуэй проявил исключительное пристрастие к боксу, бою быков, охоте на крупную дичь и войне. Он искал в других странах среди примитивных народов ту мужественность, рождаемую близостью к жизни и смерти, какую, казалось, нельзя было увидеть в Америке. Другие изгнанники — Э. Э. Кэмингс, Генри Миллер, Эллиот Пол, Гаролд Стиэрнс и Кей Бойл — путешествовали за границей или поселились в чужих странах, потому что считали свою страну душной, пуританской, грубо буржуазной и губительной для таланта.

Многие писатели-эмигранты поселились в Париже, который стал центром деятельности даже для тех, кто не жил на одном месте, а непрерывно путешествовал по Франции, Испании, Африке. Как и многие прежние поколения писателей, они нашли в Париже свою духовную родину. Париж всегда был городом, наводненным художниками, писателями, философствующими посетителями кафе; в нем издавались журналы, отражавшие все оттенки мнений. Войны и стихийные бедствия, казалось, не влияли на его жизнь. Как только в конце второй мировой войны Париж был освобожден и немцы изгнаны из Франции, в стране сразу же началось обычное оживление; возникли различные движения, появились новые философские течения, из которых наиболее широко известным стал экзистенциализм, новые литературные школы, — словом, интеллектуальная жизнь забила ключом.

¹ Malcolm Cowley, *Exile's Return*, New York, Viking, 1951, p. 214—215.

То, что было свойственно Франции, в Соединенных Штатах носило лишь случайный характер. Наша атмосфера в общем не благоприятствовала расцвету духовной жизни. В наших больших городах не было условий для создания писательских клубов или художественных салонов. Открытые рестораны не поощряли сборищ философов. Только случайно какой-нибудь отель «Альгонкэн» давал на короткий срок пристанище Александру Вулкотту из Ассоциации иностранной печати и избранному кругу журналистов; только изредка какая-нибудь Мейбл Додж Луган открывала свой дом начинающим и знаменитым художникам; в провинции возникали центры эстетической деятельности — Таос, Вудсток, Провинстаун, Бакс-Каунти, — но их было мало, они были разобщены и быстро проникались коммерческим духом.

Писатели-эмигранты находили также за границей общественное внимание и одобрение своему творчеству. Иностранцы художники, писатели, вообще образованные люди, может быть, зарабатывали не больше, чем их американские коллеги, но пользовались значительно большим уважением. Профессор Сорбоннского университета или любого французского лицея занимал в обществе несравненно более высокое и прочное положение, чем профессор колледжа в Америке. В догитлеровской Германии дипломированный человек пользовался таким уважением, что каждый чиновник, мелкий служащий, газетчик домогался титула «герр доктор», который имел настолько же большое значение в глазах немецких снобов, насколько малое — в глазах американцев. Этот контраст был в самой резкой форме выражен американским писателем Генри Миллером, много лет назад эмигрировавшим за границу; он с горечью заметил: «Америка — не место для художника. Свинья, питающаяся кукурузой живет там лучше, чем писатель-беллетрист».

Не все писатели в 20-х годах покинули страну. Большинство осталось на родине. Но у многих из тех, кто остался, чувство отчужденности проявлялось в их произведениях об Америке. Ранние произведения Томаса Волфа с неистовой страстью выражали эту отчужденность. Харт Крейн в своих стихах тонко боролся против грубого мира, с которым он не мог вполне освоиться. В коротких рассказах Ринга Ларднера резко проступает его отвра-

шение к условиям жизни писателя-профессионала и тех малообеспеченных кругов среднего класса, среди которых он жил и творил. Г. Л. Менкен изливал бесконечный поток насмешек на все аспекты американской цивилизации. Вилла Кейтер высказывала свое отвращение к эпохе индустриализаций, символ которой представляет собой отталкивающая хищная фигура Айви Питерс в романе «Пропавшая леди»; эта эпоха поглотила границу, идеализированную писательницей в романе «Моя Антония».

На каждого Роберта Фроста, глубоко привязанного к Новой Англии, на каждую Эллен Глазгоу, со временем более прочно обосновавшуюся в своей родной Виргинии, приходились десятки писателей, которые чувствовали, что между ними и их страной происходит разлад. Было больше таких поэтов, как Робинсон Джефферс, который хотя и продолжал жить на родине, но тем не менее отвергал материалистическую цивилизацию своей родной страны, чем таких, как Карл Сэндберг или Арчибалд Маклиш, кто, следуя традиции Уитмена, подчеркивал потенциальные возможности американской жизни. Было больше таких драматургов, как Юджин О'Нейл, который заострял внимание на трагедиях современного общества, чем таких, как Роберт Э. Шервуд, провозглашавший величие демократического духа. Было больше таких романистов, как Ф. Скотт Фицджералд, испытывавший отвращение к безумствам «джазового века», хотя и изображавший их в своих романах, чем таких, как Джозеф Хергшеймер, вполне созвучный своему времени. Что касается писателей, создававших короткие рассказы, то среди них типичной можно назвать Кэтрин Энн Портер, которая описывала страдания чутких натур, испытывающих разлад с окружающим их обществом. Главными мотивами в литературе являлись неустойчивость и безысходность; казалось, будто душа американского писателя стремится в одну сторону, а дух страны — в противоположную ей.

Положение художников и композиторов было хуже, чем положение писателей. После первой мировой войны американская литература добилась независимости от Европы. Американское изобразительное искусство и музыка все еще боролись за свою самобытность, и хотя в отдельных случаях американские художники и композиторы по-

лучили признание и пользовались финансовой поддержкой, но тем не менее положение рядового американского художника в условиях мощной конкуренции из-за границы было далеко не обеспеченным. Если в прошлом художник мог рассчитывать на покровительство американской аристократии, то теперь такой поддержки у него не существовало. Диксон Вектор подвел итог этой перемене в своей книге «Сага американского общества».

«Покровительство живописи со стороны общества в Соединенных Штатах носит скорее стяжательный, чем меценатский характер. Оно выражается главным образом в покупке картин старых мастеров, творивших в более благоприятных условиях покровительства со стороны итальянских князей и голландских купцов эпохи Возрождения, а также королевских династий Тюдоров, Стюартов или Бурбонов...

В колониальный период искусство писать портреты щедро вознаграждалось обществом, и многих художников принимали за столом в аристократических домах... Бенджамин Уест, который происходил из бедной квакерской семьи, снискал своим искусством дружбу губернатора Пенсильвании Гамильтона. Чарлз Уиллсон Пил начал свою карьеру в страшной нищете в качестве ученика шорника; когда искусство принесло ему славу и состояние, он женился на Элизабет де Пейстер из Нью-Йорка. Джилберт Стюарт — сын табачника из Новой Англии — добился покровительства герцога Нортумберлендского и, вернувшись в Америку, провел остаток своей жизни как почетный гость Джона Джея и избранного нью-йоркского общества. В настоящее время такое быстрое восхождение по социальной лестнице с помощью искусства является менее вероятным.

При ближайшем рассмотрении достижения американского общества в области искусства не слишком внушительны. Оно скупает картины старых мастеров, но плохо оплачивает труд живых художников. Его вкусы в области инструментальной музыки и оперы одновременно и бедны и претенциозны, а интерес к литературе — незначительный»¹.

¹ Dixon Wecter, *The Saga of American Society*, New York, Scribner's, 1937, p. 469, 470, 482.

Положение композиторов было столь же шатким. Несмотря на огромное увеличение числа симфонических оркестров по всей стране и растущий интерес к музыке со стороны широкой публики, Хантингтон Кэрнс еще в 1948 году имел полное право заявить: «Мы стоим перед очевидным фактом, что ни один композитор в Соединенных Штатах не может существовать на доход от серьезной музыки».

Один из наиболее известных композиторов более молодого поколения — Джан-Карло Менотти — писал в статье «В защиту людей творческого труда», которая была напечатана в газете «Нью-Йорк таймс»:

«Я утверждаю, что средний американец мало или совсем не уважает человека творческого труда и готов смотреть на него как на почти бесполезного члена общества. Рядовой американский отец все еще приходит в ужас при мысли, что один из его сыновей может пожелать стать композитором, писателем или художником. Он сочтет всякое такое занятие признаком «мягкотелости», не мужской и, я осмелюсь сказать, антиамериканской профессией... Не удивительно, что молодой американский художник, пожалуй, самый неврастеничный в мире и в течение многих поколений смотрит на Европу, как на свою духовную родину»¹.

Этот конфликт между «бесполезными» и «полезными» членами общества, этот антагонизм между художником и бизнесменом достиг своей наивысшей точки в период большого бума и стал терять значение только после потрясений, положивших конец эпохе процветания, Биржевой крах и последовавшая за ним депрессия смели с лица земли многие устоявшиеся представления. Руководители промышленности были сброшены со своих высоких мест национальным бедствием, от которого у них не было лекарства, и утратили свое влияние на общественное мнение. Впервые почти за целое столетие люди стали обращаться к другим источникам и авторитетам для решения жизненных проблем. Испытания и трудности, которые пережила страна в период депрессии, невольно сделали людей более вдумчивыми, более склонными к серьезному размышлению над своими идеалами, учреждениями и образом жизни. Более высокие веления сердца стали действовать

¹ «Нью-Йорк таймс» от 29 июня 1952 года.

так же властно, как и более низменные денежные расчеты.

Обстановка, сложившаяся в стране в связи с ослаблением царивших в ней ранее коммерческих критериев, показалась американским писателям и художникам более благоприятной и привлекательной. Переживаемые трудности придали этой изменившейся атмосфере эмоциональное значение и ту трагическую окраску, какой ей ранее не хватало. В силу этого, а также вследствие наступившего безденежья писатели-эмигранты стали возвращаться на родину из мест своего изгнания в Европе и Африке и с новым для них чувством заинтересованности и ответственности влились в общий поток американской жизни.

В 30-х и 40-х годах эмиграция деятелей искусства почти совсем прекратилась, и начался новый этап их возвращения на родину. Они глубоко, даже с энтузиазмом окунулись в американские проблемы и обратились к темам из американской жизни. Ф. Скотт Фицджералд вернулся из Европы и после ряда сильнейших личных переживаний занялся своим последним, неоконченным, романом на специфически американскую тему — из жизни Голливуда. Томас Волф, посвятивший три первых своих романа описанию того, как гибнет в Америке человек, в своем четвертом и последнем романе взволнованно повествует о его возрождении. Синклер Льюис, прославившийся сатирическим показом жизни американского маленького городка, теперь занялся описанием его достоинств. На местном материале была создана целая новая литература, в которой американское общество анализировалось и воссоздавалось в новом виде воображением писателя.

Писатели-эмигранты некогда сетовали на то, что в Америке им не о чем писать. Но теперь они, как и более молодые писатели, находили в различных областях жизни страны волнующие темы, требующие своего воплощения. Джеймс Т. Фаррел обнаружил в жизни чикагской мелкой буржуазии такое количество драматического материала, какого хватило бы ему на целую жизнь. Карсон Маккуллерс, Теннесси Вильямс и Эвдора Уэлти нашли в Миссисипи и Луизиане необычайное разнообразие человеческих характеров, психологических ситуаций и настроений. Писатели изменили даже свое отношение к деловой жизни и иначе рассматривали ее значение. Коммивояжер, которого в 1920-х годах высмеивали как презренного лакея,

олицетворяющего собой худшие явления коммерческого мира, в 1940-х годах был изображен Артуром Миллером в его знаменитой трагедии как достойная сочувствия и жалости человеческая личность, на которую «следует обратить внимание».

Вторичное открытие современной Америки сопровождалось аналогичным открытием ее прошлого. Генри Джеймс в свое время обвинял Америку в отсутствии традиций и даже самой истории. Теперь писатели воссоздавали эту историю и, придавая ей исключительно большое значение, знакомили с ней заинтересованных и сочувствующих читателей. Стефен Винсент Бенет написал целую серию коротких рассказов о героях американского фольклора. Возникла целая школа исторических романистов, которая возглавлялась Кеннетом Робертсом и Маргарет Митчелл. Они повествовали о знаменательных событиях американской истории. И даже Уильям Фолкнер, так долго трудившийся над воссозданием легенд Юга начиная с первых дней освоения Миссисипи, был признан в середине века публикой, пренебрегавшей им в течение двадцати пяти лет. Вновь необычайно повысился интерес к американским балладам и народным песням; появились многочисленные сборники Б. А. Боткина, Карла Сэндберга и Ломэксон. Появление таких исполнителей баллад, как Бэрл Айвес и все растущее число певцов американского происхождения, начинавших выступать на американской оперной сцене, явились дальнейшим свидетельством пробуждающегося интереса Америки к ее собственной культуре и признания ею своих отечественных талантов.

Сто лет тому назад Натаниел Готорн писал из-за границы: «Я предпочел бы жить в любой чуждой мне стране, чем вернуться на родину. Соединенные Штаты пригодны для многих прекрасных целей, но, безусловно, не для того, чтобы в них жить». Такое мрачное настроение, свойственное многим эмигрантам, теперь почти исчезло; оно не превратилось в свою противоположность, однако писатель увидел, что в Соединенных Штатах, несмотря на сохранившуюся холодность отношения к нему и его взглядам, сложилась интересная для него и стимулирующая его творчество общественная обстановка. Если американское общество и не всегда поощряет его, то, во всяком случае, оно дает ему сложные темы и разнообразный чувственный опыт, сделавшие современную американскую литературу,

музыку и изобразительное искусство выдающимся явлением западной культуры. Таким образом, возвращение писателя на родину после долгого отсутствия сузило пропасть между широкими слоями американского народа и творцами его культуры.

ГЛАВА VI

ВЫХОЛОЩЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ

I

Двойственное отношение американцев к своей культуре резко проявляется в вопросах образования. В Америке существуют две взаимоисключающие традиции в области образования. Представители одной из них утверждают, что ребенок не может стать зрелым и самостоятельным человеком без широкого общего образования, которое в силу этого необходимо для нормальной деятельности демократического общества. Сторонники другой традиции считают, что общее образование в отличие от чисто профессионального или технического обучения не только не приносит пользы в решении жизненных проблем, но часто тормозит их разрешение. Это направление склонно считать, что гуманитарные, или, как часто выражаются, «непрактичные», предметы не приносят реальной пользы и поэтому являются роскошью, которую школьная система обучения не должна себе позволять. Есть разновидность этого направления — те, кто считает, что гуманитарное образование имеет большую ценность, но что лишь самое ограниченное число людей способно воспользоваться его преимуществами. Поэтому большинство людей, если вообще признать за ними право на образование, должны проходить только профессиональное обучение.

Одним из последствий такой борьбы противоположных взглядов явилось неправильное представление о взаимоотношениях между образованием и жизнью. Лагерь профессионалистов заставил деятелей просвещения задаться вопросом, приносит ли реальную пользу традиционное академическое образование. Они почти согласились с мне-

нием, что, по существу, учащиеся еще не живут, а только готовятся к жизни, ожидая ее наступления, как будто промежуток времени между пятью и двадцатью годами является периодом пассивности, которая сменяется активной деятельностью лишь с получением последнего диплома. Признание этого взгляда неизбежно приводило к последующему выводу, что образование само по себе не оправдано и всецело зависит от внешних условий. Одной из причин широкого и беспрепятственного роста профессионализма и соответственного сокращения преподавания философии и литературы явился именно тот взгляд, что образование нужно только в том случае, если оно дает практические и вполне ощутимые результаты. Такая точка зрения вызвала любопытную реакцию. Сеймур Э. Гаррис в статье «Миллионы бакалавров искусств, но ни одной вакансии», которая была напечатана в газете «Нью-Йорк таймс», высказывает мысль, что может наступить такое время, когда число людей, получивших образование, значительно превысит количество свободных должностей и занятий. И он приходит к такому выводу:

«...может быть, придется пересмотреть наше привычное отношение к высшему образованию. Мы говорим, что признаем высшее образование ради него самого. И все же рассчитываем, что диплом колледжа принесет нам денежный доход, предоставит большие материальные возможности. Пожалуй, мы переоцениваем выгоды профессионального обучения.

Возможно, нам следует теперь не придавать столь большого значения денежной стороне высшего образования, а делать основной упор на незаметные с первого взгляда социальные и культурные выгоды, которые дает образование. Может наступить такой момент, когда нам придется постепенно привыкать к мысли, что обучение — это сама жизнь, а не только подготовка к ней. Говоря словами Джона Дьюи: «Жизнь имеет свои собственные, присущие только ей качества, и дело образования относится к их числу». Во всяком случае, студентам-выпускникам будущего поколения все чаще придется объяснять свое стремление к высшему образованию не материальными, а иными соображениями»¹.

¹ «Нью-Йорк таймс» от 2 января 1949 года.

Первоначальная цель всеобщего обучения в Америке — подготовка молодого поколения к роли граждан демократического общества — была во многих случаях подменена антидемократической концепцией подготовки людей только для определенной работы в общей экономической системе государства. Полноценное развитие индивидуальной личности, которое политические теоретики XVIII века считали целью демократического общества, заменялось более узкой задачей получения материальной выгоды. В порядок дня вместо полного развития личности была поставлена выработка механических навыков. Это значило не только сократить объем образования, но также сузить демократические взгляды в целом и причинить ущерб всей культуре, которая присуща демократии в широком понимании этого слова. Полноценная деятельность человека, несомненно, должна включать в себя и приобретение профессионального мастерства, но у нее есть много и других сторон; пренебрегать ими — значит неправильно использовать силы и потенциальные возможности отдельного человека.

Сопrotивление чистому профессионализму выражалось в различных формах. Некоторые течения, однако, приняли неверное направление и основывались на предпосылках, почти столь же ошибочных, как и те, против которых они боролись. Наиболее претенциозной и резко сформулированной была «программа ста Великих книг», выдвинутая Чикагским университетом и Сейнтджонским колледжем в Аннаполисе. Придерживаясь фанатической чистоты средневекового курса обучения, эта программа с инквизиторским пылом отвергала всякие элементы практического обучения в течение четырехлетнего срока пребывания студента в стенах учебного заведения. Авторы программы считали, что колледж должен развивать интеллектуальные способности студента так, чтобы он мог видеть и понимать движущие силы мира в целом. Тогда он сможет стать полноценным гражданином, и техническое обучение в какой-либо профессиональной школе или занятия по своей специальности в аспирантуре в меньшей степени могут сузить его взгляды на жизнь. Во всем этом есть своя увлекательная логика, связанная с преклонением перед Аристотелем и средневековыми философами, ссылки на которых пронизывают всю программу. Изложение этих взглядов можно найти в книге Ричарда М. Уиве-

ра «Идеи имеют последствия». М-р Уивер с безжалостным презрением нападает на демократию, равноправие, буржуазию, век машин, номинализм, доверие к чувственному опыту, отказ от абсолютных истин, на газеты, материализм, даже на современные войны, которые столь отличны от рыцарски дисциплинированных средневековых войн, — вообще на все, что произошло после XIV столетия. Взгляды м-ра Уивера на образование пронизаны крайней неприязнью к публике в широком смысле слова:

«Совершенно очевидно, что все то, что нуждается в поддержке публики, будет рано или поздно осквернено и сведено к утилитарным целям. Учебные заведения Соединенных Штатов могут служить убедительным подтверждением этой истины. Фактически, как правило, широкое общее образование, то есть образование, сосредоточенное вокруг идей и идеалов, процветает в тех институтах, которые получают свои средства из частных источников. Они имеют возможность (несмотря на ограничения, которые пытались наложить на них жертвователи) утверждать, что образование не должно быть только средством заработать кусок хлеба. Это значит, что они могут относительно свободно отстаивать принцип чистых знаний и развития ума; они позволяют себе защищать такие «антиобщественные» предметы, как латинский и греческий языки. В государственных учебных заведениях, всегда зависящих от выборных органов и от публики вообще и обязанных демонстрировать практические результаты расходовемых ими денежных средств, движение за специализацию и профессионализм непреодолимо. Эти заведения никогда не могут действовать по своему усмотрению, так как не располагают собственными, частными средствами. С полным правом можно сказать, что альтернативой частной собственности является продажность»¹.

Эти взгляды основываются на неправильном утверждении, что профессиональное обучение является в каком-то смысле унижительным, враждебным молодому уму, ищущему истину. Это отвращение к материализму настолько же ошибочно, насколько ошибочна неприязнь практически мыслящих людей к теориям и абстракциям. Пропаганди-

¹ Richard M. Weaver, *Ideas Have Consequences*, Chicago, University of Chicago Press, 1948, p. 136—137.

рующие его люди тоже отвергают целую важную область жизни. Приписывание философской чистоты тому, а не другому предмету основано на той же предпосылке, которая ведет к разделению людей на граждан первого и второго сорта, на «высших» и «низших» и к другим подобным делениям. Опыт нельзя разделить на произвольные категории. Пытаясь сделать это, и сторонники неосредневековой программы Великих книг и утилитаристы, так охотно глумящиеся над «непрактичным» образованием, действуют как бы в закрытых наглухо вакуумах, куда только смутно доносятся звуки жизни во всей ее полноте.

Другие попытки предотвратить распространение торгошеского духа были менее эффектными и ревностными, чем монашеские теории Чикагского университета, но их авторы по крайней мере избежали ошибки отрицания всяких практических знаний. Смелые эксперименты, проведенные в таких небольших колледжах, как Антиохийский и Беннингтонский, были направлены на сочетание теории с практикой и давали надежду, по крайней мере на бумаге, на примирение этих двух ранее антагонистических элементов. Их программа, предусматривающая чередование занятий в классе с работой в учреждениях, мастерских и на фабриках, представляет собой смелую попытку решить давний спор между двумя враждующими лагерями в области просвещения. Эта попытка, однако, не вызвала подражания. Нет никаких признаков распространения ее вне ограниченных пределов нескольких экспериментирующих колледжей, и ее рассматривают скорее как причудливо выющийся вспомогательный поток, чем как мощное течение в огромном море педагогических идей.

С обеих сторон проявляется нежелание прийти к соглашению. Защитники гуманитарных и классических предметов пытаются отгородиться стеной от внешнего мира и смотрят с оскорбительным высокомерием на все предложения изменить программы в соответствии с требованиями современности. Они с видимым неудовольствием сдали некоторые крепости, в частности пожертвовали греческим и латинским языками, и с неразумным буквализмом отстаивают другие предметы. Их главным оружием, на которое в основном опираются все их доводы, является слово «дисциплина». Изучение иностранных языков и литературы рекомендуется не столько потому, что оно дает возможность студенту лучше ознакомиться с жизнью других

народов, сколько потому, что оно дисциплинирует дух. То же самое относится к английскому языку и американской литературе. Философию рекомендуют изучать не потому, что она дает цельное представление о мире, а потому, что она обостряет способность логически мыслить. Математика характеризуется не как основа ядерной физики или материального мира вообще, но как величайшая из всех умственных дисциплин. Мир нуждается в гуманитарной дисциплине, но такое сухое применение этого термина только возвращает нас к дням пуританского государства, где дисциплина была грубым орудием наказания и усмирения сектантов и где прославлялся самоконтроль, доходивший до степени полной бессердечности. Цепляясь за старые лозунги, упрямо отказываясь их пересмотреть, некоторые из адвокатов прежней системы обучения стали терять связь с народом, со временем, с новым поколением и уединились на островах, все более и более удаляющихся от материка жизни.

Профессионалисты и прагматисты также не желают идти на разумные уступки. Ободряемые поддержкой со стороны деловых и промышленных кругов, осмелевшие после крупных вторжений в область школьного образования, которые им удалось совершить после первой мировой войны, они распространяют свои идеи, не заботясь об ущербе, который наносят делу просвещения в широком смысле слова. Жак Барзен излагает эту проблему и ее решение в своей книге «Учитель в Америке»:

«Техника, технология, механизация процессов безвредны в применении к неодушевленным предметам; более того, они экономят время и труд и делают возможным массовое производство. Опасность возникает тогда, когда начинают подражать умам машине, думать, как конвейер, снабжаемый со склада дешевыми легко заменимыми деталями. Несомненно, мы все достаточно податливы, чтобы стать роботами; промышленное рабство — это не только зависимость тела, с которой нам следует бороться, это зависимость ума, которую мы должны предупредить. Есть только один выход — противопоставить ей умственное развитие, резко выступить в защиту квалифицированного труда, усилить традиции Марка Твена и Уитмена в борьбе против практицизма, превратить образованность из качества, присущего иностранному меньшинству, в гордость каждого американца. С этой целью у нас должно войти

в привычку отличать граждан от простых жителей, подлинных инженеров — от «просто» инженеров, мыслящих бизнесменов — от твердолобых дельцов и человека с настоящим высшим образованием — от штампованного выпускника колледжа»¹.

Но адвокаты технического обучения захватывают все большую и большую часть учебного плана; они настаивают на том, чтобы студентов не обучали ничему такому, что не является наверняка и по существу полезным, и подвергают сомнению каждый предмет, который не подходит явно под эту мерку. Под прикрытием заманчивого лозунга: «Каждого студента — научить зарабатывать себе на жизнь» — они наводнили высшие школы коммерческими курсами в противоположность сокращающемуся числу академических предметов и пытаются превратить колледжи в обширные фабрики, поставляющие специалистов для промышленности². В толковании новых профессионалистов идеи Уильяма Джемса и Джона Дьюи, первоначально направленные на всестороннее развитие человека и более полное соответствие его окружающей среде, приняли самую вульгарную форму. В школах не должно быть ничего, что не отвечало бы требованию, выраженному в вопросах: «Принесет ли это немедленную пользу?» и «Пригодится ли это в повседневных делах?» Поможет ли девочке изучение латинского языка или истории стать более опытной домашней хозяйкой? Станет ли мальчик после чтения Шекспира более знающим инженером?

¹ Jacques Barzun, *Teacher in America*, Boston, Little, Brown, 1945, p. 309—310.

² Одновременно с ростом идей профессионализма происходит увеличение часов, отведенных на занятия атлетикой, которая стала доставлять колледжам немало хлопот. Старшина студентов и член атлетического совета Канзасского государственного колледжа Уильям Дж. Грейг считает, что «увлечение спортом в колледже начало принимать преувеличенные размеры как раз тогда, когда наши школы переключили свое внимание с широкого общего образования на профессиональное обучение... в этот период занятия, пожалуй, потеряли часть своей привлекательности, долю своей способности захватывать человека целиком, и... помешательство на спорте является попыткой внести некоторое разнообразие в жизнь, посвященную целиком задаче обеспечения заработка» (цит. по статье Кеннета С. Девиса «Баскетбольное безумие», напечатанной в газете «Нью-Йорк таймс» от 1 марта 1953 года).

Сторонники профессионального обучения установили в наших школах свои многочисленные аванпосты; крупнейший из них, получивший название «отдел образования», приобрел исключительное значение. Эта новая сила, вооруженная своим собственным жаргоном и специфическими методами работы, за последние годы необычайно разрослась. Почти во всех колледжах созданы отделы образования, и в некоторых учебных заведениях они стали самыми большими и влиятельными органами. Учителя начальных и средних школ для получения права на преподавание должны проходить все большее количество курсов при отделе образования. В дальнейшем, чтобы получить продвижение по службе или прибавку к жалованью, они должны время от времени посещать при отделе образования курсы повышения квалификации, или, как их деликатно называют, «курсы освежения памяти».

Предметы, изучаемые на курсах при отделе образования, касаются главным образом методологии преподавания специальных дисциплин и содержат весьма поверхностные сведения по философии и теории предмета. Упор делается на метод, а не на содержание. На курсах учат не тому, *что* следует преподавать, а тому, *как* это делать. Студентов вооружают техникой преподавания, а не идеями, стараются сделать их скорее технически ловкими работниками, чем образованными людьми. Даже философия и психология обучения — «идеологические» предметы величайшей важности — фактически сведены к вопросам методологии. Никто не станет отрицать необходимости для будущих учителей изучать технику их специальности. Но методика преподавания должна быть орудием, а не самоцелью. И когда отдел образования делает вид, что преподает общеобразовательные гуманитарные предметы, когда он превращает древнее искусство педагогики в набор сухих, лишенных содержания методологических приемов, он только усиливает процесс механизации американских школ.

Ярые сторонники программы превращения школ в ремесленные училища для обслуживания нашей экономической машины являются лучшими пособниками врагов культуры и, к несчастью, действуют в стенах тех учреждений, которые должны быть одними из культурных центров общества. Вот почему их деятельность более эффективна, чем действия открытых противников демократиче-

ского обучения, которые прямо выступают против него, основываясь на знаменитом изречении Платона, что только очень немногие могут руководить и поэтому достойны образования. Эти открытые враги, хотя и действуют постоянно, составляют меньшинство, так как идут против основных взглядов американцев. Но их сообщникам внутри школ, придерживающимся сходных взглядов (что большинство людей, если им следует вообще давать образование, должны обучаться только механическим навыкам своей профессии), отнюдь не суждено оставаться в меньшинстве. Их точка зрения внешне благовидна. Мерило полезности пользуется одобрением солидной, типично американской философии прагматизма. Когда профессионалистская программа выступает под маской культуры и гуманитарных наук, как это делается в школах и отделах образования, она приобретает внешнее сходство с программой широкого, общего, некоммерческого образования — сходство обманчивое для случайного наблюдателя. А огромные требования века в области промышленности и техники, механики и механических навыков обеспечивают этой программе энергичную поддержку общества. Уважение, каким пользовался широко образованный человек сто лет назад, оказывается теперь техническим специалистам, мастерам прикладных наук, инженерам — все они являются фаворитами новых учебных программ. Динамическая сущность нашего века сделала эти профессии наиболее популярными и прибыльными.

Все большее поощрение технически натренированного человека не за его человеческие качества, а за его механическую сноровку идет вразрез с интересами демократического общества. Оно угрожает концепции полного и многостороннего развития человеческой личности, а эта концепция, безусловно, является одним из основных демократических принципов. Демократия требует тщательно осмысленных моральных критериев, понимания исторического процесса и роли правительства, а также развития чувства гражданской ответственности. Таковы именно цели гуманитарного образования. Германию упрекали в том, что существующая в ней система образования создает людей, являющихся образцовыми орудиями экономики, но наивных и потому подверженных предрассудкам и ошибкам во всех других областях жизни.

Ничего подобного не наблюдается в Англии или во

Франции. И даже Италия Муссолини, в которой было сильно развито повиновение людей, не претендовала на превращение итальянцев в экономически эффективных роботов. Но в Соединенных Штатах традиция гуманитарного образования, направленного на развитие мыслительных способностей человека, постепенно сходит на нет. В 1952—1953 годах 90% всех средств, вложенных правительством в колледжи и университеты, было предназначено для точных наук, самая незначительная часть — для гуманитарных и ни одного процента — для социальных наук¹. Если эта тенденция будет развиваться дальше, гуманитарным наукам предстоит тяжелые времена, и нельзя быть уверенным, что сохранится хотя бы их минимум.

С другой стороны, развитию того же процесса способствовало распространение на низших ступенях школы системы «прогрессивного обучения», но не в том виде, в каком она была первоначально задумана Джоном Дьюи, а в толковании профессиональных педагогов. Дьюи смотрел на прогрессивное обучение как на проверку идей и убеждений каждого учащегося в суровых условиях жизненного опыта. В качестве протеста против методов обучения XIX века при помощи зубрежки, когда ученик пассивно проглатывал то, что насильно всучивалось ему извне, Дьюи сделал ребенка активным участником процесса своего собственного обучения. Но в руках его последователей, действующих в системе школьного образования, прогрессивное обучение быстро выродилось в тот самый процесс, хотя и в обратном смысле, против которого в первую очередь восставал Дьюи.

Если раньше учитель был всемогущ, а ученик пассивен, то теперь ученик стал всемогущ, а учитель оказался сведенным к роли своеобразного посредника. Поскольку ученик не должен был изучать ничего, помимо того, что он изучал самостоятельно, учитель возложил на него целиком весь процесс обучения; тем самым равновесие сотрудничества между ними было нарушено в обратную сторону. Теперь с самого раннего возраста ученик должен был обучаться самостоятельно. Объяснения со стороны учителя сводились к минимуму. Возник «проектный метод», согласно которому ученики двигались вперед по своему

¹ Цифры взяты из газеты «Нью-Йорк таймс» от 7 декабря 1952 года.

усмотрению независимо от того, знали ли они, куда идут, или нет. Классы были разделены на комиссии, сотрудничавшие друг с другом в самообучении, в то время как учитель прилагал отчаянные усилия, чтобы «координировать» их работу. В результате получался бессмысленный хаос, значительно худший, чем старомодный порядок, когда учитель был абсолютным хозяином учебного процесса. Пытаясь обучить себя предметам, в которых они ничего не смыслили, ученики просто выуживали сведения из энциклопедий, механически переписывали их и утомляли друг друга в классе докладами на темы, совершенно неизвестные другим ученикам и совсем для них не интересные. Конечный результат был таков, что, хотя теоретически ученик умел работать совместно с другими школьниками, фактически по данному предмету он не знал ничего.

Сокращение учебных планов американских начальных и средних школ, особенно заметное после первой мировой войны, во многом объяснялось бесплодными и бессмысленными крайностями, до которых довели систему прогрессивного обучения. Эта система, так же как и буйно разросшийся профессионализм, способствовала изгнанию интеллектуального содержания из школьных программ. Пытаясь изжить недостатки старых учебных планов, ярые защитники прогрессивного обучения совсем выхолостили учебный план и, так сказать, вместе с водой выплеснули из ванны ребенка. Английский язык, история, искусство и общественные дисциплины перестали существовать как самостоятельные предметы. Они были «объединены» в один новый предмет, названный «основами», — получилась мешанина, в которой отдельный предмет терял свое самостоятельное значение и интерес. Грамматика стала считаться неприятным словом, и опасались, что школьная мелюзга будет от нее уклоняться. Ее называли вместо этого «структурой языка» и почти совсем перестали преподавать. Система прогрессивного обучения привела к усиленному развитию антиинтеллектуализма и превратила школы в места беспорядочной деятельности, не имеющей ничего общего с организованным обучением.

Наряду со все усиливающейся критикой учебных программ происходит не менее сильное гонение на американских учителей, имеющее свою еще более долгую историю. Образы, в которых учитель (или учительница) появляется в нашей литературе или фольклоре, начиная с Икабода Крейна, как правило, непривлекательны. Если учитель — мужчина, он обычно строгий надзиратель, часто действующий ореховой палкой, проявляя при этом больше силы, чем справедливости; либо рассеянный педагог, беспрестанно поправляющий свои очки, которого постоянно обманывают ученики, всегда значительно более проворные, чем он; либо придурковатый тип, неспособный заработать себе на хлеб какой-нибудь приличной мужской профессией. Он прибегает к преподаванию, как к последнему средству, но и здесь не добивается особого успеха, иллюстрируя собой эпиграмму Джорджа Бернарда Шоу: «Тот, кто может, делает сам. Кто не может — учит других». Если же педагог — женщина, то она изображается угловатой старой девой, у которой давным-давно угас интерес к жизни и которая свои разбитые надежды и горечь переживаний вымещает на своих учениках; либо это очаровательная молодая учительница, которая только и ждет, как бы выскочить замуж, и бросает свой класс в тот же момент, когда это заранее предвкушаемое ею событие спасает ее от вышеописанной горькой судьбы; либо это прямая и резкая женщина, рубящая сплеча, напористая, агрессивная, с громким голосом и в такой же мере женственная, как грузовая машина-двухтонка. В противовес этим малопривлекательным портретам в представлении публики сохранился только один сравнительно приятный образ: робкая, ласковая учительница, которая прививает своим ученикам столь правильный образ мыслей, что все они, выходя в свет, добиваются блестящих успехов и международной славы, после чего возвращаются, чтобы почтить леди, теперь уже старую, но все еще робкую и ласковую, на шикарном банкете, где они приписывают ей все свои триумфы.

Таково примерно содержание сценария типично сентиментального кинофильма «Да здравствует мисс Бишоп!», который был задуман как дань Голливуда американскому школьному учителю. В этом фильме никем не воспетая и

никому не известная мисс Бишоп оказалась персонально ответственной за выработку характеров сенатора Соединенных Штатов, ученого, лауреата Нобелевской премии, известного всему миру профсоюзного деятеля и небольшой группы других не менее знаменитых лиц. Однако и этот американский вариант м-ра Чипса отдает тем покровительственным душком, который так заметен в отрицательных образах учителя. Такие люди, как мисс Бишоп, могут пользоваться почетом после того, как ушли на пенсию, но совершенно лишены его, пока находятся на работе. Благодарность и признание приходят к ним поздно, и всякий, знающий их, бывает слегка удивлен, что под их малообещающей внешностью скрывалось столько ума и решимости. До самого конца фильма эта застенчивость и скромность, эта мягкость и нежность, проявляемые в беспомощном взмахе рук и робком взлете бровей, продолжают свидетельствовать о том, что героиня, по существу, лицо, не созданное для материального успеха и не пользующееся восхищением широких кругов общества, так как скромность и нежность отнюдь не являются типичными чертами американского характера. Итак, даже женский вариант м-ра Чипса в американском духе все еще представляет собой тип второсортной американки, к которой диплом гражданства первого сорта приходит слишком поздно, чтобы она могла им хорошо воспользоваться и полностью насладиться¹.

Английские мистеры Чипсы не страдают от такой смеси покровительственных чувств. В своем более старом и устойчивом обществе они пользуются любовью публики, когда обладают мягким, ласковым характером, и ее уважением — когда суровы и строги. Работа английского школьного учителя оплачивается плохо, так же плохо, если даже не хуже, чем его американского коллеги, но зато он пользуется всеми косвенными благами общественного уважения, не окрашенного жалостью или презрением. Благо-

¹ В конце 1948 года появился необычайный кинофильм под названием «Квартира для Пегги», в котором речь также шла об учителях и преподавании. Удивительным был положительный подход его авторов к теме: они считали преподавание занятием более важным, чем погоня за деньгами, и необходимым для предотвращения войны. Более того, в этом фильме учителя показаны как энергичные и разумные люди, серьезно интересующиеся общественными проблемами. Для Голливуда этот фильм представлял собой революционное исключение.

даря этому уважению ему живется гораздо легче, чем учителю в Америке, независимо от разницы в их материальном положении. Подобное отношение к учителю в общем преобладало в Западной Европе; оно было таким же во Франции и Италии и в особенности в фашистской Германии¹. Среди стран западного мира Соединенные Штаты оказываются в невыгодном свете, будучи единственной страной, где учителя не пользуются безоговорочной поддержкой наравне с другими профессиональными группами. Учитель является одним из основных проводников идей в обществе, и любые ограничения, налагаемые на его ум и чувства, отрицательно сказываются на свободе распространения самих идей.

Но притеснения, которым подвергается учитель, не ограничиваются тем, что ему отказывают в должном уважении. Не менее явные и жесткие ограничения налагаются на него и в других областях. Личная жизнь учителя должна быть гораздо более примерной, чем жизнь любого рядового гражданина. Он вынужден соблюдать все условности этикета, личного поведения, придерживаться законных понятий о респектабельности строже, чем его знакомые. Как указывал Бенджамин Файн², в маленьких городках подобная рутина касается многих деталей жизни учителя и категорически запрещает ему курить, пить коктейли и поздно ложиться спать. В некоторых очерках отмечалось, что во многих районах страны существует ряд табу для учительниц: им нельзя красить губы, пить пиво, выходить замуж или «водить компанию» с молодыми людьми. Были примеры, когда учительниц увольняли за посещение танцевальных вечеров, организованных вполне солидными учреждениями.

Далее, от учителя требуют участвовать после окончания школьных занятий в общественной деятельности, а также вносить денежные пожертвования, далеко не соразмерные с его жалованьем, на многочисленные благотворительные мероприятия, существующие в каждом городе. К нему более, чем к кому-либо другому, кроме

¹ Как часто указывалось, недостатки немецкого образования заключались не в отношении общества к учителям, которое было безупречным, а в преувеличенном, почти исключительном значении, придаваемом технической, а не нравственной стороне знаний.

² В серии статей об американских школах и колледжах, печатавшейся в газете «Нью-Йорк таймс» в течение февраля 1947 года,

продавца и профессионального сборщика средств, предъявляется требование быть веселым и приветливым в течение большей части дня, не получая, однако, за это денежного вознаграждения, значительно облегчающего другим такую задачу. Все подобные правила соблюдаются тем меньше, чем крупнее город, в котором живет учитель, и это, очевидно, является одной из причин особенно острой, хронической нехватки учителей в сельских местностях.

И как будто все эти общественные ограничения недостаточно досаждают учителю, он еще постоянно подвергается контролю со стороны цензоров и политических деятелей. Он не должен высказывать никаких сектантских взглядов и примыкать к каким-либо «подозрительным» движениям. Он должен быть очень осторожным, часто до степени полного выхолащивания смысла, в том, что он говорит и в классе, и вне его. От него раньше и чаще, чем от других, требуется принесение присяги, и его патриотизм является предметом постоянных подозрений и частых расследований. Комиссии конгресса бросаются на него, как медведи на колоду с медом, в поисках неортодоксальных идей. Его редко берут под защиту школьные советы и администрация¹, и вообще он может ожидать только упреков, оскорблений, а часто и немедленного увольнения. Не удивительно, что в такой обстановке очень многие из учителей стали робкими людьми и не решаются поднять голос даже тогда, когда этого требует их искреннее убеждение; они с головой ушли в безопасную механическую рутину

¹ Джеймс Брайант Конант является редким исключением из общего правила. Уходя с поста ректора Гарвардского университета на новую должность верховного комиссара в Германии, он заявил: «Если в университетах есть такие преподаватели или служащие, кто действительно занимается подрывной деятельностью, то надеюсь, что правительство выявит их и привлечет к ответственности. Но я хотел бы думать, что, действуя так, оно не создаст обстановки, в которой профессора боялись бы свободно высказываться по общественным вопросам... Для Соединенных Штатов будет роковым тот день, когда традиции свободомыслия будут изгнаны из стен университета. Ибо именно свобода не соглашаться, дискутировать с властями по интеллектуальным вопросам, думать по-другому и сделала нашу страну такой, какова она сегодня... Наше индустриальное общество создавалось оппозиционно настроенными людьми, которые по ряду вопросов успешно бросали вызов ортодоксальным взглядам... Всемирная борьба против коммунизма зависит именно от этой точки зрения» («Нью-Йорк таймс» от 26 января 1953 года).

своей работы, не позволяя себе отклоняться от предписанных им норм поведения. Резкое суждение, высказанное по этому вопросу Эрнестом Бойдом еще в 1920-х годах, и теперь еще сохраняет силу:

«Подавленные материальной нуждой и моральными ограничениями, они лишены независимости. Простые люди презируют их за неумение зарабатывать деньги; им разрешается ведать только теми делами, которые считаются маловажными, в частности обучением и вопросами искусства. В этой области педанты господствуют безраздельно, кроме тех случаев, когда какие-нибудь разгневанные директора железнодорожных компаний заподозрят в их преподавательской деятельности ересь радикализма»¹.

Образ школьного учителя в виде непрактичного человека, уединившегося в башню из слоновой кости и неспособного разобраться в жизненных вопросах, создан общественным мнением как своего рода смирительная рубашка, в которой насильно держат. Даже среди интеллигенции встречаются лица, способствующие распространению такого взгляда. Г. Л. Менкен, например, вел длительную войну против профессоров. «Две трети профессоров наших колледжей,— писал он как-то,— просто сосуды, полные неусвоенных, механически заученных знаний: они не могут ими воспользоваться, так как не в состоянии думать»².

Еще один неприятный момент — это отношение к учителю со стороны американского школьника, сложившееся в течение жизни ряда поколений. Конечно, взаимная неприязнь между учеником и учителем представляет собой международное явление, но трудно найти страну, где эта неприязнь пользовалась бы таким широким одобрением, как в Соединенных Штатах. Дразнить учителя — любимое развлечение мальчишек на протяжении многих поколений. В сельских районах в особенности упорно держится мнение, что мальчик может научиться большому, бродя по полям, занимаясь ужением рыбы, познавая, даже совершенно бессистемно, явления природы, чем изучая книги. Рост больших городов несколько поколебал этот взгляд,

¹ Ernest Boyd, As an Irishman Sees it, in Civilization in the United States, ed. by Harold E. Stearns, New York, Harcourt Brace, 1922, p. 491—492.

² H. L. Mencken, Selected Prejudices, New York, Knopf, 1927, p. 113.

так как для мальчика, связанного пределами городской улицы, нет подходящей альтернативы посещению школы, но старые традиции все еще живучи. Как это ни парадоксально, но масштабы обязательного обучения растут параллельно с укоренившимся отвращением к нему, так как лица, для которых это обучение предназначено, часто меньше всего в нем нуждаются.

Приниженное общественное положение учителя совпадает с его тяжелым материальным положением. Учительская профессия известна своей низкой оплатой: средний заработок учителя даже в 1946 году был ниже, чем заработок неквалифицированного рабочего. В заключение своего подробного обзора, который был напечатан в 1947 году в газете «Нью-Йорк таймс», Бенджамин Файн писал:

«Существует огромная нехватка учителей. Учительская профессия уже не привлекает самых способных юношей и девушек страны. Они могут иметь больший заработок, получить лучшие условия труда, пользоваться большим уважением общества и большей свободой, работая в государственном учреждении, в частных промышленных предприятиях или в местной аптеке.

Они могут больше заработать, водя грузовые автомашины, собирая мусор или работая буфетчиком, чем заработали бы преподаванием. Повсюду на учителей смотрят с жалостью или пренебрежением; очень часто с ними обращаются, как с гражданами второго сорта»¹.

Отказ молодежи заниматься преподавательской работой вызвал после второй мировой войны острую нехватку учителей, и это привлекло к ним внимание общественности. В отдельных случаях им было увеличено жалование; стало расти понимание важной роли учителя, отчасти связанное с идеологической борьбой против коммунизма. Впервые люди внимательно присмотрелись к своим учителям и к их исключительно важной роли в обществе.

Но конкретные меры по улучшению быта учителя проводились лишь от случая к случаю, и положение американского учителя продолжает оставаться далеко не благополучным. Мизерные прибавки к его жалованию, вырванные с огромным трудом у нерасположенных к этому школьных советов и законодательных собраний штатов,

¹ «Нью-Йорк таймс» от 10 февраля 1947 года.

уже давно поглощены растущей стоимостью жизни. Не всегда имело успех и противодействие попыткам урезать его гражданские права, и нет уверенности, что эти попытки не будут повторяться в условиях каких-либо новых кризисов. Сторонники профессионального обучения в школах неуклонно выхолащивают учебную программу в пользу технических курсов, а приверженцы старых традиций тренировки ума, развития широких взглядов и сохранения цельности человеческой природы почти повсюду отступают. Общественные, политические и экономические позиции учителя остаются очень шаткими. Несмотря на отдельные случайные меры по улучшению его положения, учитель никогда не добьется полного признания, пока главной задачей страны будет оставаться дальнейшее развитие техники.

Хотя теперь, в период ныне существующего кризиса, ведется много разговоров о демократии и необходимости возродить демократический дух, но эти разговоры еще не приняли форму содействия тем силам в области просвещения, которые стремятся воспитывать человека в демократических традициях. Эти силы проявляют активность, но уже в течение долгого времени им приходится занимать оборонительные позиции. И все же перспективы для них не так уж безнадежны. На первый взгляд кажется, что накопление материальных ценностей и достижение более эффективной и выгодной техники производства по-прежнему является единственной целью американского народа, но было бы глубоко ошибочно считать, что эти видимые цели поглощают все его внимание. Недавняя война с ее печальными последствиями привела к пониманию того, что большие социальные и политические проблемы не могут быть решены одними материальными преимуществами, что здесь требуются также умственные и духовные качества. В наших попытках решить эти проблемы демократические идеи и взгляды должны играть жизненно важную и решающую роль. Мы начинаем сознавать, что жизненные затруднения более сложны, чем мы когда-либо могли себе представить, более того, что эти затруднения не собираются отступить и исчезнуть при первом взгляде на статистические данные о нашем национальном доходе.

Это понимание является событием первостепенной важности в духовной жизни американского народа, порождающим замешательство и временную дезориентацию,

но вместе с тем вызывающим у него также новое для него чувство скромности, желание проверить результаты своей деятельности, сознание, что есть глубины, скрытые под поверхностью,— то есть все классические этапы интеллектуального роста. С этим ростом и связана в основном надежда на возрождение гуманистических принципов в школах и, по существу, во всей стране. Полноценная человеческая личность — идеал демократически настроенных людей,— безусловно, не сможет быть создана, пока не будет достигнуто всеобщее понимание того, что она представляет собой нечто большее, чем внешняя оболочка, и что внутри ее скрыто не одно качество.

ГЛАВА VII

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ИНТЕЛЛИГЕНТА

В настоящее время интеллигентов терпят в общественной жизни только в периоды бедствий, когда обычные меры уже бессильны и люди, охваченные в равной мере надеждой и отчаянием, начинают искать новых решений.

Когда в 1933 году депрессия достигла предельной глубины, привычные понятия настолько поколебались, что Франклину Д. Рузвельту, впервые избранному тогда президентом, удалось ввезти в Вашингтон целую армию профессоров юридических, экономических и общественных наук (главным образом из Гарвардского, Колумбийского, Корнеллского и Чикагского университетов), не вызвав протеста ни с чьей стороны, по крайней мере в первые месяцы. Когда же вновь открылись банки, гарантировавшие сохранность вкладов, когда люди стали возвращаться на работу и экономическая машина начала снова действовать, когда надежда и уверенность, что все худшее позади, одержали верх над унынием самых мрачных лет депрессии, начался поход против членов рузвельтовского «мозгового треста». Эта кампания оказалась настолько эффективной, что в представлении публики в какой-то мере возродилось пренебрежительное отношение к ученым и теоретикам, господствовавшее в периоды процветания. Члены «мозгового треста», постепенно вытесненные из Вашингтона, снова разбрелись по своим университетским

городкам, и последующие правительства Рузвельта, в особенности после начала войны в Европе, пользовались услугами лишь немногих из них.

Однако конец войны принес с собой новый кризис — пропагандистскую войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами, и опять потребовались услуги интеллигентов, на этот раз тем самым деловым кругам, которые до этого относились к ним то с подозрением, то с неприязнью. Рассел Портер в статье, которая была опубликована в газете «Нью-Йорк таймс» под многозначительным названием «Новая оценка интеллигентов», писал об этом так:

«На прошлой неделе комиссия экономического развития объявила об избрании женщины, священника и двух директоров колледжей в совет попечителей. Это расценивается как весьма показательный факт, свидетельствующий о том, что ответственные деловые лидеры придают все большее значение сотрудничеству с интеллигентскими кругами в деле сохранения американского свободного предпринимательства, свободного труда, независимого правительства, а также интеллектуальной свободы в мире, которому все более угрожает тоталитарный крестовый поход коммунизма»¹.

Но растущие тревоги этого периода привели к злобным выпадам маккартистов против людей независимой мысли, занимающих те или иные государственные посты. Маккартистская лихорадка по сравнению с периодом ее разгула немного стихла. Но она все еще сильна. До тех пор пока она не исчезнет совсем, мало надежды на то, что государственная служба будет казаться привлекательной для людей со смелым суждением и ясным умом. Парадоксально, что все это приводит к подавлению индивидуальной инициативы в области умственной деятельности, тогда как в царстве бизнеса и торговли личная инициатива продолжает процветать. И снова мышление американцев подчиняется одним правилам, а их практическая деятельность — другим.

До Гражданской войны образованные люди играли важную роль в общественных делах, и против них не сложилось еще предубеждение. Это отчасти можно объяснить тем, что среди широких слоев населения преобладала

¹ «Нью-Йорк таймс» от 26 октября 1947 года.

неграмотность, и, следовательно, люди имевшие законченное образование, высоко ценились на политической арене. В ранних пуританских поселениях священники являлись одновременно лидерами общины, и в течение долгого времени интеллектуальное и политическое руководство объединялось в одном лице. Гамильтон и Джефферсон, теоретики и мыслители, были характерными представителями того типа руководящих деятелей XVIII века, который просуществовал до конца XIX века. Семья Адамсов в течение ряда поколений могла служить наглядным примером видных деятелей, совмещавших теорию с практикой. Абигейл, жена второго президента, была писательницей. Ее сын — Джон Квинси Адамс, шестой президент, в течение всей своей политической карьеры занимался литературной деятельностью. Его сын, Чарлз Фрэнсис Адамс, был послом Линкольна в Англии во времена Гражданской войны. Он в свою очередь имел трех сыновей, сочетавших по традиции теоретическую деятельность с практической. Чарлз Фрэнсис Адамс младший был адвокатом, железнодорожным магнатом и писателем-историком. Брукс Адамс написал два известных острых исторических трактата: «Закон цивилизации и упадка» («The Law of Civilization and Decay») и «Теория социальных революций» («The Theory of Social Revolutions»). Третий сын, Генри Адамс, был автором знаменитого «Воспитания Генри Адамса» — обширных политических и исторических мемуаров, отчасти основанных на личном опыте автора в период его дипломатической службы.

Кроме Адамсов, были другие литераторы и мыслители, сочетавшие занятия литературой с общественной деятельностью. Вашингтон Ирвинг был посланником в Испании. Натаниэл Готорн служил в течение четырех лет американским консулом в Ливерпуле. История первой половины XIX века изобилует именами людей, имевших две профессии: Уильямс Остин (William Austin), Джордж Банкрофт (George Bancroft), Руфус Чоэйт (Rufus Choate), Калев Кушинг (Caleb Cushing), Александер и Эдвард Эверетты (Alexander and Edward Everett), Джеймс Рассел Лоуэлл (James Russell Lowell) и многие другие. Их деятельность считалась нормой, а не исключением или какой-то странностью, вызывающей удивление и подозрение.

Уважение к знаниям не ограничивалось кругом людей, имевших диплом об образовании. В своей книге «Расцвет Новой Англии» Ван Вик Брукс описывает фабричных работников из города Лоуэлла (штат Массачусетс):

«В их меблированных комнатах стояло купленное вкладчину фортепьяно; стены фабрик были увешаны их стихами; они выписывали английские журналы; изучали немецкий язык; все они, по-видимому, знали наизусть «Потерянный рай» и в перерывах, пока меняли на станках шпульки, рассуждали о Вордсворте, Кольридже и Маколее»¹.

Что касается широкой публики, то:

«...большинство писателей нового века пользовались активной поддержкой своих родителей, которым литературная карьера для их детей представлялась столь же нормальным явлением, как и кафедра проповедника или государственная должность. Даже в католических странах, где почти каждая крестьянская семья мечтает вырастить священника, трудно встретить более сильное желание со стороны самых бедных семей дать возможность обладающему блестящими способностями сыну получить «преимущества» и развивать свои интеллектуальные наклонности»².

Однако после Гражданской войны это слияние теории с практикой начало рушиться. Быстрый рост промышленности резко склонил чашу весов в сторону практичности и создания чисто материальных ценностей. Распространение обязательного обучения сделало законченное образование менее редким явлением и, увеличив предложение, снизило спрос на образованных людей. Пропасть между образованным и рядовым человеком уменьшилась, и первый из них утратил те преимущества, которые давала ему грамотность. Массы людей-практиков с мозолистыми руками, созданных условиями жизни на границе и развитием новых отраслей промышленности, пробились к верхам общества и стали влиять на жизнь страны. Они вынудили профессоров вернуться обратно в университеты, а писателей — в свои кабинеты и вырвали правительственные учреждения из рук деятелей, прозванных

¹ Van Wyck Brooks, *The Flowering of New England*, New York, Dutton, 1936, p. 176—177.

² Там же, стр. 112.

Генри Адамсом «людьми XVIII века». Сам Адамс, с иронией наблюдавший в течение второй половины XIX века этот процесс, считал себя вытесненным с государственной службы теми факторами, которые он называл «вульгарностью нового века техники». Это давал себя знать тот новоявленный материализм, который заставил молодого Генри Джеймса искать убежища в западноевропейском обществе, сохранившем все свои традиции. Утонченные, сентиментальные интеллигенты всюду избегали контакта с новым, жестким порядком вещей, который так прозрачно вырисовывался под блестящей оболочкой «позолоченного века» (говоря словами Марка Твена), и удалялись за кулисы американской жизни¹.

В 1900 году поэтов больше не приглашали на дипломатическую службу, историков не выдвигали на министерские посты. Когда в начале XX века профессор колледжа Вудро Вильсон стал губернатором штата Нью-Джерси, это сочли своего рода политическим чудом. Еще большим чудом показалось то, что в 1912 году он стал президентом Соединенных Штатов; это был первый интеллигент в Белом доме после Джона Квинси Адамса. Начиная с 1920 года американские президенты снова стали представлять собой более знакомый тип.

В кризисные годы, когда Рузвельт впервые был избран президентом, интеллигенты на короткое время вернулись на государственную службу. Сам Ф. Д. Рузвельт не был человеком умственного труда. Нью-йоркские землевладельцы, из среды которых он вышел, его ближайшие друзья и товарищи в период до избрания его президентом не были писателями, учеными, профессорами или богословами, это были большей частью родовитые землевладельцы, юристы или морские офицеры. Обстоятельства его юности не сталкивали его с интеллигентами, но, когда пришло время, он охотно сблизился с ними. В 1931 и 1932 годах, в период избирательной кампании Рузвельта, под влиянием все усиливающейся депрессии многие традиции и привычные нормы мышления стали отступать на задний план, открывая путь новым методам и решениям.

¹ Или поглощались новым порядком. Этот процесс описан Уильямом Фолкнером в его романах, повествующих о семье Сноупсов, и Лилиан Хеллман в ее пьесах «Лисички» и «Леди и джентльмены» («Another Part of the Forest»).

Потеря доверия к банкирам и бизнесменам, которые казались не только ответственными за депрессию, но и неспособными найти из нее выход, создала в сознании людей открытую брешь, где мог внедриться и получить признание новый тип людей.

Профессора Колумбийского университета Реймонд Моули и Рекфорд Тагвелл стали помощниками Рузвельта наряду с такими профессиональными политическими деятелями, как Джеймс Фарли. Связь между правительством и университетами, прерванная Гражданской войной, была временно восстановлена, и президент в течение некоторого времени был окружен людьми, значительно более, чем он, заинтересованными в экономических теориях и общественных науках. На короткий срок банкиры и бизнесмены сдали свои позиции и ожидали в прихожей со шляпой в руке, пока «новый курс» снова пустит в ход застопорившуюся экономическую машину. Через некоторое время публике было суждено наблюдать удивительное для Америки XX века зрелище, когда профессиональный поэт Арчибалд Маклиш стал помощником государственного секретаря, известный драматург Роберт Э. Шервуд — одним из главных составителей речей для президента, профессор юридических наук Тэрман У. Арнолд, занимавшийся глубоким изучением теории капитализма¹, — помощником министра юстиции, а профсоюзный деятель Гарри Гопкинс — ближайшим советником президента.

Это вливание интеллектуальной энергии в аорту политики имело своим прямым следствием одно из разнообразных мероприятий «нового курса» — субсидирование из правительственных фондов деятелей искусства. Оно было организовано Управлением промышленно-строительных работ общественного назначения (УПА), при котором были созданы отделы, ведающие различными отраслями искусства: литературный отдел, театральный, художественный и другие. Правда, во Франции и в Англии периодически выдавались государственные премии деятелям литературы и искусства (поэт-лауреат в Англии является служащим короны), а в Америке в XIX веке писателям

¹ Его книга «Фольклор капитализма» была смелым исследованием ошибочных экономических взглядов, распространенных в США, и их влияния на мышление и поведение американцев.

предоставлялись синекуры (Готорн числился на службе в таможене), но такого официального и всеобъемлющего учреждения, как УПА, Америка никогда не знала.

Деятелям искусств не предъявляли заранее никаких условий. Хотя многие заявляли, что государственная помощь безработным художникам — это антиамериканское мероприятие, в действительности же контракт, подписанный УПА, воскрешал лучшие демократические традиции. Благодаря ему удалось спасти от бедствий безработицы несколько тысяч работников искусств, и культурная жизнь страны во многих отношениях обогатилась. Стены почтовых контор, до этого голые, украсились живописью; зрители, не имевшие раньше возможности пойти в театр или на симфонический концерт, теперь смотрели пьесы в постановке федерального театра и слушали музыку, исполняемую симфоническими оркестрами УПА; библиотеки пополнились многочисленными альманахами, составленными литературными группами УПА: иногда они (альманахи) стояли на ошибочном пути, но часто в них содержались новые произведения фольклора или новые данные из истории отдельных штатов. УПА поддержало в критический момент жизнь многих ценных людей и дало им возможность использовать свои таланты на благо народа.

Деятельность УПА наталкивалась на яростное сопротивление. Консервативные элементы обеих главных партий так же выступали против нее, как и против всяких законопроектов, предусматривавших прямую ответственность правительства за обеспечение безработных. В особенности их возмущала поддержка, оказываемая из общественных фондов деятелям искусств. В глубине души они считали писателей и художников радикалами, распространителями «передовых» идей, своего рода разрушителями респектабельного буржуазного домашнего очага. По их мнению, художники были либо богемой, либо коммунистами или и тем и другим вместе и, во всяком случае, действовали под влиянием импульсов, отличных от тех, которые руководят нормальными людьми. Консервативные газеты в период деятельности УПА были полны карикатур, изображавших, например, чернорабочих, сгребавших за счет правительства листья на дороге (для этой синекуры было даже придумано специальное название «бундогглинг»). Но наибольшую злобу у консерваторов вызывали «длин-

новолосые эстеты», которых поддерживали и поощряли на средства налогоплательщиков.

Их отношение отражало взгляды многих американцев (в особенности в небольших городах и сельских местностях), считавших, что деятелю искусств не хватает тех качеств, которые в свое время возвеличили Америку. Он не имеет ни мускульной силы, ни физической энергии. У него нет склонности к стяжательству. Он не имеет явно выраженного желания «выдвинуться» и «сделать карьеру». Он не ходит, как правило, в церковь. Более того, от него пахнет каким-то иностранным духом. Его легко можно представить себе ведущим развратную жизнь на Левом берегу, пьющим абсент и другие безнравственные напитки в уличных кафе, напыщенно рассуждающим или впадающим в угрюмое антиамериканское молчание и совершающим целый ряд других столь же предосудительных поступков. Было чудовищно и нетерпимо, чтобы лицо с такими порочными и богопротивными наклонностями получило поддержку за счет трудовых денег уважаемых налогоплательщиков.

Литературно-художественные отделы были созданы позже, чем само УПА, и раньше ликвидированы. Специфическая оппозиция против них проистекала из воззрений, глубоко укоренившихся в американском обществе. Их деятельность не только противоречила мнению, что свободные люди должны полагаться на себя и не пользоваться поддержкой правительства, но и опровергала тот взгляд, что искусство по самой своей природе является чем-то легкомысленным и недозволенным. Возникшая почти с самого начала сильнейшая оппозиция против творческой деятельности, развившейся при содействии УПА, была одним из проявлений общего недовольства «оздоровительными» мероприятиями правительства Рузвельта и вместе с тем представляла собой совершенно невольную, чисто инстинктивную реакцию на само искусство.

И все же появление этих организаций было неким чудом в области культуры и политики, прямым свидетельством того, что возникает иной взгляд на искусство, что оно начинает восприниматься по-новому. Старый конфликт между ремеслом и искусством, практикой и теорией, недоверием к культуре и поощрением ее,— конфликт, в котором так долго брало верх ремесло, на один какой-то короткий, но знаменательный момент был ликвидирован. Суть

дела не в том, много или мало было сделано отделами УПА, и не в том, насколько умело или неумело они распоряжались выделенными им средствами, а в том, что они вообще были созданы.

Обзор общественной жизни интеллигента в Америке не может быть исчерпывающим, если не упомянуть об Эдлае Э. Стивенсоне; проведенная им в 1952 году в период президентских выборов избирательная кампания отличалась логичностью доводов и принципиальностью. Хотя он и потерпел на выборах поражение, но все же за него проголосовало свыше 27 миллионов избирателей; все партии приветствовали его как человека, внесшего нечто новое в политическую жизнь страны. Самый факт, что такой человек, как он, был выдвинут в качестве кандидата одной из главных политических партий, лучше всего свидетельствует о растущем признании важности интеллектуальных данных для общественно-политической деятельности. Это признание указывает на то, что пропасть, так долго разделявшая политическую и умственную деятельность, сузилась. Только сочетание политика-практика с мыслителем создает государственного деятеля. И именно появление на политической арене государственных деятелей в отличие от просто политиков будет служить доказательством политической зрелости страны.

**РАЗЛИЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРЕ
АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА**

ГЛАВА VIII

ПОТОК ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ

I

В области широко разветвленной и многообразной американской культуры видную роль играют газеты и журналы. Здесь мы наблюдаем те же контрасты, какие присущи всей жизни нашей страны. Есть такие газеты и журналы, которые до крайности упрощают все мысли и события и, вместо того чтобы взывать к разуму людей, играют на их страхах и предрассудках. Публикуя пересказы литературных произведений, заменяя текст картинками, используя дешевые сенсации, развлекая читателей, печатая комиксы, гороскопы, советы лицам, потерпевшим неудачу в любви, и т. п., они приучают читателя не думать, так как дают ему готовый заменитель того мыслительного процесса, к которому он и так не очень склонен. Наряду с этим имеются такие газеты и журналы, которые относятся к своим читателям как к взрослым и рассудительным людям и снабжают их более или менее объективными материалами, позволяющими им сделать свои собственные, независимые выводы.

Одним из критериев солидности газеты является объем сообщаемых ею фактов и степень объективности, с какой они преподносятся читателям. Многие газеты излагают факты тенденциозно в ту или другую сторону. Некоторые открыто сопровождают их редакционными комментариями или делают это завуалированно, вне редакционной полосы. Наибольшей тенденциозностью отличаются два противоположных лагеря: херстовско-бульварная пресса с ее визгливой бранью и злобными комментариями — на крайнем правом фланге и коммунистическая печать с ее наив-

ными штампами — на крайне левом. К бульварной прессе можно отнести еще газеты «Чикаго трибюн» и «Вашингтон таймс гералд», известные своими чрезвычайно пристрастными, односторонними политическими суждениями. Их воинственный язык и развязный тон не способствуют ясности мышления и вряд ли помогают читателю делать собственные выводы.

Ярким примером бульварной газеты может служить «Нью-Йорк дейли ньюс», имеющая самый большой тираж в Соединенных Штатах. Эта газета выработала свой редакционный стиль, на редкость подходящий для того, чтобы излагать более чем двум миллионам ее постоянных читателей (и свыше чем четырем миллионам по воскресеньям) самые сложные вопросы острым, вульгарно разговорным языком, который привлекает внимание даже чисто случайного читателя. Восхищение таким мастерством — а это действительно большое мастерство! — не может заслонить его конечного результата. «Нью-Йорк дейли ньюс», резко догматичная в любом вопросе, никогда, ни на один миг не усомнится в своей собственной мудрости, ни на секунду не ослабит своего агрессивно уверенного тона. Самые сложные международные проблемы, прежде чем о них объявят в печати, разрешаются в ее святая святых; но когда их уже опубликуют, то поистине только очень смелый читатель решится опровергнуть безапелляционные утверждения газеты. Это самый совершенный метод журнализма, но он менее всего подходит для общества, основанного на свободном высказывании индивидуальных мыслей. Приемы, при помощи которых «Нью-Йорк дейли ньюс» влияет на свободный ход мысли, становятся еще более эффективными благодаря их искусной маскировке. Ежедневно помещаемый гороскоп, одна колонка голливудских новостей и слухов, две — нью-йоркских, короткий рассказ, роман с продолжением, кроссворд, целые страницы фотографий, живой обзор спортивных новостей и столько сплетен, сколько позволяют место и цензура,— все это неудержимо привлекает массового читателя, находящего в газете отклик чуть ли не на все свои интересы, мечты и предрассудки.

Лучшие американские газеты избегают непререкаемого тона, принятого воинствующей прессой. Их убеждения могут быть не менее твердыми, но они высказывают их обычно таким тоном, которым можно убедить, а не перекри-

чать читателя. Американское общество произвело на свет не только «Нью-Йорк дейли ньюс», но и «Нью-Йорк таймс», не только херстовские газеты, но также такие газеты, как «Вашингтон пост» и «Атланта конститьюшн», не только полные крикливых сенсаций бульварные газеты, но и такие издания, как «Сейнт-Луис пост-диспэтч», «Нью-Йорк гералд трибюн» и «Крисчен сайенс монитор», которая похвально придерживается единственного в своем роде девиза: «Не обидеть ни одного человека, а осчастливить все человечество». Эти газеты выделяются исчерпывающим обзором новостей, объективным изложением событий и глубоким анализом основных вопросов. Сообщая читателю заслуживающие внимания факты, они предоставляют ему делать из них свои собственные выводы. В той степени, в какой каждой газете удается этого достигнуть, она представляет собой созидательную силу в национальной культуре и выполняет свой долг перед читателями.

Успешное выполнение этих функций в значительной степени зависит от того, насколько свободно может действовать газета. Одним из достижений, составляющих предмет нашей особой гордости, является свобода печати. Ею мы законно гордимся. Наши газеты часто бывают пристрастны, но их трудно уличить в продажности или коррупции. В противоположность некоторым европейским органам печати американские газеты не объявляют о своей продажности. Их не могут купить политические партии или какие-либо отдельные группы, желающие превратить их в чисто пропагандистские листки. Наша пресса не является также рупором правительственной пропаганды. По существу, у нас совсем нет государственной цензуры. Наши газеты могут критиковать правительство, не боясь возмездия. У нас нет министра печати или пропаганды, который мог бы задушить негодную ему газету, прекратив отпуск ей газетной бумаги. И самое понятие «свобода печати», гарантированное конституцией, символизирует одно из наших наиболее ревностно охраняемых прав.

Есть, однако, факторы, которые действуют против свободы и многообразия печати в наиболее широком смысле этого слова. Одним из таких факторов является тенденция к «цепному» объединению. «К 1900 году,— писал Фрэнк Лютер Мотт в своем исчерпывающем обзоре «Американский журнализм»,— насчитывалось 8 цепей, контролирую-

щих 27 газет и примерно 10% всего ежедневного тиража. К 1910 году уже насчитывалось 12 цепей, а число газет удвоилось. В следующее десятилетие... было создано много новых цепей, и число газет снова удвоилось. Но только в 1920-х годах число цепей достигло примерно 60, а число принадлежавших им ежедневных газет перевалило за 300, причем на долю этих газет приходилось свыше $\frac{1}{3}$ всего ежедневного тиража в стране... Среди воскресных изданий цепные газеты поставляли около половины всего тиража»¹. Объединение газет в цепи дает тот же нездоровый результат, что и всякие другие монополии, сосредоточивая публикацию известий в руках слишком небольшого числа людей и сокращая число редакционных точек зрения.

В результате цепного объединения в Америке не только стало меньше газет, но они начинают все больше и больше походить одна на другую. Создание информационных агентств — Ассошиэтед Пресс, Юнайтед Пресс, Интернейшенл Ньюс Сервис, и распространение по всей стране стандартных статей, фельетонов, комиксов значительно усиливают это сходство. Мы уже вступили в стадию «консервированных» передовиц, которые готовятся в каком-либо центральном агентстве и продаются как расфасованный товар газетам по всей стране. Появились агентства типа Ньюспейпер Энтерпрайз Ассошиэйшн, поставляющие стандартные редакционные статьи, которые печатаются в самых различных районах страны, часто без критического пересмотра их содержания. Редко встречаются такие газеты, как «Луисвилл курьер-джорнел», которые не только выступают за самостоятельность редакционного мнения, но и позволяют своим сотрудникам высказывать на страницах газеты противоположные точки зрения.

Американские газеты постепенно приобретают однообразный вид: их содержание, редакционные комментарии и даже формат становятся все менее и менее разнообразными. В основе этого явления лежат затруднения финансового порядка, которые испытывают газеты. Времена, когда человек с небольшим капиталом, всего в несколько тысяч долларов, мог начать выпуск газеты, остались далеко позади. Сейчас, чтобы издавать столичную еже-

¹ Frank Luther Mott, American Journalism, New York, MacMillan, 194, p. 648.

дневную газету, требуется 10—15 млн. долларов. Далее, огромные расходы, связанные с содержанием целой плеяды местных и иностранных корреспондентов, ставят газеты все в большую зависимость от центральных информационных агентств, которые в свою очередь стали крупными капиталистическими предприятиями. В результате у газет появилась неизбежная тенденция поддерживать точку зрения крупных компаний, проявляя незначительный интерес, если не прямую враждебность к мнению организованных рабочих. Мы вправе утверждать, что наша пресса свободна, делая при этом существенную оговорку, что открытие новых газет и отсюда распространение новых взглядов стало в Америке очень трудным делом. Свободная конкуренция в ее прежнем понимании здесь так же ограничена, как и в других областях американской экономики.

Правда, в крупнейших городах существуют газеты, которые придерживаются различных взглядов, но в небольших городах, с ограниченными средствами, становится все труднее иметь больше одной газеты. В обзоре деятельности монополий, издающих провинциальные ежедневные газеты (напечатанном в журнале «Йейл ло джорнел» в июне 1952 года), Джон Г. Саймон указывает, что свыше 80% всех городов, где выходят местные ежедневные газеты, имеют только одну газету, и в большинстве городов, где имеются две или больше газет, они принадлежат одному издателю. М-р Саймон выяснил, что издатели-одиночки обслуживают почти половину всех городов, имеющих свыше 100 тысяч человек населения, и что общее число ежедневных газет за период с 1909 по 1950 год сократилось на $\frac{1}{4}$. Огромные города, вроде Нью-Йорка, могут иметь большое число газет, предоставляя своим читателям широкий выбор. Но этот выбор очень ограничен в небольших городах, где издатели немногих существующих газет стараются придерживаться строго консервативного курса, и либералы не пользуются сочувствием в редакциях.

Газеты в Америке страдают и другими профессиональными недостатками. Они слишком часто поддаются нажиму со стороны рекламодателей, которые приносят газетам от половины до $\frac{3}{4}$ всего их дохода и к мнению которых газеты почтительно прислушиваются. Квинси Хоу в своей книге «Информация и как ее понимать» пишет: «Учитывая важность дохода от рекламы, вы, конечно, не вправе

ожидать, чтобы средняя американская газета критиковала крупнейший в городе универсальный магазин за недостаточную безопасность в пожарном отношении или потогонную систему труда»¹. Американские газеты проявляют исключительное равнодушие к реформам и беспечность в отношении репутации отдельных лиц, но при этом болезненно чувствительны к критике в их собственный адрес². Наша пресса по-прежнему не считается с общественным мнением. «Я не знаю ни одного случая,— заявляет в своей книге «Умирающая газета» Освалд Гаррисон Виллард,— когда общественное мнение существенным образом изменило бы взгляды и политику какой-либо ежедневной газеты»³. Виллард также утверждает, что точность и объективность американских журналистов за последние сто лет снизились. Хотя газеты в своих передовых статьях и превозносят священные принципы свободы печати, все же, по мнению Морриса Эрнста, они не проявляют твердости в открытой борьбе за их осуществление.

«Насколько мне известно,— саркастически замечает он,— газеты никогда на деле не участвовали в борьбе за свободу печати... За последние двадцать лет мне пришлось разбирать около ста судебных дел, касавшихся свободы печати. Мне известен только один настоящий вклад со стороны печати...— поистине прекрасное заявление, сделанное адвокатами газеты «Чикаго трибюн» в защиту Ниэра в знаменитом деле Ниэра против штата Миннесота»⁴.

В эпоху, когда массовые средства пропаганды играют выдающуюся роль в жизни Америки, газеты оказывают огромное влияние на общественное мнение. Конечно, они являются частными предприятиями, но, как и у предприятий общественного пользования, у них есть свои обязанности по отношению к публике; эти обязанности не смогут быть выполнены, если газеты станут пропагандировать узко односторонние взгляды или ссылаться на свое право

¹ Quincy Howe, *The News and How to Understand It* New York, Simon and Schuster, 1940, p. 39.

² Резкий на язык, но честный в своей критике Гаролд Л. Икес подробно документирует это положение в своей книге «Американская палата лордов» («America's House of Lords»), посвященной газетному делу.

³ Oswald Garrison Villard, *The Disappearing Daily*, New York, Knopf, 1944, p. 26.

⁴ Harold L. Ickes, *America's House of Lords*, New York, Harcourt Brace, 1939, p. 131 n.

частных предприятий быть пристрастными по своему выбору. Теоретически сама пресса соглашается с этим. Пункт третий из числа семи этических правил, принятых в 1923 году Американским обществом газетных издателей, гласит: «Необходима свобода от всяких обязательств, за исключением верности общественным интересам. Защита чьих бы то ни было интересов, противоречащих общественному благу, по каким бы то ни было основаниям несовместима с понятием честного журнализма». На деле, однако, защита общественного блага не всегда преобладала.

И все же могущественное влияние прессы не является непреодолимой преградой для свободного выражения публикой своих личных взглядов. Это красноречиво подтверждается пятью из последних шести кампаний по выборам президента, когда всякий раз кандидат, опиравшийся на активную поддержку прессы, терпел поражение. Даже во время выборов 1952 года, когда основная масса газет поддерживала кандидатуру победителя, газеты выступали значительно более широким фронтом, чем избиратели. Согласно статистическим данным журнала «Редактор и издатель», 67% обследованных им газет поддерживали генерала Эйзенхауэра и только 14% — губернатора Стивенсона¹, тогда как голосование дало соответственно 55 и 45%. Еще более показательными были данные по тиражу. Тираж газет, поддерживавших кандидата республиканцев, составлял 40 млн. экземпляров, а тираж газет, поддерживавших кандидата демократической партии, — 5 млн. Если Эйзенхауэр пользовался поддержкой прессы во всех штатах, то Стивенсон не имел в девяти штатах вообще никакой поддержки со стороны издателей².

Этот разрыв между прессой и публикой можно изжить только в том случае, если все самые различные группировки в стране будут иметь свои печатные органы, так, чтобы американская пресса выступала от имени нации в целом, а не выражала взгляды какой-то ограниченной части населения. Тогда качественная сторона работы наших газет будет равна изумительной полиграфической технике. Между тем самый акт удивительно полного и быстрого сбора информации, характерного для американской прессы, играет свою роль в деле повышения общего уровня

¹ По сообщению газеты «Нью-Йорк таймс» от 31 октября 1952 г.

² Там же.

читателя, о чем слишком часто забывают или принимают его за нечто само собой разумеющееся. Изложение фактов, сообщение информации, описание событий дает тот сырой материал, на основании которого люди могут составить свое собственное представление и сделать свои собственные выводы в отношении мировых событий. Без такого материала очень трудно бороться против невежества публики. В этом смысле американские журналисты достигли успеха, с большой оперативностью сообщая о делах нашей планеты и сохраняя при этом свое независимое положение среди газет всего мира.

II

Все сказанное нами о газетах относится в полной мере и к журналам. По существу, отношения между ними аналогичны отношениям между радио и кино: так часто совпадают их задачи и результаты деятельности. Хотя главной целью газет является информировать читателя, а журналы стремятся и информировать его, и развлекать, но все же и те и другие идут к своим целям почти одинаковыми путями и приходят к одному и тому же ограниченному культурному знаменателю.

Редакторы журналов в отличие от деятелей радио и кинорежиссеров не считают, что они выпускают низкопробную продукцию в расчете на публику, обладающую вульгарным вкусом, умственно ограниченную и страстно желающую все получить в упрощенном виде. Режиссеры утверждают, что публика ленива, устала и чуть ли не впала в слабоумие. Редакторы журналов обычно отрицают это и серьезно относятся к своей продукции даже при самом малом ее количестве. За редким исключением, редакторы сознают свою большую ответственность перед читателями и относятся к ним не цинично, а искренне. Считая себя орудиями общественного блага, они по временам выступают как поборники гуманных идей. Журнал «Вумэнс хоум компанион», используя иллюстрации, в течение ряда лет ратовал за борьбу против венерических болезней и алкоголизма, описывая печальное состояние алкоголиков, указывал на недостатки детских учреждений, зверское обращение с больными в психиатрических лечебницах и выступал по целому ряду подобных вопросов, имеющих общественное значение.

Однако эта позиция редакторов еще не сделала средний журнал с массовым тиражом сколько-нибудь более содержательным, чем средний кинофильм. Оценка умственных способностей читателей со стороны редакторов, при всей ее искренности, не выше, чем в области других средств массовой пропаганды. Журнальная беллетристика, как правило, легкого жанра, рисует жизнь в розовом свете. Есть журналы, помещающие столько сексуальных подробностей и сплетен, сколько пропустит цензура. Другие, учитывая подсознательную страсть читателей к насилию, показывают на своих страницах столько ужасов, сколько им удастся выискать, начиная с фотографий мертвых солдат, напоровшихся на колючую проволоку, вплоть до снимков, изображающих автомобильные катастрофы, где вывалившиеся мозги и внутренности тщательно обозначены стрелкой или крестиком (при этом чем естественнее вышел снимок, тем лучше). Третьи, будучи уверены, что публика не в состоянии переварить слишком большое количество прозы, пичкают ее картинками, жирными заголовками, карикатурами, фотокорреспонденциями и цветистыми «произведениями искусства». И все это делается без цинизма, в духе искреннего угождения вкусам читателя.

Такой взгляд на читателей — во многом, безусловно, правильный — помог многим журналам нажить себе капитал. Публика действительно любит легкий самообман и благополучные концовки; люди распутны и проявляют интерес к насилию. Картинки всегда занимательны, а далекая от жизни беллетристика — это дурман, против которого немногие могут устоять. Успех популярных журналов — от «Тру стори» до «Лайф» — основан на умелом использовании слабостей человеческой природы. Но так же, как и в области кино, подход здесь однобокий. Читателя привлекают не только отношения полов, насилие или жестокость и мир фантастики. Его в одинаковой степени интересует и серьезный показ действительности, новый подход к решениям житейских проблем и занимательная, но не безжалостно выхолащенная и банальная литература. Есть, конечно, журналы, которые действительно откликаются на такие запросы читателя, например «Нью-Йоркер», «Харперс мэгэзин» и «Атлантик мансли». К числу содержательных журналов, вдумчиво освещающих различные вопросы, относятся «Форчун», выражающий взгляды

консервативной интеллигенции, «Нью рипаблик», сохранивший в трудные времена ярко выраженные либеральные взгляды, «Нейшн», который за последние годы стал придерживаться крайне левого направления, и другие — вплоть до небольших журнальчиков, имеющих свои собственные эстетические и политические программы. Но тираж всех этих журналов составляет только тысячи экземпляров, тогда как тираж их конкурентов из числа дешевых и дорогих популярных журналов выражается в миллионах экземпляров, причем доходы тех и других от реклам представляют еще более разительный контраст. С точки зрения быстрой, молниеносной выгоды можно извлечь гораздо больше прибыли при помощи готовых штампов в беллетристике, обилия иллюстраций и сентиментальных фантазий, чем каким-либо другим способом. Капиталовложения, рассчитанные на удовлетворение умственных запросов публики, могут оказаться, безусловно, прибыльными, но лишь в отдаленном будущем, а американская экономика еще не приспособлена к перспективному планированию. Мы страстно увлекаемся возможностью быстрой наживы и легкого успеха и не любим решать сложные задачи, требующие терпения и выносливости. По мере того как издание новых журналов становится все более трудным и дорогостоящим делом, усиливается стремление немедленно извлечь прибыль, и соответственно отпадает желание выпускать те издания, которые сулят выгоду только в далеком будущем.

Чтобы не обанкротиться, редакторы журналов, как и издатели газет, должны быть твердолобыми бизнесменами. В их непосредственную задачу не входит любой для себя ценой поднимать культурный уровень публики. Но все же потеря потенциальной читательской аудитории и ставка на минимальные, а не максимальные запросы читателей ограничивают возможность не только умственного развития читающей публики, но и расширения рынка сбыта для самих журналов. С чисто экономической стороны потеря любых возможных потребителей наносит серьезный ущерб производителю. Повышение редакционных стандартов с целью привлечения более интеллигентного читателя (но не в ущерб «развлекательности») расширило бы рынок сбыта для журналов и одновременно улучшило бы вкусы читающей публики. Прибыль и умственное развитие могут сосуществовать здесь не хуже, чем в какой-

либо другой области. Успехи журналов в этом направлении весьма незначительны.

Обсуждаемые в журнальных статьях вопросы, за редким исключением, рассматриваются поверхностно, а журнальная беллетристика так же похожа на реальную жизнь читателей, как и «мыльные оперы», передаваемые по радио, или большинство кинофильмов. Журналы оказываются далеко не столь солидными, как можно было бы предполагать, судя по их объему, тиражу и занятым в них журналистским и писательским силам. В этом отношении они напоминают газеты. Как и газеты, журналы добровольно объявляют благо населения одной из своих главных целей. Но, отказываясь подходить всерьез к чувствам читателей, как к чувствам взрослых людей, журналы, подобно кинофильмам, упускают большую возможность стать необходимым элементом духовной жизни нации.

И все же каковы бы ни были цели и недостатки американских журналов, они выпускаются с таким блеском и изысканностью внешнего оформления, что с ними не могут идти в сравнение журналы никакой другой страны; во всем мире журналы Америки считаются одним из уникальных ее достижений. Ярким примером блестящего внешнего оформления являются дорогие журналы с их веленовой бумагой и красочными обложками. За этой прекрасной внешней стороной скрывается довольно убогое содержание, поверхностно затрагивающее целый ряд вопросов, затерявшихся среди потоков навязчивых реклам. За последние годы, однако, редакторы дорогих журналов стали признавать растущую тягу к знаниям со стороны публики и постепенно отводить больше места для репортажа и комментариев. Журналы «Колльерс» и «Сатэрд ивнинг пост» стали печатать мемуары выдающихся политических деятелей. Дорогие журналы, предназначенные для женщин, во главе с журналами «Ледиз хоум джорнел» и «Вумэнс хоум компанион» повели борьбу против таких зол, как антисанитарные условия в ресторанах и дискриминация в отношении незаконных детей. Все это давалось сверх обычного, теперь значительно расширенного материала,— по вопросам кулинарии, мод, ухода за детьми и других отраслей домашнего хозяйства. За последние годы появился новый дорогой журнал для юношества «Семнадцать лет». Этот журнал не без успеха пытается в полусерьезном тоне беседовать с молодежью

об интересующих ее проблемах и жизненном опыте и украшает свою беллетристику иллюстрациями известных американских художников.

Но если дорогие журналы в своем фактическом материале стремятся как-то откликаться на требования времени, то их беллетристика остается по-прежнему без изменений. Их типичный рассказ — это один из самых неудобоваримых и, безусловно, самый примитивный вид популярной журнальной литературы: всегда одни и те же стандартные типы, острые сюжетные повороты, почти сразу же направляемые в привычное русло штампа, и слащавые концовки. Сюжеты почти всегда одинаковы. Они беспрерывно вращаются вокруг одних и тех же тем: юноша встречает девушку или муж и жена вновь обретают друг друга после временной размолвки. Иногда авторы проводят своих штампованных героев через стандартную цепь приключений в различной обстановке или через серию детективных происшествий, где конечное торжество добра достигается без ущерба для добродетельных героев. Внимательный читатель сможет обнаружить небольшие отклонения качественного порядка. Если принять за норму рассказы, печатаемые в «Сатэрди ивнинг пост», то рассказы в «Колльерс» покажутся чуть-чуть живее, рассказы в «Космополитэн» — несколько менее связанными условностями, в «Гуд хаускипинг» — более солидно построенными, в журналах для женщин — значительно более слащавыми, лакировочными и сентиментальными. Но фактически все они с утомительно избитым содержанием, и внутренняя жизнь их героев одинаково пуста.

Есть одна группа дорогих журналов, представляющих собой исключение из общего правила: помещаемые в них рассказы и статьи значительно более серьезны и содержательны. Это, как ни странно, журналы мод, главная цель которых заключается не в том, чтобы развлекать читателей своим содержанием, а в том, чтобы информировать мужчин и женщин с различным доходом, как им следует одеваться. К таким журналам относятся прежде всего «Харперс базар» и «Мадемуазель». В их рассказах нет стандартных формул, столь обычных для других журналов. В их статьях часто со знанием дела разбираются основные социальные и культурные проблемы современности. Однако это высокое качество не распространяется на большую часть их содержания. Большинство печатае-

мого в журналах мод материала пропитано в различной степени потоками надуманной, романтической идеализации жизни; в нем делается нелепо преувеличенный упор на одну лишь физическую привлекательность, как будто только она и придает смысл жизни. Если бы читательницы журналов принимали все это за чистую монету, им пришлось бы тратить основную часть своего времени, энергии и средств на то, чтобы добиться такой же лакированной, бессмысленной внешности, как у тех манекенов, чьи восковые, кукольные лица глядят с блестящих страниц журналов. Вообще не так-то просто найти интересный редакционный материал, потонувший в море статей о модах и кричащих рекламных объявлений.

Журналы мужских мод во главе с журналом «Эсквайр» выдерживают примерно такое же соотношение: немного высококачественной редакционной литературы и огромное количество мод и чисто мужского развлекательного материала. Их карикатуры чаще всего рискованные; юмор почти целиком предназначен «для курящих». На страницах журнала «Эсквайр» мы встретим смелого, неотразимого мужчину, цель жизни которого наслаждаться обществом наивозможно большего числа привлекательных девушек, избегая при этом брачной западни. Холеный, элегантный холостяк, с манерами светского человека и без всякого чувства моральной ответственности, — таков идеал, к которому призывает большинство рекламных объявлений, сенсационных и даже серьезных статей. Нигде не демонстрируется так открыто соперничество между представителями обоих полов в его самой непримиримой форме, как на сверкающих, солидных страницах журналов мужских мод. Эти журналы очень энергично выдвигают различные идеи и проявляют изобретательность, но лишь в области взаимоотношений полов, одежды, питания и спорта, причем сведенным к ультрамодным масштабам.

То, что дорогие журналы печатают на веленовой бумаге, дешевые журналы воспроизводят на простой. Круг читателей дешевых журналов в целом менее требовательный, иллюстрации в этих журналах представляют собой дешевые карандашные рисунки вместо дорогих произведений искусства, их рекламы — грубее и в основном рассчитаны на слои населения с более низким доходом. Но они также развлекают своих читателей, удовлетворяя их

потребность в идеализированной любви и приключениях. Они делают это без всяких претензий. В прозе, помещаемой в дешевых журналах, упор делается на сюжет за счет характеров, и в любом жанре все приносится в жертву быстро развивающемуся действию: в рассказах о Западе, таинственных и сверхъестественных историях, в детективных повестях, в рассказах о спорте, в научно-фантастических и приключенческих романах. Единственным исключением являются дешевые журналы, печатающие чисто любовные рассказы; в них можно найти бесконечное множество чувствительных диалогов и, несмотря на заманчивые заголовки на обложках, очень мало действия. Иногда в дешевых журналах встречаются на редкость хорошие рассказы (в них печатались, например, многие ранние рассказы Дашиэлла Хэммета и Реймонда Чэндлера), но чаще они бледны и скучны. Рассказы в дешевых журналах, как и в дорогих, уводят читателя от реальной жизни в мир фантастики, в них строго соблюдаются условности надлежащего морального поведения¹, и они имеют так же мало общего с действительностью, как и фантастические повести о межпланетных путешествиях, написанные вычурным стилем. Более грубые, менее выдержанные, чем дорогие журналы, рассчитанные на менее образованную читательскую массу, дешевые журналы представляют собой чудо бездумной литературы, развлекательной, но бессодержательной, где один эпизод молниеносно сменяется другим.

И все же они выглядят поразительно интересными и житейски мудрыми по сравнению со своеобразными изданиями, занимающими среднее место между дешевыми и дорогими журналами, — так называемыми «журналами признаний». Сами их названия — «Правдивый рассказ», «Правдивые романы», «Правдивые признания» — указывают на то, что целью этих журналов является «правда». Эта правда почти всегда представляет собой «автобиографический» рассказ о прерванном или несостоявшемся романе; обычно повествование ведется от лица женщины, литературно необработанным, простым языком. Одно из типичных «признаний» — рассказ о жизни девушки в не-

¹ Этические нормы и взаимоотношения полов трактуются также в журнале «Десятицентовый детектив» (теперь продающийся за 15 центов), как и в журнале «Макколлз».

большом городке, где ее вдовствующий отец имеет постоянную, но не очень прибыльную работу в качестве директора местного холодильника. Девушка влюблена в почтового служащего, надежного, преданного ей молодого человека; но отец ее не хочет, чтобы она вышла замуж, так как в этом случае он лишится в лице своей дочери домашней хозяйки, заботившейся о нем после смерти жены. Наша героиня разрывается между долгом перед своим отцом (она обещала умирающей матери заботиться о нем) и любовью к своему поклоннику. Она находится перед этой довольно сложной дилеммой на протяжении почти всего своего рассказа, оставаясь все время мечтательной, серьезной и на редкость хорошей. Но как раз в тот момент, когда тупик делается безысходным, вмешивается божественное провидение в образе красивой вдовы, приезжающей на холодильник (почему она это делает, остается непонятным, так как вдова явно не из числа тех, кто сам ездит за льдом); она встречает отца и агрессивно влюбляется в него с первого взгляда. Он готов отдать ей руку и сердце, но из-за дочери колеблется. Это приводит к драматической сцене между вдовой и нашей самоотверженной героиней. Вдова, готовая уже ринуться в бой, обнаруживает, что девушка тоже мечтает выйти замуж и смотрит на свою будущую мачеху как на освободительницу. История заканчивается под монотонный звон колоколов на мелкобуржуазной свадьбе. Стиль всего рассказа — вычурный и малограмотный; отнюдь не придавая правдоподобия сюжету и характерам героев, он лишь подчеркивает их утомительную пустоту. «Журнал признаний», рассчитанный на жаждущих любви женщин, выдвигающий на первый план в своей беллетристике обыденную, знакомую читательнице обстановку, чтобы тем самым сделать для нее чтение более интимным, соблюдающий строгие моральные нормы, стоит, по существу, на мертвой точке эмоциональной пустоты. Он предлагает своим читательницам успокаивающие средства, которые от начала до конца представляют собой суррогат подлинной литературы, являясь плодом рук ремесленников; они лишены признаков искусства, отличаются дурным вкусом, и содержание их сводится к эмоциональному и литературному нулю.

Более живыми, чем «журналы признаний», и рассчитанными на более широкие и разнообразные круги читателей являются комиксы, которые в течение 40-х годов

с поразительной быстротой наводнили всю страну и, несмотря на растущее возмущение их наиболее отрицательными чертами, продолжают пользоваться неизменной популярностью. По существу они представляют собой разновидность дешевых журналов для детей (хотя имеют и взрослых читателей среди самых разнообразных кругов общества); в них сочетаются литературные принципы обычных дешевых журналов с техникой комических картинок. Есть детективные комиксы, комиксы из жизни Запада, приключенческие комиксы всех видов. Комиксы о Сверхчеловеке и капитане Чудо аналогичны таинственным и сверхъестественным повестям в дешевых журналах. Уолт Дисней, Рой Роджерс, Джин Отри, Дейл Иванс используют комиксы по линии кино. Передачи об «Одиноким скитальце» и «Свидание с Джуди» делают то же самое на радио.

Методы широковещательных реклам и цепных изданий, легшие в основу деятельности дешевых журналов, применяются также и в области комиксов; уровень литературных вкусов и техника повествования у них тоже одинаковы. Комиксы выпячивают ультраловкие действия, всячески оживляя их картинками; связь между эпизодами весьма слаба, ее хватает лишь на то, чтобы продлить внимание читателя от одной страницы цветных картинок до другой. Комиксы также быстро и щедро удовлетворяют стремление отвлечься от действительности, так широко распространенное в мире, где становится все труднее переносить действительность. Комиксы также придерживаются требований общепринятого морального кодекса, действующего повсюду в дешевых журналах: в них открыто не упоминается проблема пола, преступники оказываются наказанными, а герой и героиня торжествуют.

И все же, как и кинофильмы о преступлениях, которые формально кончаются поимкой преступника, комиксы так драматически изображают само преступление, что в воображении молодежи оно часто становится чрезвычайно привлекательным. Это послужило одной из причин, вызвавших протест родителей и общественных организаций против комиксов; этот протест, так же как и в случае организованного выступления против кинофильмов, заставил издателей книг-комиксов установить свою собственную внутреннюю цензуру. Хотя имелись отдельные случаи, когда дети, возможно под влиянием комиксов, убивали и

истязали друг друга, но все же сомнительно, чтобы комиксы являлись причиной роста преступных тенденций, как нельзя утверждать, что гангстеры вышли из среды юных зрителей гангстерских фильмов, наводнивших экраны в 30-х годах. Покойный Джимми Уокер однажды заметил, что ни одна девушка никогда еще не была совращена книгой. Это замечание применимо и к мальчикам-подросткам. Комиксы можно считать книжной макулатурой. Они, конечно, непригодны как замена хорошей литературы для юношества. Они примитивны по содержанию и исключают необходимость мыслить в такой же степени, как и стандартные дешевые журналы и «журналы признаний». Они проникают даже в область серьезной литературы, сокращая классиков до минимальных размеров; вполне возможно, что появится целое поколение, которое не читало Скотта, Стивенсона, Шекспира, Мелвила и других классиков и будет знакомо только с пародиями на их произведения в виде комиксов. Во многих отношениях комиксы портят вкус и сужают интересы своих читателей, постоянно подменяя действительность мелодрамой. Эти обвинения в адрес комиксов сами по себе уже достаточно серьезны. Обвинять же комиксы в том, что они провоцируют преступления, нарушают эмоциональное равновесие людей и вызывают у них психические расстройства,— значит слишком раздувать их влияние. Как и у большинства других журналов, их влияние скорее ограничительного, чем побудительного порядка. Если они не способствуют развитию ума, то это потому, что они просто его игнорируют, а не потому, что прилагают все усилия к его подавлению.

Страшивается, как может занятой американец, при таком обилии периодических изданий, сходящих с печатных машин, и при растущем темпе жизни, быть в курсе текущих новостей и идей? В поисках выхода из положения наша техническая изобретательность снова пришла ему на помощь и произвела на свет журналы-дайджесты. Теперь отдельному читателю нет надобности беспомощно лавировать в огромной массе газет и журналов с целью выяснить, что происходит в мире,— за него это делают редакторы дайджестов. Они выбирают самые важные, по их мнению, новости и наиболее интересные статьи и излагают их в краткой и, более того, в очень краткой форме.

Есть дайджесты во всех отраслях знаний: общественно-политические, научные, религиозные, литературные, дайджесты с общей информацией. Появилось даже издание под названием «Квик» («Быстрый»), объявившее себя «дайджестом информационных дайджестов». По этому поводу Клифтон Фейдимэн язвительно заметил: «Можно легко представить себе появление дайджеста для «Квика» — какого-нибудь «Квикера» («Более быстрый») и, наконец, дайджеста для самого «Квикера» — «Квикест» («Наибыстрейший»). А от «Квикеста» следующий логический шаг — отказ от чтения новостей вообще...»¹

В своей удачной попытке сэкономить время читателя, журнал-дайджест часто исключает необходимость думать вообще. В нашей безумной погоне за временем мы стараемся избавиться от таких поглощающих время занятий, как чтение и размышление. Дайджесты с их категорическими редакционными мнениями диктуют нам не только то, что следует читать, но и то, что следует думать, и таким образом снижают нашу способность, а в конечном счете, и наше желание самостоятельно мыслить.

Самым крупным среди журналов-дайджестов является «Ридерс дайджест». Многие из числа миллионов его читателей смотрят на него как на кладезь всей информации и моральной премудрости. «Дайджест» затрагивает чуть ли не все жизненные проблемы и предлагает готовое и оптимистическое решение. Он служит настольной книгой, содержащей рецепты от всех зол: алкоголизма, меланхолии, физических болезней — от обычной простуды до рака; он дает советы по всякого рода деловым и трудовым проблемам, вопросам брака, моральным и политическим вопросам. В отношении этих и других трудностей, с которыми приходится сталкиваться людям, журнал обладает неиссякаемым оптимизмом, основанным на твердом убеждении, что настойчивость, достаточно крепкая вера и правильный совет приведут страждущего к победе над любым злом. Журнал поощряет настойчивость, проповедует веру и дает доброжелательные советы с такой энергией и таким обилием документации, что только самые упорные скептики могут устоять против них. Рассказы об индивидуальных случаях затруднений, сообщаемые в неистощимо бодром тоне, с жизнерадостным подходом к самым сложным

¹ «Тайм» от 15 августа 1949 года.

проблемам, чередуются в нем с кратким изложением самых ярких журнальных статей за месяц, новейшими шутками и эпиграммами; тут же напечатан сокращенный текст самой популярной в данный момент книги. Журнал продается по 25 центов за книжку и не имеет конкурентов. Моральные взгляды, критерии и даже идиоматические выражения журнала точно такие же, какие свойственны среднему американцу. В этом смысле журнал обладает поразительным, сверхъестественным чутьем: он никогда не высказывал мнения и не занимал позиций, которые не были бы одобрены подавляющим большинством его читателей или в крайнем случае вызвали бы сильные возражения с их стороны. Если какой-либо журнал может оказывать непосредственное влияние на привычки и образ мыслей своих читателей, то это, несомненно, «Ридерс дайджест». В результате всего этого и сложилось его единственное в своем роде изумительное положение не только в смысле тиража, который достигает астрономических цифр, но и как силы, которая чрезвычайно близка к превращению в общественный институт.

И все же цели и деятельность журнала «Ридерс дайджест» направлены, говоря словами Монтеня, на обслуживание читателей, а не на формирование их умственных способностей. Журнал охватывает огромное количество вопросов и выпускает потоками обработанные факты и выводы. Его читателям нет необходимости думать — это уже за них сделано. «Дайджест» имеет определенное политическое лицо: как и большинство американских журналов, он придерживается четко выраженных консервативных взглядов. Все старомодные деловые приемы неизменно вызывают у него восторг, а почти всякий проект государственного регулирования или помощи — припадок ярости. Его точка зрения по любому предмету высказывается безапелляционным тоном и в неизменно сентиментальной атмосфере, которая окутывает читателя теплой волной дружеского участия.

Короче говоря, «Ридерс дайджест» создает настроение сентиментального оптимизма — одну из основных традиционных американских черт — с великолепным мастерством, типичным для американских готовых изделий. Так тщательно отработаны его упор на условную мораль, его тон сердечного дружелюбия, его согласие с общепринятыми гражданскими добродетелями и господствующими

ложными представлениями о системе свободного предпринимательства (которое, как утверждают многие экономисты и промышленники, уже давно перестало быть свободным), что он мог бы служить своим органом для таких типично консервативных обществ, как «Клуб лосей», «клуб Кивани», «Ротари-клуб», клубы «Чудаки» и «Хранители раки» или общество «Американский легион». «Ридерс дайджест» не отражает ни лучших, ни худших сторон американской жизни, но старается уловить и отразить каждый нюанс поверхностного мышления, сильных чувств и безграничной энергии среднего американца.

Как и «Ридерс дайджест», два других известных общественно-политических журнала-дайджеста — «Тайм» и «Ньюсуик» — имеют четко выраженные редакционные взгляды. Мнения их редакторов придают определенную окраску и определенное направление помещаемым в них отчетам о текущих политических событиях. Расширив круг своей деятельности, которая включает теперь не только общественно-политическую информацию, но также изобразительное искусство, музыку, кино, театр, литературу, они преподносят своим читателям готовые мнения и советы по тем именно сторонам жизни, в которых им более всего следовало бы, учитывая разницу вкусов, привыкать разбираться самостоятельно. Рассчитанные на более образованный, чем подписчики «Ридерс дайджест», круг читателей, эти журналы говорят со своими читателями на прекрасном литературном языке. Журнал «Тайм», в частности, известен своим особым стилем и даже выработал свой собственный специфический лексикон. Оба журнала представляют собой любопытный пример того, как четкий и умело построенный литературный стиль может быть использован в ущерб умственной деятельности человека.

Есть еще один вид упрощенных изданий, созданных для американцев, «слишком занятых, чтобы читать», — это журналы иллюстраций. На картинке можно показать в пять секунд то, о чем пришлось бы читать целых пять минут. Или, говоря словами одного редактора, каждая иллюстрация стоит тысячи слов. Как и энергичный параграф дайджеста, броская фотография дает читателю мгновенный контакт с миром ¹.

¹ Остроумный радиокомментатор Фред Аллен отнесся скепти-

Крупнейший из иллюстрированных журналов — «Лайф», где фотографии доведены до такого совершенства, что стали чуть ли не новым способом сообщать читателю новости. Здесь тоже бросаются в глаза масштабы и разнообразие средств, которыми располагают редакторы, и достигнутые ими несоразмерно малые результаты¹. Редакторы журнала «Лайф» имеют в своем распоряжении отличный аппарат для сбора и сообщения информации о событиях дня и чрезвычайно умело используют его. Вместе с тем они стремятся воспитывать читателей и делают это беспристрастно. Кроме того, у них есть своя редакционная политика, как и у журналов-дайджестов, — явно односторонняя. Эти три задачи — репортаж новостей, воспитание читателей и выражение редакционных взглядов — осуществляются не согласованно, а отдельно по различным каналам, так что «Лайф» часто выглядит не как один, а как три разных журнала. Такая распыленность его задач и трехсторонность устремлений обедняют содержание журнала, снижая его потенциальные возможности. Не отражаясь заметно на успехе журнала в части его занимательности, они ослабляют его влияние; прочитав журнал, читатель испытывает смутную неудовлетворенность, несмотря на все очарование его фотографий и эффектную прозу.

Обычное содержание любого номера журнала «Лайф» представляет собой смесь разнородных элементов. Замечательные (и вместе с тем ужасные) снимки детей, умирающих от голода на улицах Китая и Индии, появляются рядом с репродукциями картин великих художников эпохи Возрождения; за ними идут снимки новейших опытов над белыми мышами в области изучения рака, или биографический очерк о деятельности какого-нибудь американского промышленного магната, или фоторепортаж о самом

чески к этой зрительной концепции: «В настоящее время все предназначено для глаза — «Лайф», «Лук», комиксы. И ничего нет для ума. У грядущего поколения будут глазные яблоки размером с дыню и никаких мозгов» (цит. в книге Джона Кросби «Из синевы» — John Crosby, *Out of the Blue*, New York, Simon and Schuster, 1952, p. 33).

¹ Эта диспропорция характерна не только для журналов. Она относится также к другим аспектам американской жизни. В области политики, например, наша промышленная и военная мощь намного превосходит нашу способность распространять в мире демократические и свободолюбивые идеи.

талантливым молодым американском писателе текущего года, или обзор перелетных птиц атлантического побережья. Нет такого узкоспециального предмета, который ускользнул бы от внимания журнала. В журнале рассматриваются вопросы религии и философии даже в их наиболее специфических аспектах. Через определенные промежутки времени помещаются обзоры литературы, кинофильмов, театра, различных отраслей искусства вплоть до художественных изделий ручного ремесла. Ботаника, зоология, медицина, новейшие культы и моды, популярные танцоры, убийцы, автомобильные катастрофы в их самой страшной форме — все это рассматривается если не под микроскопом, то по крайней мере с их мелодраматической стороны. В результате получается бесцельная всякая всячина.

Среди иллюстраций вкраплены редакционные мнения журнала «Лайф»; им мало редакционной полосы — они пронизывают многочисленные политические статьи, касающиеся важнейших текущих событий. Редакционные высказывания отражают точку зрения Генри Люса на американский век. «Лайф» утверждает, что американцы призваны установить контроль над великими торговыми путями и заполнить собой создавшиеся в сфере международного влияния вакуумы, так как Америка является самой динамической и технически развитой в мире державой. Чтобы обеспечить и удержать эти позиции, журнал призывает к эффективной деятельности в области управления страной, вооруженных сил и внешней политики. Призыв к эффективности мелькает на страницах журнала значительно чаще, чем упоминание о демократии, и определяет его политику в важнейших вопросах. Журнал «Лайф», по-видимому, меньше интересуется вопросом о моральном превосходстве демократического общества над диктатурой, чем вопросом о его технических преимуществах. Поэтому передовые статьи его наполнены призывами к «оперативности», которая при энергичном применении ее в области внутренней и внешней политики обеспечит будущее страны. Упор делается все время не столько на этику, сколько на вооруженную силу.

С полиграфической точки зрения журнал оформлен красиво и изобретательно, но в своих политических суждениях он слишком напорист, догматичен и нетерпим. В нем содержится множество краткой информации по са-

мым различным вопросам, лишенным всякой внутренней связи. Здесь опять-таки мы встречаемся с характерной для американского предприятия продукцией: шикарно оформленное издание, полное внешней привлекательности, которому, однако, недостает внутренней глубины и органического единства. В итоге журнал жертвует солидностью и содержательностью ради чисто внешнего блеска и красоты.

Из множества американских журналов следует особо выделить ряд периодических изданий, которые прямо адресуются к серьезной интеллигентной аудитории и пользуются у нее исключительным успехом. Примером изданий такого типа может служить журнал «Нью-Йоркер», который еженедельно, даже при отсутствии у него интересной темы, когда он занимается вопросами, не заслуживающими пристального внимания, выпускает маленькое чудо неподражаемого юмора. Его характерная черта представляет собой изложение материала на редкость остроумным, блестящим по стилю языком и неизменно ироническое отношение к окружающему миру. Даже серьезные корреспонденции на политические и военные темы и солидные статьи таких различных авторов, как Ребекка Уэст и Льюис Мамфорд, обычно блещут остроумием. В своих лучших номерах журнал «Нью-Йоркер» сочетает жизненную мудрость, изысканность литературного стиля, высокоразвитый интеллект и такую искусную риторику, что почти все, чего она касается, начинается в ответ искриться и сверкать.

Но одна беспощадная сатира может сама по себе надоесть, поэтому у журнала «Нью-Йоркер» бывают и свои скучные номера, когда его тяжелая артиллерия бьет по мелким целям, и тогда читатель жаждет перемены темпа. Журнал только изредка имеет дело с положительными явлениями, большая же его часть посвящена насмешкам над событиями и людьми, которые почему-либо заслуживают осмеяния. Разоблачать ханжей, дураков и фанатиков всех направлений, безусловно, необходимо. Но, создавая каждую неделю вакуум, очищенный от глупости, «Нью-Йоркер» редко дает взамен что-либо для его заполнения. Справедливо подмечено, что критики, работающие в редакции «Нью-Йоркера», охотнее имеют дело с плохими пьесами, кинофильмами и книгами, чем с хорошими, потому что осуждение всегда дает больше простора для

остроумия, чем похвала¹. Это указывает на узость сферы деятельности «Нью-Йоркера», ту узость, которую он сам умышленно культивирует и которая с точки зрения выработки определенного стиля является, пожалуй, мудрым приемом². Но что делать после того, как недочеты указаны и дураки разоблачены? Мы увидим, что в этом критическом пункте перехода от отрицательного к положительному, от того, чего не должно быть, к тому, что быть должно, «Нью-Йоркер» отстает. Или, точнее, отстает намеренно. Самый остроумный, изысканный и умный журнал в Соединенных Штатах представляет собой в конечном итоге блестящий памятник негативизму, и влияние его длится не больше, чем мелкие нелепости, которые он берет на карандаш.

Но нельзя недооценивать поддержки, которую он оказывает интеллигенции. Относясь с уважением к умственному развитию своих читателей, никогда не потворствуя им и не снижая для них своего уровня, журнал поддерживает веру, хотя бы в очень ограниченном кругу, в способности интеллекта. На своих страницах он изображает мыслящего интеллигента житейски опытным человеком, отбрасывая ограниченность и непрактичность, которые в представлении публики часто связываются с его образом. И, наконец, журнал не менее успешно наделяет его чувством юмора — редким качеством для образа интеллигента, которого обычно изображают тяжелодумом, с замысловатой речью и наклонностями педанта.

Юмор стал действительно исчезать в журнальном мире: «Нью-Йоркер» — единственный крупный журнал в стране, для которого юмор является одной из главных редакционных задач. Вспоминая дни, когда процветали юмористические журналы — ранний «Лайф», «Джадж», «Баллиху», «Колледж хьюмор», — невольно задаешь себе

¹ Когда Г. Аллен Смит прочел в журнале рецензию на свою книгу «Жаворонки в кукурузе», он прибежал домой в страшном возбуждении. «Изумительно! — закричал он с порога своей жене, размахивая номером журнала. — Великолепно! На меня написана умеренная рецензия в «Нью-Йоркере» (рассказано Леонардом Лайонсом в «Нью-Йорк пост» от 9 декабря 1948 года).

² В этом смысле он напоминает стиль Джорджа Мередита, полный сверкающих эпиграмм и иногда утомительной рассудочности, где теплота чувств держится строго под контролем. «Нью-Йоркер» словно сошел со страниц «Очерка о комедии» Мередита.

вопрос, неужели трудные времена — войны и кризисы, выпавшие на долю прошлого поколения, — могут числить среди своих жертв и способность американцев смеяться. «Нью-Йоркер» — единственный оставшийся в живых представитель некогда весьма обширной области журнальной деятельности. То, что он сумел сберечь смех как один из элементов обильной печатной продукции, стоит наравне со значительными услугами, оказанными им интеллигенту, и продолжением давней традиции давать квалифицированные редакционные комментарии.

Есть еще другие серьезные и интересные американские журналы, но они рассчитаны на более узкий круг читателей. Таков журнал «Форчун», являющийся отличным регистратором деятельности крупного капитала, с периодическими экскурсами в область политики и искусства, когда они затрагивают важные коммерческие интересы. Проводимые им исследования исключительно тщательны и объективны, а беллетристика содержательна. То же самое можно сказать о либеральных еженедельниках и тех периодических изданиях, которые известны среди издателей под названием «высококачественные журналы»; самое это название говорит об их характере и достоинствах. Либеральные еженедельники, к числу которых относятся такие издания, как «Нью рипаблик» и «Коммонвэлс», имеют верный, но незначительный круг читателей, и их приходится почти непрерывно субсидировать. Недостаток этих журналов (если это можно считать недостатком) не в том, что пропагандируемые ими взгляды не пользуются популярностью, а в том, что они слишком серьезны. Большинство читателей требует, чтобы журналы, помимо всего прочего, были занимательны и развлекали их — одного серьезного содержания недостаточно. Либеральные еженедельники никогда не были занимательными, а проводимая ими борьба, за исключением кратких периодов, велась в очень сдержанных тонах. Но независимо от числа своих читателей либеральные журналы редко поддавались соблазну сделать свой материал сенсационным или поступиться содержанием ради увеличения числа подписчиков.

Высококачественные журналы, выходят ли они еженедельно, как «Сатэрди ревью», ежемесячно, как «Харперс» и «Атлантик», или ежеквартально как «Америкэн сколар» и «Йейл ревью», охватывают самые разнообразные сто-

роны человеческой жизни; у них неизменно серьезное содержание и хороший литературный язык. Они поддерживают, часто с большим трудом, цивилизаторские и гуманистические традиции Америки. Редакционные взгляды этих журналов в большей мере объективны, чем однобоки; они ставят себе целью не навязывание читателю готовых мнений, а ознакомление его с материалом, на основании которого он может вынести свое собственное суждение.

Наименьший тираж имеют так называемые «маленькие журналы» во главе с «Партизан ревью»; многие из них, как, например, «Антиох ревью», «Кеньон кватерли» и «Эксент», издаются в университетских городках и обслуживают в основном только интеллигентные круги читателей. Но, хотя контингент их читателей невелик и специфичен, было бы неправильно считать, что влияние этих журналов равно нулю. Их заслуги, хотя бы в области беллетристики, исключительно велики. Джеймс Плейстед Вуд в своем исследовании «Журналы в Соединенных Штатах» отмечает:

«В 1946 году три исследователя, тщательно изучившие деятельность маленьких журналов, пришли к выводу, что эти незаметные периодические издания выявили и поддержали около 80% известных романистов, поэтов и критиков, которые стали писать после 1912 года, и что они не только начали, но и продолжают печатать произведения 95% поэтов этого периода»¹.

Деятельность маленьких журналов свидетельствует о том, что не всегда можно судить о значении издания только по числу его читателей. Это часто забывают те, кто слишком поспешно судит о культурном уровне нации по журналам с большим тиражом.

Огромное количество всевозможных — больших и малых — периодических изданий, рассчитанных на любой вкус и на любой уровень грамотности и умения разбираться в сложных вопросах, затрудняет простую и четкую классификацию читательских вкусов американцев. Дело в том, что американская культура настолько богата и разнообразна, что может удовлетворить потребности любого читателя. Помимо уже упомянутых крупных групп журналов, имеются многочисленные специализированные жур-

¹ James Playsted Wood, *Magazines in the United States*, New York, Ronald Press, 1949, p. 274.

налы: фирменные издания, торговые журналы, например «Вименс вэ» и «Айрон-эйдж»; журналы, посвященные здравоохранению, научным вопросам, истории, музыке, изобразительному искусству, педагогике; журналы, предназначенные для всех возрастных групп, начиная от «Беби ток» и кончая «Герiatrics»; издания, выражающие все оттенки религиозных воззрений. Даже американские бродячие сезонные рабочие имеют свой печатный орган — «Хобо ньюс» («Новости сезонника»).

Все это должно предостеречь нас от слишком поспешного вывода, что американская периодическая литература предназначена для единой читательской массы, притом не слишком развитой. Действительно, многие наши журналы рассчитаны на читателей, которые, может быть, умеют читать, но, по существу, недостаточно грамотны. Но длительное существование журналов, предназначенных для высокообразованных читателей, не только свидетельствует о многогранности американской жизни, но и вселяет в нас надежду на появление более зрелых и вдумчивых читательских масс.

III

Среди новейших явлений в области издательского дела можно указать на издание книг карманного размера и книжные клубы. Карманные книги появлялись в Америке в различные времена еще в XIX веке; обычно тиражи этих изданий эффектно росли, а потом свертывались под тяжестью юридических и финансовых затруднений. В современном их виде карманные книги стали выходить как двадцатипятицентовые переиздания, предназначенные для тех миллионов читателей, которые не хотят или не могут покупать книги по обычной цене. Розничная торговля ими первоначально велась на железнодорожных станциях, автобусных остановках и в закусочных, где читатель мог купить что-нибудь подешевле для легкого чтения, чтобы убить время в пути или в ожидании обеда. Но продажа карманных изданий так быстро расширилась, что в одном только 1952 г. было продано более 275 миллионов книг на сумму 65 миллионов долларов. Карманные издания стали продаваться в книжных магазинах, универмагах, кондитерских, на станциях метро, в газетных киосках и, по существу, везде, где только находилась какая-нибудь

щелка, куда можно было их втиснуть. Издатели карманных книг стали развивать также самостоятельную литературную деятельность, предлагая сравнительно малоизвестным писателям крупные авансы за оригинальные рукописи, но пока что их продукция в этой области весьма низкопробна.

Влияние дешевых переизданий на читательскую массу очень велико. Превратив книги в дешевый товар, издатели карманных книг, несомненно, привили привычку к чтению бесчисленным массам людей. Но что это за привычка? На этот существенный вопрос дается два диаметрально противоположных ответа. Сторонники одной точки зрения относятся к книгам в бумажной обложке отрицательно; они считают, что большая часть печатаемого в них материала — это худший сорт литературы, находящийся на уровне примитивного натурализма. Они утверждают, что из-за этого страна наводнена огромным количеством плохих книг, которые могут только портить вкусы читателей. Так как дешевые переиздания конкурируют главным образом с журналами, продающимися примерно по тем же ценам, то есть в первую очередь с дешевыми журналами, они рассчитаны на самые низменные инстинкты публики. Отсюда огромное количество сенсационного материала, смакующего вопросы пола, жестокость и насилие. Более того, торговый аппарат этой новой отрасли книжной промышленности заставляет издателей раздувать сенсационную сторону за счет содержания. Борясь с красочными журналами за тесное место на витрине и соперничая друг с другом, завися от оптовых и розничных торговцев, для которых книги — самый обыкновенный товар, действуя в условиях жестокой конкуренции, связанной с огромными торговыми оборотами и небольшой нормой прибыли, издатели карманных книг, при самых благих намерениях, попадают в заколдованный круг своего собственного издательского механизма. Они вынуждены опираться главным образом на массовый выпуск литературных произведений, дешевых по цене и низкопробных по содержанию. Враждебные издателям критики снисходительно считают, что если их деятельность и не портит вкусы публики, то, во всяком случае, не способствует их развитию. В лучшем случае, роль книг в бумажной обложке для покупателя аналогична роли цепных продовольственных магазинов, продающих менее дорогие продукты, существенно не влияя

на их качество и не меняя коренным образом вкусов потребителя.

Представители противоположной точки зрения согласны, что на первых порах книги в бумажной обложке почти целиком заполнялись таинственными историями, приключениями жителей Запада и сексуальными романами, причем на их обложках красовались только роскошные полуголые молодые женщины. Но процент таких изданий постепенно уменьшался, и в карманные издания стала проникать более серьезная литература. Дэвид Демпси так рассказывает об этой перемене:

«Хотя описания всякого рода преступлений и насилий все еще составляют значительную часть ежегодного выпуска литературы, но тем не менее произошло заметное увеличение количества публикуемой классики. Из тысячи новых названий, вышедших в 1952 году, по крайней мере сто может быть отнесено к произведениям классической литературы. Жанр их разнообразен — от «Признаний святого Августина» до «Князя» Макиавелли. В числе карманных книг нового типа — в ярко-красной обложке — было издано семнадцать серьезных романов. Характерно, что из шестидесяти шести названий, выпущенных в этом году в Соединенных Штатах английской фирмой «Пингвин букс», бест-селлером оказался новый перевод «Кентерберийских рассказов» Чосера, сделанный Невилом Когхиллом»¹.

Далее, оптовых и розничных торговцев начинают постепенно приучать к мысли, что книги есть книги, а не простой товар; отсюда мало-помалу улучшаются и способы книжной торговли, несмотря на дикую конкуренцию в борьбе за каждую торговую точку и быструю распродажу изданий. Хорошая реклама для серьезных книг, может быть и не в таком объеме, как для бест-селлеров, все же гарантирует рост прибылей от изданий более солидной литературы; многие издатели карманных книг убедились, что ввиду почти полного насыщения книжного рынка литературной продукцией «конвейерного» типа дальнейшее развитие их издательств зависит от угождения вкусам более серьезных читателей. В конце концов, если издатели карманных книг и не сделали ничего иного, кроме того, что снабдили миллионы учащихся средних школ

¹ «Нью-Йорк таймс» от 28 декабря 1952 года.

и колледжей текстами классической литературы и общепризнанных шедевров из многих отраслей науки, они все же оставили существенный и неизгладимый след в современной жизни Америки.

В свете указанных выше противоположных мнений становятся понятными некоторые факты. Издатели книг в бумажной обложке, к удивлению некоторых из них, возбуждали у американцев огромную и неутолимую жажду к серьезным и актуальным книгам. Во многих случаях хорошие книги расходились быстрее, чем стандартная продукция. Знакомясь с перечнем переизданных книг, можно наблюдать поразительный рост литературы более высокого качества; ведущие издательские фирмы выделили в каталогах особые разделы под отдельными заголовками, целиком посвященные высококачественным книгам серьезного содержания. Имеются даже признаки того, что эта отрасль издательского дела, в целом освобождаясь от недостатков первого периода своего развития, начинает отходить от уклона к сексуализму и садизму отчасти из-за общественного осуждения, а отчасти в силу растущего понимания, что это в конечном счете принесет ей наибольшую выгоду.

Учитывая прежние молниеносные появления и исчезновения в Америке книг в бумажной обложке, нельзя с уверенностью сказать, что издание их теперь будет продолжаться. Но все же существующая в данный момент тенденция развития этого дела открывает заманчивые перспективы: наступит время, когда хорошие книги станут дешевыми и вполне доступными для миллионов людей. Если это когда-нибудь случится, то карманная книга из объекта ловкой торговой операции, каким она была вначале, превратится в орудие подлинной культурной революции.

Книжный клуб, как и издательство книг в бумажной обложке, по существу, также торговая организация. Он занимается не изданием, а отбором и сбытом тех уже изданных книг, которые, по его мнению, могут понравиться его клиентуре. Книжный клуб снабжает разнообразной литературой читателей, вкусы которых часто уже сложились и которые подписываются на книги ради технических удобств, а также преимуществ, предоставляемых клубом в виде бесплатных книг-премий, скидки с розничной цены и доставки книг непосредственно на дом подписчика.

Много говорилось и писалось о пагубном влиянии книжных клубов на читателей, писателей и издателей и отсюда на американскую культуру вообще. Говорят, что писатели развращаются потому, что, прельстившись крупным гонораром, выпускают штампованные произведения, приобретаемые определенными клубами, вместо того чтобы, следуя своим внутренним побуждениям, развивать оригинальные замыслы. Подобную критику направляют и в адрес Голливуда, обвиняя его в таком же отрицательном влиянии на серьезного писателя, способного создать выдающееся произведение. В этом рассуждении, однако, мало логики. С одинаковым успехом можно утверждать, что писатели, готовые торговать своим талантом, не станут дожидаться гонораров книжных клубов или голливудских контрастов, а найдут какой-либо другой способ продать его ¹. И если таких способов не окажется вообще, то вряд ли тогда эти писатели сядут за стол и за отсутствием другого, более выгодного занятия создадут великие произведения. Ни одного подлинно талантливого романиста-историка нельзя удержать от его благородного замысла перспективой сочинительства для книжных клубов или создания киносценариев по избитому трафарету: пышная обстановка, слащавая любовная история и отчаянное фехтование. Больше оснований предположить, что, предоставленный самому себе, писатель-коммерсант скорее всего не создаст ничего особо выдающегося и художественно ценного.

Однако было бы нелепо отрицать, что книжные клубы оказывают определенное воздействие на серьезного писателя: они не только открывают перед ним соблазнительную перспективу крупного заработка, который сулит ему независимость в денежном отношении, но и контролируют поступление книг, предназначенных для большого числа читателей. И все же нельзя сказать, что клубы причинили особый вред литературе, в худшем случае они лишь усилили уже существующее положение, и не следует думать, что писатели не смогли бы остаться неподкупными

¹ Когда Эрнеста Хемингуэя попросили высказаться относительно того, в какой мере высокие гонорары дорогих журналов, Голливуда, радио и так далее отвлекают писателя от собственных серьезных тем, он иронически ответил: «Большинство проституток обычно действуют по призванию» («Таймс» от 4 августа 1947 года).

в данном случае раз они уже устояли перед всеми другими жизненными соблазнами Америки.

Влияние клубов на вступивших в них читателей во многом аналогично. Существует мнение, что книги, как и фильмы, когда они предназначены для широких масс, опускаются по содержанию и стилю до самого низкого уровня; с давних пор крупные режиссеры и популяризаторы искусства, а равно и многие критики считали это неизменным законом культуры. Однако опыт и книжных клубов и карманных книг свидетельствует об обратном. Председатель совета жюри клуба «Лучшая книга месяца» Генри Сейдел Кэнби приводит много случаев, когда массовый читатель клуба предпочитал более серьезные книги, а не книжную макулатуру¹. Правда, заведомо слабые книги, отобранные клубами, почему-то привлекают к себе больше внимания, чем хорошие, но в числе избранных ими книг имеется и немало ценных; редакторы крупных клубов прилагают много стараний к тому, чтобы выбирать по возможности лучшие в своем роде книги.

Образованный читатель, имеющий легкий доступ к книгам, стремится читать то, что ему по вкусу, так же как он смотрит лишь те кинофильмы и слушает те радиопрограммы, которые ему нравятся. Конечно, его вкус мог бы развиваться, если бы его постоянно снабжали книгами повышенного качества, но вряд ли вкус читателя может быть окончательно испорчен посредственными изданиями, распространяемыми в массовых масштабах. Читателю, живущему в малонаселенных районах, которому книги не так доступны, клубы поставляют литературу в среднем приличного качества.

Вначале деятельность клубов вызвала в издательской среде беспокойство: опасались, что клубы, создав более совершенный торговый аппарат, лишат работы издателей и книготорговцев². Со временем эти опасения рассеялись, но на смену им появились другие отрицательные явления. Так, например, некоторые издатели настолько поддались

¹ Henry Seidel Canby, *How The Book-Of-The-Month Club Began*, The Atlantic Monthly, May, 1947.

² Такое же беспокойство возникало у издателей не раз и раньше — с появлением автомобилей, кино, телевидения, дешевых переизданий; эти опасения каждый раз оказывались одинаково беспочвенными.

соблазну крупных прибылей, что нередко составляли свой издательский каталог с учетом требований, во-первых, клубов и, во-вторых, Голливуда; в результате издатели слишком часто отказывались от ценных рукописей, которые не могли принести им немедленной прибыли. Клубы усилили также в издательском деле тенденцию, вызванную большим увеличением типографских расходов. Стремление издавать «солидные» книги значительно уменьшилось, когда растущая стоимость изданий потребовала увеличить распродажу книг, чтобы покрыть расходы по выпуску их в свет. И зачем вообще издателю мучиться с серьезной, но убыточной книгой, если книга, выбранная клубом или закупленная для кино и для переиздания дешевым выпуском, принесет огромные барыши без всяких дополнительных усилий или расходов¹? Но подобные явления не оказались столь длительными и широко распространенными, как можно было ожидать вначале; и большинство издателей научилось сотрудничать с клубами без существенных изменений в своих методах работы.

Ассортимент книг, выбираемых клубами, очень широк. Клуб «Литературная гильдия» сосредоточивает свое внимание на исторических, сентиментальных и изредка на реалистических романах; клуб «Избранная книга» — на произведениях, имеющих серьезное литературное и общественное значение. Клуб «Лучшая книга месяца» не отдает предпочтения ни одному жанру, а знакомится со всеми, отбирая то солидные, то банальные книги и успешно стараясь удовлетворять разнообразные вкусы своих нескольких сот тысяч подписчиков. Есть еще ряд более мелких клубов, интересующихся специальной литературой в области географии, истории, естественных наук и религии;

¹ Это, по существу, центральная проблема издательского дела. По словам Генри Сейдела Кэнби, отказ от хороших книг «стал угрозой для осуществления издательствами их подлинных функций и явился вызовом всему образованному обществу... Книги, которые умирают, так и не увидев света, — заявил он, — часто оказываются... наиболее важными... для целей образования, информации и вообще просвещения читателя. В конечном счете книготорговля живет за счет хороших книг, а не за счет сомнительных по качеству, искусственно созданных бестселлеров, которые обычно, как оказывается при ближайшем рассмотрении, обязаны своим существованием хорошим книгам, представляя собой их популяризированный или фальсифицированный вариант» («Нью-Йорк таймс» от 6 февраля 1947 года).

одни поставляют своим читателям плохие книги, другие — высокоидейные. В общем книжные клубы — большие и малые, легкого и серьезного направления — остаются весьма эффективным механизмом для снабжения читателей (в особенности в отдаленных местностях, где нет книжных магазинов и мало библиотек) такими книгами, которые, по-видимому, должны более всего прийтись им по вкусу. Отклики читателей указывают скорее на улучшение, чем на снижение их вкусов и литературных интересов. Клубы делают все от них зависящее, чтобы закрепить такое положение, и не потому, что считают себя орудиями культурной пропаганды, а по самым трезвым коммерческим расчетам. Здесь, как и в других случаях, задачи получения прибыли и развития культуры не только не противоречат одна другой, но, наоборот, совпадают.

Высокоразвитые торговые операции книжных клубов и издательств, выпускающих книги в бумажных обложках, представляют собой сочетание технической и культурной сторон. И так как их главной целью является создание практических удобств для своих читателей, а не их умственное и духовное развитие, то их изобретательность в области техники своего дела намного превосходит их культурные достижения. Однако эта диспропорция у них — как, разумеется, и во всем книгоиздательском деле — менее заметна, чем у американской прессы в целом. Там разрыв между техническим мастерством и серьезным содержанием много шире. В этом смысле наши популярные периодические издания представляют собой специфически американское явление. Они занимают свое естественное место в общем потоке американской производственной энергии, которая дала нам значительно больший физический комфорт, чем то, какой имела любая нация на протяжении всей писаной истории. Но кичиться этим обстоятельством может только безнадежный сноб. Оно лишь подчеркивает внутреннюю противоречивость общества, столь насыщенного самой совершенной техникой, применение которой зависит от народного образования, и столь мало заботящегося об упорядочении и распространении этого образования.

Этот парадокс — основной факт, который становится очевидным в результате нашего экскурса в область популярных изданий.

ТРИ ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, СЛИВШИЕСЯ В ОДНУ

Произошедшая в начале XX века революция в области нашего популярного искусства создала три исключительно эффективных средства пропаганды. Они появились одно за другим через удивительно регулярные промежутки времени в двадцать лет и фактически прошли — что так же удивительно — одинаковый путь развития. За первым из них — кино — последовало через двадцать лет радио. Еще двадцать лет спустя оба они, по выражению Клифтона Фейдимена, «спарились» и произвели на свет телевидение¹.

Каждое из них зарождалось в обстановке исключительного подъема, возбуждения, бодрости и стремления к дальнейшим экспериментам. Было необычайно интересно работать над новым средством массового воздействия, испытывать его возможности, продвигаться вперед в новых и совершенно неизвестных направлениях. Поразительное техническое открытие сопровождалось вначале одновременным возникновением творческих замыслов. Вскоре, однако, в истории каждого из этих средств наступал такой момент, когда после первых успешных проб и выступлений творческая инициатива начинала замирать, а техническое усовершенствование беспрепятственно продолжалось. Первые удачные программы превратились в окаменелые штампы, преградившие свободный путь новым идеям. По мере того как эти средства пропаганды вырастали в крупные капиталистические предприятия с огромными капиталовложениями, их творцы направляли свои усилия туда, где их ожидал гарантированный успех, и постепенно теряли способность освещать свои мысли и экспериментировать на неизведанных тропях. Вскоре первоначальный пыл начал остывать, уровень культуры стал снижаться и общий уровень средств развлечения упал до самого низкого общего знаменателя. Находясь физически еще на самой ранней ступени своего развития, эти средства пропаганды застыли на стадии осторожных, не склонных к риску средних лет.

¹ Clifton Fadiman, The Decline of Attention, The Saturday Review, 6th August, 1949.

Ли де Форест — изобретатель трёхэлектродной электронной лампы «аудиона», — который помог сделать радио тем, чем оно является теперь, оплакивал результаты своего труда:

«Что вы, джентльмены, сделали с моим детищем? Оно было задумано как мощный инструмент для пропаганды культуры и прекрасной музыки, для поднятия общего уровня развития американского народа.

Вы унизили мое детище, послав его на улицу под грохот синкопированной музыки среди завываний джайва и буги-вуги собирать деньги со всех вместе и с каждого в отдельности за исполнение диких джазовых танцев. Вы превратили его в предмет насмешек со стороны интеллигентных людей... Бесконечная и бессмысленная «мыльная опера» изо дня в день заполняет своими звуками каждую квартиру... Рассказы о таинственных убийствах несутся вечерами по радиоволнам, и дети, наслушавшись на ночь ваших сказок, превращаются в психопатов. Это мое детище, уже достигшее тридцатилетнего возраста, умышленно держат на уровне развития тринадцатилетнего ребенка. Содержание радиопередач остается настолько примитивным, что можно подумать, будто вы и ваши патроны считаете большинство ваших слушателей умственно отсталыми людьми...»¹

Журнал «Форчун» также прямо заявляет:

«...несомненный факт... что значительная часть программ американского радио (большинство «мыльных опер», программы-загадки, спектакли с участием зрителей, комедии с экспромтами актеров, джазовая музыка, торговые объявления) может вызвать у человека со средними вкусами либо полное равнодушие, либо острое раздражение»².

Телевидение, едва только появившееся на свет, проявляет тревожные признаки того, что оно пойдет по стопам своих незадачливых родителей. Критик газеты «Нью-Йорк гералд трибюн» по вопросам радио и телевидения Джон Кросби говорит:

«Так же, как это случилось с радио, телевидение теряет — или, возможно, уже безвозвратно потеряло — поддержку самых интеллигентных кругов американского

¹ «The Revolt against Radio», Fortune, March, 1947.

² Там же.

общества, чье мнение пользуется в стране наибольшим авторитетом... За пять лет своего существования телевидение заслужило общее презрение, на что радио потребовалось двадцать лет...

Телевидение разбивает сердце своим самым способным, одаренным наибольшей фантазией творцам — тем, кто помогал его рождению, кто видел в нем величайшее из всех когда-либо созданных средств массовой пропаганды. Ему только пять лет от роду... но уже сейчас всякая свежая мысль вызывает у деятелей телевидения сильнейшее подозрение»¹.

Критик по вопросам радио и телевидения газеты «Нью-Йорк таймс» Джек Гулд, горячо заботившийся об успешном развитии телевидения, с огорчением заявляет:

«Взглянем правде в глаза: телевидение начинает принимать весьма неблагоприятные формы. Большие надежды, возлагавшиеся столь многими на этот вид зрелища, тают у нас на глазах. Телевидение с головокружительной быстротой несется в пропасть бессодержательности, серости и однообразия, которые уже превратили радио в самую обыкновенную, нудную шарманку. Успех телевидения оказался призрачным, оно превратилось в пустое посмешище; процветание действует на него явно отрицательно.

Вспомните полные гордости слова (многие из них были сказаны на страницах нашей газеты) о том, что телевидение представляет собой новую важнейшую форму электронного театра, который предвещает небывало волнующую и многообещающую культурную эпоху. Или о том, что исконные чудеса звуковой и зрительной сцены будут донесены до самых отдаленных уголков страны.

Взгляните на телевизионное чудо сейчас. Утром, днем и вечером на его экранах мелькают и гремят утомительные для глаз извращения, называемые «фильмами для телевидения», — какой-то получасовой бред; содержание и игра актеров в них таковы, что даже прожженный голливудский постановщик второсортных фильмов, взглянув на телевизионный экран, может оцепенеть

¹ «Нью-Йорк таймс» от 19 октября 1952 года.

от ужаса. Неужели такова судьба телевидения: превратиться в грошовый балаган?»¹

Кинорежиссеры сваливают вину за низкий уровень своей продукции на публику. Они утверждают, что сами они являются только чувствительными барометрами, отражающими вкусы зрителей. «До тех пор,— заявил голливудский режиссер Дадли Николз,— пока люди будут требовать пустых развлечений и фильмов, рассчитанных на подростков, и толпами бежать из театров, когда там показывается серьезный фильм, они все время будут получать фильмы по своему вкусу»². И если, по мнению кинорежиссеров, зрители не совсем уже безнадежные кретины, то, в лучшем случае, они подходят к фильмам весьма некритически. Кинокритик газеты «Нью-Йорк таймс» Босли Кроутер ссылается на мнение кинорежиссеров по поводу исторических фильмов. «Деятели кино,— говорит он,— имеют ловко придуманные, обезоруживающие объяснения для часто практикуемого ими умышленного искажения исторических фактов. Они прямо и открыто заявляют, что их фильмы — фальсификация, но что публику это не смущает, и, если их поддельная продукция привлекает зрителей, кто дал вам право возмущаться?»³

Среди самих кинорежиссеров противоположное мнение можно услышать только случайно. Джозеф Манкиевич, например, считает, что нет такой картины, которая была бы слишком хороша или слишком серьезна для своих зрителей. По его мнению, довод, что зритель еще недостаточно вырос, является «пустой стговоркой кинорежиссеров»⁴. Однако с его мнением согласны лишь немногие из его коллег.

Когда кинорежиссеры не принижают прямо умственный уровень публики, они всячески стараются внушить нам, что в конце концов они просто делают бизнес. Их главная цель — зарабатывать деньги, а не содействовать культурному росту страны. Бывший ректор Йельского

¹ «Нью-Йорк гералд трибюн» от 19 сентября 1951 года.

² Цит. Босли Кроутером (Bosley Crowther) в «Нью-Йорк таймс» от 23 ноября 1947 года.

³ «Нью-Йорк таймс» от 12 октября 1947 года.

⁴ Цит. в статье Фрэнка С. Ньюджента «Все подробности о Джо» (Frank S. Nugent, All about Joe), напечатанной в журнале «Колльерс» от 24 марта 1951 года.

университета, а затем консультант по вопросам обслуживания публики в «Национальной компании радиовещания» Джеймс Роулэнд Энджелл заявил по этому поводу: «В свое время я имел дело с очень многими владельцами и директорами американских радиовещательных студий и считал их отличными, опытными бизнесменами, но я редко встречал таких, чья забота об интересах публики, которую они обслуживали, была бы равна их страсти извлекать прибыль»¹.

Есть некоторые выражения, которые голливудские постановщики не могут равнодушно слышать: «серьезные картины», «пища для ума», «самобытность художника». В их представлении эти выражения являются синонимами финансовых потерь, заумного и непрактичного идеализма, пустого экспериментирования и банкротства. Как правило, постановщики — приверженцы философии быстрой наживы. Так как большинство кинокомпаний финансируется банками, то любые соображения, не связанные прямо и явно с прибылью, например вопросы искусства и развития вкусов зрителей, часто поспешно и с пренебрежением отбрасываются в сторону. Корреспондент газеты «Нью-Йорк гералд трибюн» Джеймс С. Барстоу младший задал вопрос президенту кинокомпании «Рипаблик пикчерс» Герберту Дж. Йейтсу, не считает ли он, что сюжетные штампы, принятые его фирмой, приводят к созданию скучных, убогих картин, и не собирается ли его киностудия следовать усиливающейся тенденции выпускать фильмы по оригинальным художественным замыслам. Ответ Йейтса был весьма выразителен. «Для нас художественный замысел — пустой звук, — сказал он. — Нас не интересуют «серьезные картины»².

Такая же точка зрения, в ее самой обнаженной форме, выражена в следующем диалоге из романа Бадда Шульберга о Голливуде «Что подгоняет Сэмми?»:

«— Нам здесь нужно побольше таких людей, которые смотрят на картины как на обыкновенный товар и

¹ The Revolt against Radio», Fortune, March, 1947.

² «Нью-Йорк гералд трибюн» от 26 октября 1947 года.

выкинули из головы заботу о всяких там «серьезных» фильмах.

— Как раз это я и говорю,— вмешался Сэмми.— В конце концов фильмы перевозятся в жестяных банках. По существу, у нас — консервное дело. Наша задача — суметь добиться того, чтобы каждая партия товара давала прибыль»¹.

В области радио и телевидения, где финансовые связи со слушателями и зрителями осуществляются лишь косвенным путем, главную роль играют субсидирующая фирма и цифры ее прибылей. Любая программа передачи, как бы интересна она ни была, всегда находится под угрозой, если она не получила одобрения субсидирующей фирмы, которой нужно немедленное расширение сбыта своих товаров. Для определения популярности каждой отдельной программы была придумана так называемая оценочная система Гупера, основанная на предположении, что чем больше число слушателей, тем шире потенциальный рынок для товара. Эта система пользуется исключительным успехом и оказывает беспощадное давление на авторов программ и исполнителей, что влечет за собой дальнейшее ухудшение качества передач.

Еще одним тормозом в развитии популярных видов искусства является цензура. Финансовое положение руководителей киностудий, радио и телевизионных центров делает их болезненно чувствительными ко всякого рода бойкотам, угрозам бойкота, расследованиям, проводимым конгрессом, протестам со стороны любой хорошо организованной группы, к вкусам и капризам любого слоя населения. Политическое расследование деятельности Голливуда оказало непосредственное влияние на кинопромышленность. Характерны результаты расследования, проведенного комиссией конгресса по расследованию антиамериканской деятельности. Глэдвин Хилл подводит ему итог в газете «Нью-Йорк таймс»:

«Отныне всякому, кто имеет ярко выраженные левые взгляды, будет трудно получить в киностудиях сколько-нибудь ответственную работу, и, более того,— как ска-

¹ Budd Schulberg, *What Makes Sammy Run?* New York, Random House, 1941, p. 273.

зал в частной беседе один видный кинодеятель,— господствующая сейчас точка зрения... будет в течение ряда лет препятствовать производству фильмов, имеющих какое-либо «социальное значение», так как режиссеры станут опасаться, что их могут счесть «красными».

Подобные взгляды могут показаться крайними и достойными сожаления, но деятели Голливуда считают, что лучше застраховать себя заранее, чем сожалеть потом, тем более что такая страховка ничего не будет стоить. Зачем затрагивать скользкую тему, если вы всегда можете быть уверены, что окупите свои расходы, поставив безвредную, хотя и бессмысленную музыкальную комедию?»¹

Покойный Марк Хеллингер сказал незадолго до смерти: «Голливуд труслив. Вы не можете создать там честную, сильную картину. Голливуд является козлом отпущения для всякого рода влиятельных групп, а кинопромышленность бессильна оказать им сопротивление». Голливуд с трепетом откликается на любой вид протеста: со стороны религиозных групп, как, например, «Легиона благопристойности», представляющего 24 миллионов католиков, «Южного союза баптистов», имеющего 6 миллионов членов, и «Протестантского совета по делам кинофильмов»; или же со стороны таких организаций, как «Американский легион» и «Профессиональный союз женщин-католичек», «Союз мастеров-водопроводчиков Америки» и «Национальная ассоциация женщин-адвокатов»; или же со стороны десятков других обществ, часто совершенно нелепых². Одной из причин, почему кинорежиссеры предпочитают создавать пустые, поверхностные картины, является убеждение, что такие картины менее всего способны вызвать чье-нибудь возмущение. На каждую картину, подобную фильмам «Джентльменское соглашение» и «Перекрестный огонь», в которых серьезно разбирается вопрос об антисемитизме, приходится дюжины фильмов, совершенно лишенных всякого смысла. На каждый фильм, подобный «Ярости»

¹ «Нью-Йорк таймс» от 30 ноября 1947 года.

² Все эти факты и цифры, а также высказывание Марка Хеллингера взяты из статьи Эзры Гудмана «Представляют ли кинофильмы угрозу?» (Ezra Goodman, Are the Movies a Menace?), напечатанной в журнале «Коронет» за июль 1948 года.

и «Случаю в Окс-Боу», в котором откровенно говорится о линчевании, встречаются сотни банальных вариантов все той же темы «юноша встречает девушку», избитых комедий из жизни богемы, слащавых подделок под настоящую жизнь, музыкальных фантазий, внешний блеск которых не может скрыть их убогого содержания.

Страх перед цензурой или любым видом общественного порицания проявляется в области радио и телевидения еще сильнее, чем в Голливуде. Это особенно ярко видно из того влияния, которым пользовался журнал «Ред кэннелз». Журнал издавался двумя бывшими агентами ФБР и финансировался из частных источников; нередко ему достаточно было лишь намекнуть, что такой-то артист имеет или имел «опасные» политические взгляды или связи, чтобы наниматели стали смотреть на него как на обузу. Субсидирующие фирмы вне зависимости от того, верили ли они обвинению или нет, стремились избежать «неприятностей» и «склок» и при первом удобном случае совсем отказывались от услуг данного артиста. Все это исходило не от официального правительственного органа, предназначенного для проверки служащих в ответственных учреждениях, а от маленького частного издания, не имеющего никакого официального значения.

Вдобавок к тому, что деятели радио и телевидения боятся внешней цензуры, они установили еще строгую внутреннюю цензуру. Сценарии для радио и телевизионных передач рассматриваются чуть ли не под микроскопом, и все, что хотя бы отдаленно напоминает критику или кажется спорным, тщательно исключается. Эти добровольные запреты, налагаемые на кинорежиссеров производственным кодексом, являются одним из самых строгих видов ограничений во всей истории искусства. Кодекс определяет сюжет, диалог и характеристику героев до самых мельчайших подробностей; он поддерживает господствующие в стране табу и наиболее распространенные предрассудки. Авторы кинофильмов всегда наказывают зло, утверждают, что преступление невыгодно (после того как изобразят его в самом привлекательном свете), показывают, что проститутки имеют в действительности золотые сердца, вознаграждают добродетель каким-либо наглядным способом и стараются убедить нас, что речь средних американцев — даже

шоферов грузовиков, боксеров-профессионалов и солдат — чиста, ровна и благопристойна. Английский язык Америки, знаменитый своей остротой и силой (как это показал Г. Л. Менкен в своем произведении «Американский язык», пройдя сквозь чистилище киноэкрана, становится вялым, бескровным и невыразительным; жалким подобием подлинного языка американцев.

Часто наблюдаемое опошление популярных видов искусства возникает также в силу естественной склонности его деятелей идти по линии наименьшего сопротивления. Как и многие американцы, постановщики не в ладах с идеями и предпочитают иметь дело скорее с внешней безмятежностью жизни, чем с ее сложным внутренним содержанием. Даже располагая собой и оставив в стороне денежные соображения, они считают, что куда проще выпускать блестяще оформленные музыкальные комедии, «мыльные оперы», легкие любовные комедии, шаблонные исторические фильмы в эпическом стиле, романтические картины из жизни Запада и гангстерские фильмы, чем кинокартины, отражающие сложные переживания человеческой души. Примитивный герой, может быть, не так интересен, как глубокий человеческий характер, но зато его, безусловно, проще создать. С ним легче обращаться, для него годится и более простой сюжет, а его образ может быть создан авторами сценария мгновенно. Глубокий ум, как и глубокая вода, может смутить любого человека. Зачем нырять в воду, если в этом нет абсолютной необходимости? Свойственное человеку стремление делать то, что наименее трудно, при прочих равных условиях ярко проявляется в нежелании наших деятелей популярного искусства отрешиться от своих привычных формул и поверхностного взгляда на жизнь.

В силу того, что американская кинопромышленность рассчитывает на быструю денежную прибыль, подвергается давлению со стороны всякого рода лоббистов, трепещет перед цензурой и управляется людьми, которые зачастую считают, что зрители глупы и их следует пичкать детской кашцей, вся ее продукция превратилась в плоские, застывшие штампы. После появления на экране картины «Рождение нации» и первых фильмов Чарли Чаплина Голливуд выпустил еще несколько замечательных фильмов, но они потонули в потоке слаща-

вых любовных историй, пустых музыкальных комедий и «эпических» исторических картин, фальсифицированных по методу Де-Милла. Эти виды чисто эскапистских фильмов оказались чрезвычайно доходными, и их пустили в массовое производство. В своей книге «Зрелый ум» Г. А. Оверстрит дает анализ притягательной силы таких картин и для постановщика и для зрителя:

«Голливуд открыл... что самый верный способ привлечь зрителей...— это дать им услаждающие их жизнь иллюзии. Кино стало крупным деловым предприятием, при помощи которого множество неудовлетворенных жизнью мужчин, женщин и подростков могли грезить об осуществлении своих надежд. Кинофильм не ставил себе задачей научить этих разочарованных людей двигаться вперед и предпринимать активные действия для решения стоявших перед ними проблем. Он задавался целью дать им мечту, которая сама по себе была бы настолько увлекательна по сравнению с реальностью, что они снова и снова возвращались бы в кинотеатр, чтобы помечтать еще несколько часов. Эти прибыльные штампы стали настолько прочными, что даже серьезные романы и драмы, пройдя через мельницу кино, превращались в нечто совсем на них не похожее: они появлялись на экране в измененном виде, который должен был отвечать мечтам неудовлетворенного и незрелого ума»¹.

Пробираться сквозь поток плохих кинокартин, чтобы наткнуться случайно на хорошую, всегда было неприятным делом.

Штампы, существующие на радио, во многом аналогичны. Множество «мыльных опер» с их тусклым миром никчемной наивности, вульгарные, претенциозные спектакли, нескончаемое мурлыканье и бесконечные коммерческие объявления — слишком дорогая цена, которую приходится платить за редкие минуты подлинного юмора в виде выступлений Генри Моргана и Фреда Аллена, за случайное появление таких людей, как Бинг Кросби с его искренней веселостью и обаянием, и отдельные моменты хорошей музыки.

¹ H. A. Overstreet, *The Mature Mind*, New York, Norton, 1949, p. 220—221.

Похоже на то, что применение этих безопасных и в то же время прибыльных штампов становится обычным явлением и в телевидении. В первое десятилетие своего существования эта гибридная комбинация радио и кинофильма повторила раннюю историю своих предшественников. Экраны телевизоров ежедневно заполняются в такой же огромной пропорции примитивными историями с преступлениями, пустозвонными «мыльными операми», стандартными приключениями жителей Запада и бесконечным, как кажется, числом вульгарных, безвкусных спектаклей варьете. Лишь подчеркивая пустоту этих программ, изредка, через большие интервалы, появляются один-два выдающихся комика вроде Сиды Сизара (Sid Ceasar) и Граучо Маркса (Groucho Marx), неожиданно хорошо поставленная пьеса или опера; эффектное политическое выступление, например расследование роста преступности в Америке, проведенное сенатором Кефвером, и несколько дискуссионных программ на определенные темы. Однако в телевидении соотношение этих программ с общим количеством передач так же ничтожно мало, как и в более старых областях искусства — радио и кино. Талантливые поэтические передачи, вроде «Кукла, Фрэн и Олли», сокращаются из-за отсутствия для них достаточно выгодного субсидирования¹. Таким образом, даже заведомо хорошие передачи по телевидению урезаются самими авторами, если в условиях жестокой конкуренции им не удастся быстро получить за свои произведения наличные деньги.

Сравнительно высокие расходы ставят телевидение в еще большую, чем у радио, зависимость от субсидирующих его фирм, а его более сильное влияние на чувственное восприятие зрителей делает его более подходящей ареной для торговой рекламы — самой неприятной по виду и звучанию из всех передач, идущих по радиоволнам. Одновременно раздражая зрение и слух, телевизионные коммерческие объявления кажутся более назой-

¹ Вице-президент Национальной радиовещательной компании, подавшей знаменитым кукольным спектаклем, разоблачил еще одну подоплеку этого дела. «Имелся явный расчет, — заявил он, — давать публике меньшую порцию понравившейся ей передачи, чтобы она ждала с большим нетерпением завтрашнюю программу» («Нью-Йорк таймс» от 9 декабря 1951 года).

ливыми; во многих программах они жестоко конкурируют с «развлекательными номерами», а порой одерживают над ними верх. Сильная и организованная оппозиция, направленная против образовательных телевизионных передач, основывается на соображении, что такие передачи заняли бы часть отведенного времени, не принеся при этом никакой прибыли, и закрепили бы за собой более или менее прочное место, которое стало бы недоступно для торговых объявлений. А это, естественно, вызвало бы возмущение большинства фабрикантов и всех рекламных агентств.

Критики нашего популярного искусства, знакомясь с его стандартной продукцией, обвиняют его в искаженном изображении американской жизни. Однако они упускают из виду тот факт, что наши средства массовой пропаганды с необычайной точностью отражают многие особенности нашей сугубо буржуазной нации: ее страсть к стяжательству, ее сентиментальность и странную смесь благородства и цинизма.

Приверженность американцев к буржуазным взглядам и идеалам служит объяснением не только содержания популярных программ, но и психологии их составителей. Средний класс каждой страны, добившись прочного положения, всегда восхваляет комфорт, безопасность и ортодоксальные взгляды. Он инстинктивно выступает против любой возможной перемены, которая могла бы угрожать его капиталовложениям и сложившемуся образу жизни. Одной из его важнейших целей является накопление материальных благ в сочетании с сильным стремлением избежать жизненных осложнений в семейном быту, в области личных взаимоотношений и социального строя. Чувствуя себя свободно в царстве физических и материальных благ, он всегда испытывает замешательство, сталкиваясь с абстрактными идеями и философскими принципами; его художественные и поэтические эмоции обычно окутаны слоями ваты, чтобы смягчить резкое столкновение с действительностью. В сфере общественной деятельности, как это показал Артур М. Шлезингер младший в своей книге «Жизненный центр», у него одна цель — обеспечить себе почти любой ценой быстрое извлечение прибыли, а эта цель делает его осторожным, готовым пойти на компромисс в более крупных вопросах и бесприн-

ципным во всем, кроме своих ближайших личных интересов.

В то же время средний класс энергичен и гибок в социальном смысле. Он поощряет изобретательность, способствует развитию практических талантов и готов открыть путь к жизненному успеху для инициативных и волевых людей. Не совершая особых открытий в области философии, он крепко держится за конкретные факты материальной действительности и добился огромных достижений в науке и бурного расцвета промышленности. В Америке он поглотил значительную часть старого класса землевладельцев, и его идеалы так глубоко проникли в среду рабочего класса, что из всех западных стран именно в Соединенных Штатах наблюдается наименьший рост социалистического и коммунистического движения.

Наше популярное искусство верно отражает этот буржуазный дух. Оно прославляет материальный комфорт и роскошь, доказывает преимущество ортодоксальных взглядов (сколько молодых героев в кинофильмах восставали против условностей, чтобы убедиться в конце концов, что существующий порядок — наилучший!) и использует счастливый финал в подтверждение того, что в мире все в основном благополучно. Оно придает внешнюю романтику и поэзию взаимоотношениям полов, окутывая их легкой, привлекательной дымкой. Популярное искусство охотно подчинилось моральной цензуре со стороны торговых ассоциаций и организованных религиозных групп и менее охотно, но не менее покорно — контролю со стороны многочисленных государственных и муниципальных цензурных органов. Цензура не изгоняет полностью вопросы пола, но, вынуждая протаскивать их обиняком, делает их только более соблазнительными, приятно возбуждающими и в глазах многих критиков непристойными. Открыто показывать взаимное влечение полов с его последствиями запрещено как в кино, так и в телевидении, но на экране можно изображать, например, обнаженную грудь молодых красивых женщин, а в сценарии может быть множество двусмысленных намеков. Такое лицемерие необычайно характерно для буржуазии, которая примет сухой закон и тут же станет его нарушать или будет набожно рассуждать о таинстве брака, а тайком станет издеваться

над ним. И все же энергия и жизненная сила буржуазии оказывают не меньшее влияние на развитие кино, радио и телевидения, чем непрерывные технические усовершенствования, высокое качество которых известно всему миру. Наше искусство говорит миру не так много, но делает это исключительно хорошо.

Однако величайшей ошибкой представителей популярного искусства является то, что они не умеют рассказать все об Америке. Отражая некоторые стороны американского национального характера, они умалчивают о других. Американцы, как и другие народы, имеют разнообразные интересы и множество склонностей, и каждая из них ищет своего выражения. Американцы стремятся к отдыху и развлечениям, уводящим их от действительности, но им хочется также ближе познакомиться с жизнью. Они хотят забыться, слушая оперетту или смотря захватывающие дух гангстерские фильмы, но они испытывают также живой интерес к знакомству с другими человеческими характерами и их поведением. У них есть вполне естественное желание посмеяться, но им хочется иногда и поплакать. Бывают моменты, когда их увлекают явно надуманные рассказы о прошлом, но в них живет также любовь к подлинной истории, и на них большое впечатление производят такие кинофильмы, как «Авраам Линкольн в Иллинойсе». Американцы проглотят множество слащавых любовников и марионеточных героев, потому что для этого не требуется никаких усилий, и тем не менее ничто не заинтересует их так сильно, как правдоподобные, реалистически нарисованные человеческие характеры. Американцы легкомысленны, но в то же время и серьезны. У них бывают моменты юношеского веселья, но наряду с этим и периоды зрелых размышлений; их нельзя разбить на простые категории и обращаться с ними как с абстракциями.

Постановщики смотрят очень узко на сложные запросы человеческой природы. Они стремятся без конца удовлетворять потребности людей на уровне простейших развлечений и средств отдыха. Год за годом выпускаются на экраны музыкальные комедии, «мыльные оперы», истории с преступлениями, модные легкомысленные комедии, все эффектнее оформляемые и технически совершенствуемые. Они выполняют важную функ-

цию — дать людям отдых и развлечение, легко, без усилий, успокоить их усталые нервы. Пренебрегать их достижениями в этой области — значит игнорировать важную сторону самой человеческой природы: ее потребность временно освободиться от напряжения и ответственности. Без этого становится почти невозможным поддерживать физическое здоровье — задача, достаточно трудная в любое время. Большая заслуга средств массовой пропаганды, которой можно законно гордиться, заключается именно в удовлетворении этой потребности человека при помощи огромных технических возможностей, которыми они располагают. Никакое искусство не может убедить 50—80 млн. американцев покупать каждую неделю билеты в кино и приобрести 20 млн. телевизоров, не считая бесчисленного количества радиоприемников, если оно не удовлетворяет определенную глубокую потребность самой человеческой природы.

И все же даже в области развлечений постановщики всегда делают упор на самые низкопробные, примитивные их формы. Они редко предлагают развлечения более высокого, зрелого уровня, которые привлекали бы обширную взрослую аудиторию, ищущую отдыха, но испытывающую отвращение к глупой, бессмысленной болтовне, которая льется из микрофонов и громкоговорителей. Джилберт Селдес в статье «Насколько глупа публика?», напечатанной в журнале «Атлантик мансли», описывает влияние этого метода на кинофильмы:

«...кинофильмы не дают такого рода развлечения, какое хотел бы иметь средний взрослый человек. Люди, которые не ходят в кино, — это вовсе не кучка интеллигентных чудаков, это люди, раньше регулярно посещавшие кино, это обычные взрослые люди, которых уже не удовлетворяют детские фантазии кинофильмов. В своей крайне неправильной оценке зрителей руководители киностудий не только не признают разницы между детьми и взрослыми, они смотрят на зрелость как на чисто интеллектуальное явление. Ни кинорежиссеры, ни их шефы-банкиры не принимают в расчет многообразие человеческого опыта; они продолжают делать ставку на рядового человека, по-видимому забывая при этом, что независимо от интеллектуального уровня человека структура его жизни становится более сложной с годами,

когда он находит свое место в мире, заводит семью, идет на войну, покупает дом...

От киностудий требуется сравнительно простая вещь: выпускать фильмы, рассчитанные на взрослых людей. Это не значит, как пытаются утверждать деятели Голливуда, выпускать фильмы европейского типа: строгие по содержанию, с медленно разворачивающимся действием. Зрелый ум получает удовлетворение также от комедии и фарса»¹.

Не удивительно, что $\frac{2}{3}$ всех тех, кто покупает билеты в кино,— люди, не достигшие тридцатилетнего возраста², и что фильмы быстро превращаются в приятное времяпрепровождение для детей и подростков. Удивительнее всего то, что киностудии постоянно игнорируют запросы взрослой аудитории, хотя выпускаемые изредка зрелые кинокомедии часто приносят огромные кассовые сборы. Такие картины, как «Мальтийский сокол», «Сокровище Сьерра-Мадре», «Письмо к трем женам», «Все, что известно о Еве» и «В самый полдень» представляли собой чисто развлекательные фильмы, без всяких элементов «пищи для ума», которой так боятся режиссеры, и в то же время привлекли огромную массу чутких зрителей. Вместо того чтобы извлечь урок из этих примеров и использовать покупательную способность этого обширного рынка, ускользающего теперь из их рук, постановщики фильмов и их коллеги на радио и телевидении продолжают цепляться за свое увлечение примитивными и банальными фильмами.

Если постановщики слабо представляют себе потребность людей в развлечении, то другие запросы человеческой натуры вообще недоступны их пониманию. Они склонны смотреть с холодным равнодушием, если не с явным изумлением на интерес людей к живой действительности. Число картин и передач, комических или трагических, на серьезные темы, действительно мало. Можно вспомнить мрачный шедевр из области политики и психологии кинофильм «Осведомитель» и редкую сати-

¹ «Атлантик мансли», ноябрь 1948 года.

² Из документального очерка «Голливудская картина», переданного радиовещательной компанией «Колумбия» 3 ноября 1948 года.

ру на боссизм в политике вроде картины «Великий Макгинти», поставленный Престоном Стэрджесом. На радио и в телевидении встречаются интересные программы в виде дискуссий по литературным и философским вопросам, как, например, передача «Приглашение к знанию», и остроумные радиоочерки Джилберта Хайета, передачи информационного характера вроде «Научного обозрения Джона Гопкинса» и «В вашем присутствии», живые диспуты по современным вопросам и книгам, как, например, передачи «Городской митинг в эфире» или «Автор встречается с критиками»; оригинальные и эффектные оперы, например «Амаль и ночные гости» Джона-Карло Менотти и «Билли Бадд» Бенджамина Бриттена. Такие выдающиеся романы, как «Гроздь гнева», или такие пьесы, как «Лисички» и «Трамвай, называемый желанием», были переделаны для экрана без всякого ущерба для их содержания. Но общее число таких картин и передач мало. Правда, не столь мало, как можно было бы заключить из циничного замечания Пола Мьюни, что из трехсот ежегодно выпускаемых кинокартин три или четыре неизбежно выйдут хорошими, как бы ни старались сделать их похожими на все остальные. Но в общем соотношении все же их количество плачевно мало.

До тех пор пока существует представление, что хорошие передачи влекут за собой плохой бизнес, качество нашего популярного искусства вряд ли улучшится. Спор между художником и бизнесменом, писателем и финансирующим его патроном, вызывающий такое большое разочарование у одного из них и такую сильную враждебность к новым замыслам у другого, должен быть разрешен не только в интересах их обоих, но главным образом в интересах всей публики в целом. Бадд Шульберг описывает этот конфликт, имеющий место и в Голливуде:

«Хороший бизнесмен... ставит себе целью удовлетворить по возможности больше людей, одновременно сводя к минимуму свой риск и стандартизируя продукцию. С другой стороны, цель хорошего художника прямо противоположна. Он отказывается от всякого штампа, стремится отыскать новые пути, рискует всем и независимо от успеха или неудачи готов снова идти на риск. Когда будет написана история первых пятидесяти лет существования Голливуда ...она будет посвящена этой все еще не завершенной борьбе между деловой маши-

ной и теми талантливыми мужчинами и женщинами, которые, войдя в Голливуд, отказались оставить у его порога свою личную честь и совесть художника»¹.

На радио и в телевидении этот антагонизм проявляется в такой же сильной степени. Нежелание субсидирующих фирм и владельцев радиостудий идти на риск и систематически улучшать деятельность радио и телевидения не ставится им в вину из-за практических соображений. И все же, по иронии судьбы, о которой мы говорили выше, такие практические соображения, когда зрелые мысли и эмоции приносятся в жертву тому, что один критик назвал «популярным синтетическим продуктом», оказываются в конечном итоге самой непрактичной политикой. В блестящих комментариях по поводу состояния телевидения Джек Гулд демонстрирует безумство этой близорукой политики:

«Удовлетворяться «продукцией» телевидения в ее настоящем виде только потому, что ее успех у публики не подлежит сомнению,— значит идти по самому рискованному для владельцев телевизионных студий и субсидирующих их фирм пути. Этот путь может привести только к одному концу: база, на которой держится все телевидение, будет непрерывно сокращаться.

Хотя бы из чисто финансовых соображений, субсидирующие фирмы и владельцы радиостудий должны теперь же приступить к осуществлению программы исследований и экспериментов в области телевизионных передач. Эта задача диктуется не альтруистическими и не интеллектуальными, а только практическими соображениями. Постоянно развивая и совершенствуя вкусы публики, субсидирующие фирмы тем самым как бы расширяют доски для афиш, на которых в будущем они смогут расклеивать свои объявления...

Как же этого добиться? — спрашивает бизнесмен... В телевидении ответ таков... — должны появиться писатели, актеры и режиссеры, посвятившие всю свою жизнь своей профессии. Ради бога, дайте им делать свое дело так, как они сочтут нужным.

¹ Budd Schulberg, *Movies in America: «After Fifty Years», «The Atlantic Monthly», November, 1947.*

Дайте писателям возможность писать то, что подсказывает им сердце и совесть, и предоставьте им делать это по-своему. Что смыслят писатели в работе заместителей директоров по сбыту продукции? И что смыслят эти заместители в работе писателей?»¹

Как и в ряде других областей нашей национальной жизни, столкновение различных интересов в области нашего популярного искусства только наносит ему ущерб и тормозит его развитие. Спорящие стороны, придерживающиеся противоположных точек зрения, должны согласиться с тем, что между ними может существовать полная гармония, и работать совместно для осуществления своих общих целей. Уже видны первые признаки такого сотрудничества. Полторачасовая телевизионная передача «Омнибус» явилась в 1952 году предвестником этой перемены. Созданная по инициативе Благотворительного фонда Форда, эта передача была названа «чисто экспериментальной»; авторы ее предлагали зрителям «водевильный спектакль, демонстрирующий искусство и умение человека». И целью ее было «поднять уровень телевизионных передач с расчетом привлечь массовую аудиторию». Характерной особенностью этой программы была полнейшая независимость ее от контроля субсидирующих фирм. Субсидирующие фирмы — а в них не было недостатка — оплатили время для этой передачи, совсем не вмешиваясь в ее содержание.

Таков же был характер беспрецедентного контракта между драматургом Робертом Э. Шервудом и Национальной радиовещательной компанией. По этому контракту драматург обязывался написать девять оригинальных пьес для телевидения. Хотя постановка этих пьес должна была субсидироваться коммерческими фирмами, писатель освобождался от необходимости обсуждать какие-либо условия с субсидирующими фирмами и рекламными агентствами. М-р Шервуд считал, что это наилучшим образом будет соответствовать интересам писателя и рекламодателя:

«Если вы имеете дело с субсидирующими фирмами и рекламными агентствами, то перед вами такие люди,

¹ «Нью-Йорк таймс» от 19 октября 1952 года.

которых интересует отнюдь не то, что вы пишете для телевидения. Они заинтересованы прежде всего в том, чтобы продать свой товар. Мы хотим возможно лучше выполнить нашу работу... а когда мы ее выполним, пусть появятся на сцене субсидирующие фирмы.

Разграничение театральных и рекламных функций телевидения должно улучшить программы передач, а это будет выгодно для субсидирующей фирмы»¹.

М-р Шервуд, написавший немало киносценариев, отмечает, что «неумение голливудских администраторов установить непосредственные деловые отношения с писателем и признать за ним важное для него право быть независимым в течение многих лет мешало культурному росту кинопромышленности».

Приведенные выше примеры и тот факт, что федеральная комиссия выделила специальное время для образовательных телевизионных передач, а также регулярный, хотя и ограниченный выпуск серьезных фильмов и передач,— все это свидетельствует о больших перспективах дальнейшего развития американского популярного искусства. Как только будет преодолено недоверие к его потенциальным возможностям, оно выйдет из своего незрелого состояния, до сих пор тормозящего его развитие.

Г Л А В А X

ГЕРОЙ АМЕРИКАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Нарушение цельности человеческой природы, имевшее место в американской действительности, нашло свое отражение и в образах наших литературных героев. В жизни отдавалось предпочтение мускулатуре перед умом, инстинкту перед мыслью, способности к энергичным действиям перед способностью к размышлению, а это привело к созданию целого ряда уродливо однобоких, несовершенных литературных образов. Идеальный американский герой тяготел в сторону физической силы и самодовольства. Его типичным качеством был

¹ Сообщено Джеком Гулдом в «Нью-Йорк таймс» от 24 ноября 1952 года.

резко выраженный индивидуализм. В нашем фольклоре и художественной литературе он рисуется как натура, в большей мере обладающая волевыми качествами, чем умом и воображением. Он обычно крайне самоуверен, хвастлив и агрессивен и редко попадает в такое положение, когда от него требуется нечто большее, чем физическая сила.

Этот образ впервые вышел на сцену в народных легендах о завоевателях границы. Пол Баньян был легендарный лесоруб сверхчеловеческой мощи; он бродил по стоянкам лесорубов на Среднем Западе и Северо-Западе Америки в сопровождении своего огромного помощника Бэби — «Голубого быка». В минуты отдыха от своего профессионального труда лесоруба он воздвиг Скалистые горы, вырыл реку Миссисипи и высек в скалах Большой Каньон. Его двойник в южных стоянках лесорубов по имени Тони Бивер — фигура почти такого же раблезианского типа. Главным конкурентом Пола Баньяна был легендарный герой — ковбой с Юго-Запада Пикос Билл; его приверженцы утверждали, что именно он высек Большой Каньон и вырыл Рио-Гранде. У негров также был свой легендарный герой бурильщик Джон Генри, который решил потягаться силой с паровым буром. В соревновании между «телом и паром» Джон Генри одержал победу, но во время борьбы у него лопнул кровеносный сосуд, и он умер.

Поток вдохновения того периода не ограничивался вымышленными образами. Чудеса храбрости приписывались также Биллу «Буйволу», Дэви Крокету, Киту Карсону и Дикому Биллу Хиккоку, лошадям, собакам и лягушкам, отдельным людям, которым угрожали наводнения, паническое бегство, индейцы и дикие звери. Раздутые, гротескные и хвастливые фантастические истории разрастались, как репейник, на каждой границе к западу от Аллеганских гор, равняясь по своим размерам масштабу той местности, где они зарождались. Заносчивость, присущая их героям, отдавала некоторой наивностью, свойственной людям новой страны, и была своеобразной поэтической реакцией на исключительные возможности, пространственную ширь и опасности Запада. Бахвальство, переходящее в тщеславие, способствовало тому, что человек чувствовал себя лучше перед лицом первобытной могучей природы с ее дикарями и

тайнами. Этот молодецкий посвист поддерживал его мужество и был смелой попыткой сравнять счет или даже добиться некоторого перевеса в свою пользу. Творцы легенд о границе в глубине души сами не принимали всерьез своих рассказов и считали их тем, чем они и были на деле: своеобразным подспорьем, вроде стаканчика крепкого вина перед отправлением в путь в бурную погоду. Эти рассказы продолжали, по существу, веселую и беспечную традицию Мюнхаузена, Сирано и других виртуозов комической похвальбы.

В своих заключительных стадиях самоуверенность героев границы приняла менее добродушную и более властную форму. Энергичный человек стал во весь свой рост, вооруженный мощной мускулатурой и природными инстинктами, которые, как утверждал Джек Лондон, помогали ему не только оставаться в живых, но и преодолевать суровые условия жизни на Аляске и островах Тихого океана — последних американских границах. Лондон стал главным провозвестником культа энергичного человека, который сказался также в произведениях Фрэнка Норриса и Теодора Драйзера в начале XX века и вылился в создание образа Тарзана — эпической американской фигуры, служившей для американской молодежи в течение почти полувека символом мужественности в первобытной обстановке. Герои Лондона напрягают свои бицепсы, бьют себя в грудь, говорят громоподобными мужскими голосами и ревностно соблюдают закон «дубины и клыка». Этот закон, который они воспринимают бессознательно, управляет суровым, первобытным миром, где они живут, независимо от того — люди они или животные. В представлении Лондона нет, по существу, четкого разграничения между людьми и животными: и те и другие — просто особи, ведущие борьбу за свое существование в суровом эволюционном мире Дарвина. Собака Бэк, герой повести «Зов предков», сталкивается с теми же трудностями и ведет себя так же, как вел бы себя в ее положении человек:

«Эта первая кража показала, что Бэк способен выжить и в суровых условиях Севера. Она свидетельствовала об его умении приспособляться к новой обстановке. Не будь у него такой способности, ему грозила бы скорая и мучительная смерть. Кроме того, кража была началом его морального падения. Все его прежние нравст-

вейные понятия рушились — в беспощадно жестокой борьбе за существование они были только лишней обузой. Они были уместны на Юге, где царил закон любви и дружбы: там следовало уважать чужую собственность и щадить других. А здесь, на Севере, царил закон дубины и клыка, и только дурак стал бы здесь соблюдать честность, которая мешает жить и преуспевать»¹.

Далее, приспособляемость Бэка не имеет ничего общего с умственными способностями. Она инстинктивна:

«Конечно, Бэк не рассуждал так — он попросту инстинктивно приноровлялся к новым условиям... Все это Бэк постигал не только опытом — в нем всколыхнулись давно заглохшие первобытные инстинкты. А то, что он унаследовал от многих поколений прирученных предков, наоборот, отмирало. Смутными, невнятными голосами заговорила в нем далекая юность его рода, то время, когда дикие собаки стаями рыскали по девственным лесам и, загоня добычу, убивали ее... Так именно дрались его забытые предки. Оживало в нем далекое прошлое, и те старые повадки, что были наследственными в его роде и передавались из поколения в поколение, теперь стали его повадками. Он усвоил их без всяких усилий, не видя в них ничего нового и удивительного, — как будто они всегда были ему свойственны»².

Лондон взял эту смесь дарвинизма, литературного макфадденизма и нищезанятия (презрение к требованиям морали, которые считаются пустой, сентиментальной забавой слабохарактерных, цивилизованных людей, еще более расслабленных христианством) и воспетое им неразумное, бессознательное начало; он облачил их в самые яркие во всей американской литературе одежды примитивной романтики:

«Есть экстаз, знаменующий собою вершину жизни, высшее напряжение жизненных сил. И парадоксально, что экстаз этот есть полнота ощущения жизни и в то же время — полное забвение себя и всего окружающего. Такой самозабвенный восторг приходит к художнику-творцу в часы вдохновения. Он охватывает воина на поле брани, и воин в упоении боя разит без пощады. В таком именно экстазе Бэк во главе стаи, с древним

¹ Д ж е к Л о н д о н, Соч., т. 1, Гослитиздат, 1954, стр. 565.

² Там же стр. 565, 566.

победным кличем волков, гнался за добычей, мчавшейся впереди в лунном свете. Экстаз этот исходил из неведомых ему самому недр его существа, возвращая его в глубину времен. Жизнь кипела в нем, вставала бурным разливом, и каждый мускул, каждая жилка играли, были в огне, и радость жизни претворялась в движение, в эту исступленную скачку под звездами по мертвой, застывшей от холода земле»¹.

Кульм мускулов и крови достигает в этом воодушевленном, выразительном, как цветной кинофильм, описании своего кульминационного пункта. Бэк, проникающий в отдаленнейшие уголки Аляски как некий собачий герой, породил целую серию героев с великолепными физическими данными — от Тарзана до Сьюпермэна, правда не вполне равных ему: он остается непревзойденным образцом торжествующего зверя, побеждающего окружающий его первобытный мир, полный живой добычи.

Герои Лондона, нарисованные более бледными красками и приспособленные для более молодых читателей, послужили прототипом для знаменитого фольклорного сверхчеловека — Тарзана из Обезьяньей стаи. Тарзан представляет собой наивысший триумф бихевиористской психологии. Брошенный еще грудным ребенком на произвол судьбы в глубине Африки, он попадает в стаю обезьян, где его вскармливает грудью одна из горилл; он растет вместе с детенышами обезьян и великолепно приспособляется к условиям окружающей его суровой обстановки. Он в дружбе со слоном Тантором и объявляет вечную войну льву Нуме. Он приобретает ловкость и остроту чувств животного, сохраняя при этом более высокую приспособляемость и хитрость человека. Эта комбинация делает его господином джунглей, и уже один только страшный крик «А-о-а», который он издает, стоя на мертвом теле убитого врага, заставляет дрожать большинство свирепых зверей. Его творец Эдгар Райс Берроуз не создает особых трудностей на его пути. В один из решающих моментов юности Тарзана он кладет охотничий нож на опушке леса в таком месте, где мальчик неизбежно должен на него наткнуться. Вооруженный этим ножом, которым он интуи-

¹ Джек Лондон, Соч., т. 1, стр. 578.

тивно владеет (недаром он сын знаменитого английского охотника-зверолова лорда Грейстока!), Тарзан становится почти безраздельным владыкой Центральной Африки, внушающим диким зверям особый инстинктивный страх благодаря отсутствию шерсти и белому цвету своей кожи. Более того, Тарзан счастлив, не знает плохого настроения и неврастения и великолепно приспособлен к окружающему его миру. Ни одна из забот, которые терзают цивилизованных людей, ему не знакома,— это обстоятельство, по-видимому, служит одной из причин его популярности среди западных читателей и кинозрителей.

Единственной потенциальной трудностью, с которой ему, возможно, пришлось бы столкнуться, могла стать скука из-за отсутствия подходящего занятия, но и тут автор снова приходит ему на помощь. Двух томов оказывается достаточно, чтобы дать ему вырасти и вступить в полосу многочисленных схваток с различными дикарями и зверями. В тот момент, когда Тарзану грозит отсутствие дела, в джунглях внезапно появляются карликовое племя дикарей, злые амазонки в леопардовых шкурах, люди с Марса (Берроуз так же свободно заимствует у Г. Дж. Уэллса, как и у Джека Лондона) и экспедиции европейцев; экспедиции приезжают за слоновой костью или золотом, и каждая из них возглавляется каким-либо отъявленным негодяем. Тарзану требуется по целому тому, чтобы избавиться от каждой из этих опасностей, грозящих его континенту, как раз вовремя, то есть перед тем, как ему станет известно от одного из приезжих англичан о титуле и наследстве, ожидающих его на родине. Сначала он равнодушен к этому известию. Но затем он влюбляется в красивую молодую англичанку по имени Джейн, которая умеет прекрасно с ним объясняться. Ради нее он возвращается в Англию, становится лордом Грейстоком, овладевает английским языком, растит сына и все время в глубине души чувствует себя несчастным. Здесь снова звучит тема, что человек чужд цивилизации и, подобно всем другим животным, чувствует себя лучше в примитивной обстановке, но на этот раз данная тема звучит, как набат, и понятна даже ребенку.

Тарзан едет обратно в Африку в сопровождении разделяющей его чувства жены. В виде уступки своему

двойственному существованию он строит себе на расчищенной поляне богато украшенный дом в западном стиле, но фактически проводит все свое время в джунглях, среди своих друзей — зверей. Здесь он остается навсегда, развлекаясь новыми приключениями, которые почти ничем не отличаются от старых, играя и вновь переигрывая свою труднейшую роль без всяких признаков усталости.

Кинорежиссеры заимствовали образ Тарзана с одним существенным изменением: они сделали его еще более примитивным, чем он изображен в книге, и совсем не позволили ему выезжать из джунглей. Таким образом, Тарзан в кино плохо понимает и еще хуже говорит по-английски, несмотря на то, что живет в течение многих лет с образованной девушкой англичанкой. Авторы фильмов показывают это как его странный недостаток, давая в то же время понять, что его ум не способен на такое усилие. Тарзан и в самом деле выглядит на экране полным кретином, если же у него и есть какой-то разум, то он полностью затмевается мощным телосложением и волнообразной мускулатурой. Образ Тарзана в кино по сравнению с его литературным прототипом подан в упрощенном виде отчасти как уступка бесчисленным юным зрителям и отчасти в силу общей тенденции кино сводить все к простейшим формулам. Мир джунглей, где обитает первобытный сверхчеловек, требует превосходства мускулов над умом и инстинкта над интеллектом. Тарзан отвечает этим требованиям в той же степени, что и Бэк и другие ранние легендарные гиганты границы. Подобно им, он остается непобежденным в суровом первобытном окружении, представляя собой триумф чистой мускульной силы и голого инстинкта.

Другой современный нам потомок лондонских героев является еще более ярким образом человека, ставшего владыкой материального мира. Названный без всяких обиняков и удивительно метко Сьюпермэном (Сверхчеловеком), он проложил себе путь в американский фольклор из комиксов и радио, где его великолепно сложенное тело и развевающийся красный плащ примелькались всем с конца 30-х годов. У Сьюпермэна два вида приключений: стычки на других планетах и поединки с преступниками на Земле. Его деятельность по

поддержанию закона и порядка менее интересна, чем другая, поскольку ее исход заранее предрешен. Сьюпермэн, по существу, бессмертен и может двигаться вопреки закону тяготения, поэтому преимущества, которыми он обладает над простыми смертными жуликами, поистине огромны. Их шансы настолько неравны, что читателю почти не приходится волноваться. Остается только удивляться, как при наличии Сьюпермэна вообще случаются преступления. Во время второй мировой войны его авторы попали в щекотливое положение, когда многие из их юных читателей стали настойчиво требовать, чтобы Сьюпермэн отправился в Берлин, сбросил бомбы на Гитлера и его сообщников и быстро положил конец войне.

Приключения в космическом пространстве более соответствуют способностям Сьюпермэна. Он — уроженец планеты Криптон, которая в какой-то момент взорвалась, предоставив своему единственному оставшемуся в живых обитателю плавать в эфире. В солнечной системе он чувствует себя как дома. Время от времени его призывают спасти другие планеты от разрушения, грозящего им из-за перемен в газовой структуре их атмосферы или из-за неудачно окончившихся научных опытов. Он издает свой напутственный возглас: «Вверх! Вверх! И вда-а-аль!» — пролетает за каких-нибудь несколько минут несколько миллионов километров и плавно приземляется на терпящей бедствие планете, где сталкивается с существами, наделенными, как и он, сверхъестественной силой. Его хватают, тащат по подземным путям; ему приходится наблюдать странные религиозные ритуалы; он переплывает кипящие подземные озера, флиртует с прекрасными принцессами, увешанными ослепительными драгоценностями, и, наконец, как и полагается такому космическому импресарио, организует с апломбом заправского чемпиона бокса массовые спасательные работы. В этой экзотической обстановке (хотя и представляющей собой слабую имитацию Жюля Верна) Сьюпермэн встречается с достойными противниками, и его необыкновенные физические данные подвергаются настоящему испытанию.

Как и у Тарзана, действия Сьюпермэна зависят от атомов, более сильно заряженных, чем у обыкновенных людей. Он никогда не интересуется: «Почему?» или

«Как?», — он только спрашивает: «Где?» Пространство — вот измерение, в котором он действует. Туда никогда не отваживается проникнуть мысль. Нельзя сказать, что Сьюпермэн выступает против мыслящих людей, он борется только против преступников. С мышлением он просто не сталкивается; для успеха его предприятий оно не требуется и, возможно, даже замедлило бы их темп. Тот, кто хочет дискредитировать разум, по крайней мере знает о его существовании и имеет с ним дело. Сьюпермэн свысока равнодушен к нему — состояние в известной мере более опасное, чем прямое отрицание. Он, как Тарзан и большинство других искусственно созданных примитивных образов, является символом чисто моторного действия, и именно в этом заключается его особая привлекательность. Создать персонажи, свободные от той ответственности, которую налагает на людей разум, и одолевшие ужасы природы — значит открыть для читателей своеобразную отдушину. Примитивизм живет в глубине души всякого человека на любой стадии науки и техники, и редко когда он был так силен и дал так много литературных символов, как в наше время.

Сьюпермэн возглавляет целую группу героев книжечек комиксов, более или менее подобных ему. К числу их относятся такие известные фигуры, как капитан Марвел, капитан Марвел младший, Бэтман, Майти Маус, Сьюпер Маус и Кид Этернити. Пожалуй, самым знаменитым вариантом примитивного героя комиксов является Ли'л Эбнер, который создан Элом Кэппом. Ли'л Эбнер, проживающий в поселке эпохи каменного века под названием Догпэч («Собачья дыра». — *Ред.*), состоит только из мускулов; мозги у него отсутствуют. Валуны отскакивают от его черепа, не причиняя ему вреда. Его любимое восклицание — сдавленный гортанный звук «галп!» Однако с помощью своей интуитивно пронизательной материи он умудряется расстраивать замыслы жуликов из крупных городов и бандитов из лесной глуши, одновременно спасаясь от преследований со стороны прекрасных молодых женщин, которым его хорошо сложенная фигура кажется неотразимой. В нем сочетаются добродушие, глупость, мускульная сила и нюх на невероятные по физической силе подвиги. Он — прямой потомок Сьюпермэна, Тарзана, Бэка и других, вплоть до Пола Баньяна.

Когда эпоха географической границы пришла к концу, сменившись эпохой промышленной границы, появился другой тип героя. Самоуверенность и жажда власти — качества, необходимые для успеха в новых индустриальных джунглях, — заменили собой физическую силу и биологический инстинкт, которые требовались, чтобы уцелеть в условиях примитивных джунглей. Первым образом такого нового человека явился главный герой «Трилогии желания» Драйзера Фрэнк Каупервуд, действовавший в высших сферах американских финансовых кругов в 1870-х и 1880-х годах.

Моральные нормы, от которых пришлось отказаться собаке-герою Лондона, чтобы преуспевать в условиях дикой природы, также были отброшены драйзеровским героем Фрэнком Каупервудом, прежде чем он смог добиться успеха в человеческом обществе. Взгляды Драйзера на окружающий его мир совпадали со взглядами Лондона. Основной чертой американского общества он считал господство сильных. По существу, не было особой разницы между беспринципным и решительным промышленным магнатом, уничтожающим конкурентов на своем пути к господству над промышленностью, и неразборчивой в средствах и решительной собакой, убивающей своих соперников, чтобы занять место вожака волчьей стаи. Этот взгляд на общество: «Глотай других или будешь проглочен сам!» — выражен Драйзером в знаменитом эпизоде с омаром и каракатицей. Еще маленьким мальчиком в Филадельфии Фрэнк видел, как в аквариуме, выставленном в витрине магазина, омар преследовал каракатицу, схватил ее и медленно проглотил. Эта сцена произвела на него неизгладимое впечатление. Она в миниатюре отражала закон жизни всех живых существ, и Фрэнк решил действовать в соответствии с этим законом. Он будет омаром, а остальные люди — каракатицами. На протяжении всей трилогии, повествующей о его финансовых и любовных похождениях, Фрэнк непрерывно с невероятной быстротой пожирает свою добычу — в Филадельфии, Чикаго и Лондоне, причем каждая перемена обстановки влечет за собой расширение сферы его операций. Проводя в крупных масштабах политические или финансовые махинации, ухаживая за целой плеядой красивых женщин, сменяющих одна другую, или собирая обширные кол-

лекции произведений искусства, Каупервуд всегда остается символом священного эгоцентризма, не признающего никаких законов, кроме своего стремления уцелеть и своей жажды власти. Каупервуд — умный человек, но его ум служит интересам хищного и пагубного для других самовозвеличивания. В таком извращенном виде он крайне опасен и уязвим для направленных против него обвинений.

Каупервуд, как и Бэк Джека Лондона, изображается автором с известным восхищением. Лондон восторженно восхваляет Бэка, а Драйзер покорен всепобеждающими приемами своего героя: несмотря на многочисленные преступления и разврат, Каупервуд все же выглядит привлекательной фигурой. В других своих романах Драйзер отходит от преклонения перед силой и изображает влияние общества, управляемого Каупервудами, на его многочисленные жертвы: Дженни Герхард, Клайдов Гриффитов и других, — и именно в этом плане он больше всего известен. Но Лондон остается верен до конца культу мускульного, сурового примитивизма: его шпиратствующий Морской Волк является как бы человеческим эквивалентом его собаки с Аляски; оба они — хищники примитивных джунглей.

Если Каупервуд действовал в высших сферах американской деловой жизни, то герои Орейшо Олджера младшего прокладывали себе путь через низшие. Чистильщик сапог Том, Энди Грант, бережливый Фрэнк и другие герои таких знаменитых рассказов, как «Удача и смелость», «Тонуть или плыть», «Обязан подняться», «От нищеты к богатству», начинали жизнь с пустым карманом, не имея за душой ничего, кроме своей настойчивости, бережливости и упорного инстинктивного стремления к успеху. И они неизменно добивались успеха: выручали дочерей миллионеров из трудных положений, возвращали потерянные кошельки их владельцам, сопротивлялись всем видам искушений, которыми их соблазняли всевозможные негодяи, и в конце концов получали награду в виде выгодной работы, доходных инвестиций или прямого предложения стать компаньоном фирмы. Вся соль их приключений состояла в том, чтобы начать с ничего и кончить мешком золота. Если молодой человек обладал достаточной энергией и упорством, то не было границ тому богатству, которое он мог приоб-

рести. Правда, состояния, полученные героями Орейшо Олджера, вряд ли могли идти в сравнение с капиталами Эндью Карнеги, Джона Д. Рокфеллера или Фрэнка Каупервуда, но они были огромными по сравнению со скромными запросами и простой психологией персонажей из рассказов Олджера. В этих фантастических рассказах была создана целая плеяда маленьких сьюперменов с коммерческими наклонностями, судьбе которых могли завидовать миллионы юношей с ферм и из маленьких городков Америки.

Первый большой период промышленного развития между Гражданской войной и первой мировой войной закончился лет двадцать спустя после окончания эпохи географической границы. С его завершением возникла естественная тоска по тем свободным и безмятежным временам, когда отдельные люди могли померяться силами с противостоящим им миром и выйти победителями. Когда стал быстро приближаться XX век, ограничивая возможности передвижения людей и связывая их свободу действий, возникла тоска по тем минувшим временам, когда человек мог легко маневрировать и влиять по-своему на жизнь. О том, насколько была сильна эта тоска, можно судить по необычайной популярности, которой стали пользоваться в 20-х и 30-х годах исторические романы и приключения ковбоев.

И те и другие имели одну общую черту: в них изображались люди прежнего времени, которые могли свободно располагать собой. Чем призрачней казалась свободная деятельность теперь, тем привлекательней представлялась она в прошлом. Какие чудеса вольности совершал безумно храбрый герой, без которого Вашингтон не смог бы выиграть Освободительной войны и с помощью которого Наполеон чуть не предотвратил Ватерлоо! Этот герой расстраивал самые хитроумные замыслы коварного принца Чарли и прокладывал путь для эффектных (хотя и непрочных) побед Ричарда Львиное Сердце в Святой земле. Если в истории этот вездесущий энергичный герой упоминался вскользь, а то и не упоминался вовсе, зато он выглядел достаточно реально на черно-белых страницах романа и еще более реально — на экранах цветного кино. Он совершал чудеса храбрости, наносил поражение мощным коалициям, созданным против него или против дела, за которое он

боролся, и принимал важные решения, осуществляемые им вопреки обстоятельствам, которые могли обескуражить любого обыкновенного человека. Чудесное и заманчивое свойство окружающей его обстановки заключалось в ее гибкости. Эта обстановка была достаточно сложной, чтобы создать видимый риск, но в конце концов принимала нужные формы. Неизбежное столкновение между индивидуумом и его окружением неизменно завершалось удовлетворительной победой индивидуума. В этой победе и заключалась та сладость очарования, которая манила американского читателя, искавшего выхода из своего личного положения, где окружающая обстановка теряла свою гибкость с угрожающей быстротой. Чем сильнее окружающий мир воздействовал на человека, тем нужнее становилось это воспоминание о прошлом, когда, по утверждению романистов, можно было оказать на мир свое влияние.

Пол в данном случае не играл роли. Женщины в романах были наделены той же решимостью, что и мужчины, и во многих важных случаях с одинаковым успехом переворачивали все вверх дном. Во главе таких женских образов шла Скарлетт О'Хара [героиня романа Маргарет Митчелл «Унесено ветром». — *Перев.*]. Она справилась с тремя мужьями, пережила осаду Атланты, восстановила свою разоренную плантацию и совершила множество других смелых поступков в тот момент, когда вокруг нее рушилась цивилизация. И все это происходило менее чем сто лет назад, в самый разгар кровавой и чреватой бедствиями войны, во многих отношениях более ужасной, чем те, какие пришлось пережить Америке впоследствии.

Та же самая неограниченная свобода воли, которая пронизывала исторические драмы плаща и кинжала, господствовала в романах и фильмах о диком Западе. За исключением костюмов, между ними не было особой разницы. Оденьте ковбоя в короткие панталоны и напудренный парик, уберите его револьвер и прицепите ему к боку шпагу, оставив сидеть верхом на том же коне, — и он войдет без труда в любой роман от XVI до XIX века. Придется, может быть, слегка развязать ему язык, но в остальном он останется без изменений. Что касается морали и философии, то с точки зрения его

добродетели и свободы действия он может переходить из одного жанра в другой — как в книге, так и в фильме — без существенных изменений. Сущность романов «Вечная амбра» и «Улицы Ларедо» («The Street of Laredo»), «Черная роза» («The Black Rose») и «Колорадская территория» («Colorado Territory»), «Три мушкетера» и «Красная река» («Red River»), одной книги Маргарет Митчелл и пятидесяти книг Вильяма Маклеода Рейна была одна и та же. Их популярность порождалась разочарованием, какое испытывали миллионы читателей, живущих в век непрерывного кризиса.

Герой-ковбой с голубыми или светло-серыми глазами, с двумя кулаками и двумя револьверами на поясе, действующий так же ловко левой, как и правой рукой, пробивал дорогу среди множества врагов и никогда не позволял себе падать духом от полученной им по пути встряски или отказаться от осуществления намеченной цели. Отрицательный герой пользовался такой же свободой. Он также преодолевал огромные препятствия, вплоть до заключительного поединка, в котором он и положительный герой сталкивались вплотную — лицом к лицу, в то время как окружающий мир, затаив дыхание, ожидал исхода этой схватки. Здесь опять-таки прямо и просто рисовалась минувшая жизнь, когда свою судьбу можно было крепко держать в руках. В этом таилась притягательная сила любого ковбойского произведения — от искусно созданных Эрнестом Хейкоксом и Льюком Шортом до самых примитивных историй, в изобилии сочиняемых для дешевых журналов.

Сюжет, в котором вращался герой, был насыщен действием и свободен от каких-либо рассуждений; его правдоподобность почти не возросла со времен Зейна Грея начала XX века. Герой говорил мало, думал еще меньше, но был подвержен внезапным порывам буйной и эффективной физической активности. В первой главе он — еще молодой ковбой, покрытый пылью, усталый от длительной езды, — приезжает на большое ранчо в поисках работы. Если дело происходит в Техасе, он приехал из Монтаны, где до этого попал в перестрелку и убил человека, и теперь за ним охотится полиция. Если дело происходит в Монтане, он только что приехал

из Техаса, где с ним случилось то же самое. Колорадо и Невада, Айдахо и Нью-Мексико, Аризона и Вайоминг — такие же стандартные сдвоенные места действия. Ясно без слов, что ковбой участвовал в перестрелке только с целью самозащиты и что рано или поздно это дело будет выяснено. Усталый и измученный ковбой спрашивает, нет ли работы, получает ее, видит мельком дочь владельца ранчо (или племянницу, или, пожалуй, самое хозяйку — ее отец был убит при таинственных обстоятельствах год или два назад) и знакомится с управляющим. К последнему он мгновенно проникается антипатией, тотчас после того, как с первого взгляда влюбляется в героиню.

Теперь любовный треугольник окончательно замкнут, и роман начинает развиваться на большой скорости. Главы вторая, третья и четвертая завязывают сюжет: на ранчо нападает банда грабителей, угоняющих скот, причем личность их предводителя остается неизвестной. Управляющий, обрученный с героиней, высказывает предположение, что этим предводителем может быть неизвестный ковбой. Поэтому в первой половине книги девушка и управляющий действуют заодно против ковбоя. В середине романа треугольник сдвигается и происходит смена партнеров. В главе пятой и шестой несколько мелких происшествий, связанных с женихом девушки, возбуждают ее подозрения, и в начале седьмой главы она переходит на сторону ковбоя. Снова двое действуют против одного, но управляющий (в котором неискушенный читатель признает теперь предводителя бандитов; опытный читатель знал это с самого начала) остается уже в единственном числе. Две главы проходят в мелких стычках между перетасованными силами. Управляющий скрылся теперь в свой притон в горах и готовит там решающий удар — никак не меньше, чем угон всего стада. В виде подготовки к этому он в главе десятой похищает героиню, используя ее как приманку, чтобы привлечь героя, который тут же бросается в погоню. В главе двенадцатой происходит драматическая развязка: двое влюбленных осаждены шайкой бандитов. Ковбой расстреливает осаждающих с убийственной точностью, сам же получает только мелкие царапины. Но запас патронов у него истощается, и, когда он иссякнет окончательно, их схватят.

Теперь мы подходим к тринадцатой главе — и наступает время для вмешательства судьбы. Когда у героя остается только три патрона, вдалеке раздается гиканье, и в должный момент на сцену врывается спасательный отряд из ранчо, разгоняя бандитов на все четыре стороны. Если роман носит военный характер, помощь приходит под звуки горна в виде отряда американской кавалерии из ближайшего военного форта. Тем временем бывший управляющий спасается бегством, делая необходимой четырнадцатую главу. Она посвящается преследованию бандита ковбоем и последнему револьверному поединку между ними с заранее предрешенным исходом. В главе пятнадцатой сводятся концы с концами, и она завершается объяснением ковбоя в любви. Это объяснение — само по себе классический пример вульгарности. Хотя ковбой весьма ловок в действии, он явно не в ладах с речью, и чувства, переполнявшие его с первого взгляда на героиню, еще не нашли себе словесного выражения. Однако настал решительный момент, и он не может больше откладывать объяснение. На последней странице романа описывается, как он едет рядом со своей возлюбленной навстречу чудесному солнечному закату, его сердце разрывается на части от чувств, которые давно уже переросли его словарный запас, и он наконец делает над собой величайшее усилие. Его голос слегка дрожит от напряжения, его страсть бурлит, и ему удается произнести одно из поистине бессмертных признаний, созданных в американской литературе: «Кажись, я втрескался, де-вушка».

На этом история заканчивается. По избитым рельсам ее сюжета прокатились тысячи сходных, если не тождественных повествований. К периоду создания романов о Западе были отброшены все прикрасы детерминизма и был расчищен путь для абсолютного господства индивидуальной воли. За внешней фабулой, любовной романтикой, непрерывным примитивным действием и неизменными штампами этот факт оставался столь же заметным и главенствующим, как в трагедиях Корнеля, специально посвященных вопросу воли.

Литературный и кинематографический образ жителя дикого Запада был настолько далек от действительности, насколько позволяли воображение автора и тре-

бования психологии рядового американца. На самом деле бандиты не всегда бывали пойманы; на основе первых грабежей они нередко создавали целые скотоводческие империи. Ковбои погибали во время ружейной перестрелки с бандитами так же часто, как и одерживали победу. «Плохие» владельцы железных дорог чаще добивались разрешения на строительство пути, чем получали отказ. Борьба между владельцами крупного скота и овцеводами не всегда кончалась, как в книгах, в пользу овцеводов. Мрачные стороны жизни на границе с ее тяжелым, однообразным трудом умышленно исключались из ковбойских романов. И все же дошедшие до нас предания об этой жизни, созданные больше фантазией, чем действительностью¹, сосредотачивают внимание на героизме, мужественности, физической свободе — качествах, которые кажутся особенно заманчивыми теперь, когда ввиду угрожающей обстановки в мире стеснена свобода действий отдельной личности. Тогда, несомненно, имелось больше простора для деятельности свободной воли, или так по крайней мере казалось людям. Герой ковбойских романов отражал, символизировал и обобщал в себе все это в наиболее чистой и понятной всем форме.

Концепция личности, торжествующей над окружающим ее миром, способствовала созданию и современных нам образов. Наряду с героями исторических произведений и романов о дикой границе приобрели известность более современные, но вызывающие столь же сильное восхищение фигуры: гангстер и циничный бывалый парень. Американский гангстер — единственный в своем роде тип бандита. Робин Гуд, по существу, придерживался лучших традиций англосаксонского рыцарского кодекса и имел определенные социальные убеждения. Романтические бандиты, характерные для латинских стран, испытывали страсть к приключениям и занимались бандитизмом чуть ли не из любви к искусству. Американский же гангстер, наоборот, был холод-

¹ В такой степени, что жители Запада, по утверждению Бернарда де Вото, восприняли поверья, привычки и даже протяжное произношение, характерные для ковбойских романов. Вот наглядный пример, когда литература в свою очередь воздействует на жизнь.

ным, расчетливым бизнесменом, для которого убийство было лишь новым способом делать бизнес (как для Клаузевица война представляла собой лишь продолжение дипломатии иными средствами). В сентиментальной юности его изображают как продукт американских трущоб, как человека, доведенного до преступления нищетой и плохими жилищными условиями и, по существу, не виноватого в том, что он творит. Но, вырастая, он становится беспощадным злодеем, который охотится за крупными деньгами и ни перед чем не остановится, чтобы их получить. В разгар «деятельности» гангстеров в 20-х и 30-х годах их «подвиги» будоражили всю страну и послужили сюжетами для серии сенсационных фильмов с Джеймсом Кэгни и Эдвардом Г. Робинсоном в главных ролях¹. Ал Капоне если и не был в полной мере героем, то, во всяком случае, являлся объектом такого же благоговейного страха, как любой промышленный магнат, а Джон Диллингер — последний представитель пиратствующей школы гангстеров — вызывал у многих читателей газет желание, чтобы его эффектная карьера продолжалась подольше — с таким наслаждением они читали о ее драматических перипетиях.

Гангстер был, хотя и в извращенном виде, резко выраженным индивидуалистом, жившим независимо от общества по законам, созданным им самим и навязанным другим столь безжалостно, что его личная роль в процессе грабежа сильно возрастала. Подобно магнату-разбойнику прошлого века, он резко выделялся из массы менее удачливых людей. Его временное исчезновение с американской сцены, вызванное отчасти отменой сухого закона, который вначале способствовал его деятельности, и закрепленное неожиданной активностью Федерального бюро расследований, породило у публики чувство сожаления не столько из-за невольного сочувствия удачному преступлению, сколько из-за растущей склонности ко всякому проявлению личной воли. Когда Диллингер нашел в 1934 году свой конец под пулями

¹ Предполагалось, что гангстерские фильмы оказывали плохое действие на молодежь, создавая в ее среде правонарушителей, но, по всей вероятности, они служили скорее волнующим зрелищем для взрослых.

полицейского на одной из улиц Чикаго, Роберт Э. Шервуд на следующей год почтил его память в своей пьесе «Окаменевший лес».

Спасаясь от полиции, герой пьесы Роберта Э. Шервуда — гангстер Дьюк Мэнти — подходит к краю окаменевшего леса в пустыне Аризоны. В последней схватке, подтверждая свое неповиновение закону градом пуль из своего дымящегося револьвера, Дьюк падает, сам сраженный пулей, и становится одной из окаменевших мумий в пустыне, последним пережитком прошлого, теперь (как утверждает драматург) безвозвратно ушедшего. Другой не менее известный литературный герой, который был создан В. Р. Бэрнеттом — Маленький Цезарь, — проходит тот же путь развития, не покидая улиц Нью-Йорка и не прерывая своей гангстерской «деятельности», и приходит к такому же драматическому концу. Это поколение гангстеров позже имело своих преемников, которые преуспевали в 40-х и 50-х годах, прикрываясь разными масками респектабельности или анонимным «синдикатом преступлений», но никогда не достигали такой популярности и не вызывали такого восхищения публики, как их предшественники. Фрэнк Костелло и Алберт Анастасия казались только слабыми копиями таких неукротимых индивидуалистов, как Диллинджер и Капоне.

На почве крайнего индивидуализма, независимости и вызова обществу вырастает своеобразный героизм. Преступник-дилетант, действующий под влиянием импульса, возбуждает скрытую симпатию миллионов людей (как, например, один шофер нью-йоркского автобуса, который, вместо того чтобы совершать рейсы по обычному пригородному маршруту, угнал в один прекрасный день свою машину во Флориду, или помощник кассира, бежавший из банка с 800 тысячами долларов, которые стал беспечно пускать по ветру). Но спекулянт с «черного рынка», тайно действующий за кулисами, или интендантский генерал, сообщающий секретную информацию о контрактах для армии своим деловым компаньонам, или же ночной вор-взломщик, всеми способами старающийся остаться неузнанным, возбуждают к себе очень слабый интерес и, конечно, не вызывают никакого восхищения. Скрытность лишает действие его психологического значения и уничтожает его ценность как символа. Действие остается предосудительным, не становясь вы-

зывающим, а вызов — это именно та черта, которая придает смысл нарушению закона. Умственное и духовное отрицание установившихся взглядов или порядков не вызывает сочувствия; либо к нему отнесутся равнодушно, либо оно вызовет раздражение и враждебное отношение со стороны тех, кто был бы увлечен аналогичным поступком, если бы он носил чисто физический характер. В истории Америки бандиты вызывали в свое время больше восхищения, чем мятежные поэты, ученые и жертвы общественного порядка. Широкой публике имя Джесс Джеймс говорит больше, чем Уиллард Гиббс, Малютка Билли — больше, чем Эмили Диккинсон. Ал Капоне привлек сердца большего числа американцев, чем это могли сделать все организаторы фермы Брук, взятые вместе, и если многих увлекали дела Красавчика Флойда и Детки Нелсона, то почти никто не слышал о Джоне Джеб Чэпмане и Рандолфе Борне.

Кровным братом гангстеру приходится бывалый парень, который принимает на себя жесточайшие удары судьбы и все же продолжает борьбу. Эрнест Хемингуэй создал целую галерею героев этого типа — людей, которые еще в раннем возрасте узнали, что мир — это роковое место, где «дышится с трудом», и которые выработали для себя кодекс выносливости и смелости, дававший им возможность выжить в этом мире, не утрачивая мужества. Строка из Хенли «покрыта кровью голова, но не склонится никогда» — может служить эпиграфом к их поведению. Джейк Барнес, ставший импотентом вследствие полученной на войне раны, с непреклонным упорством цепляется за то, что еще осталось ему в жизни. Лейтенант Генри переносит ужасы войны и смерть Кэтрин Баркли, не согнувшись под тяжестью удара ни на один миг. Джек Бреннан, предательски сраженный в тринадцатом раунде своего последнего боя, заставляет себя подняться с каната и уже в агонии наносит свой решающий ответный удар. Фрэнсис Макомбер спасается бегством от раненого льва, но на краю смерти преодолевает свой страх и смело преграждает путь нападающему гиппопотаму. Старый кубинский рыбак, поймав гигантскую рыбу, до конца борется против акул, разрывающих его добычу, хотя и знает, что эта борьба безнадежна. Хемингуэй придал новое, трагическое значение вызову, который бросает грубому и жестокому миру

пострадавший от него индивидуалист-романтик. Неукротимый дух героев Орейшо Олджера был теперь поднят самым влиятельным писателем своего времени на необычайную высоту.

Вариантом бывалого парня является прожженный частный сыщик — чувственный и совершенно аморальный человек, который, подобно героям Хемингуэя, существует скорее благодаря быстроте своих рефлексов, чем гибкости своего ума. Ему тоже удастся уцелеть в кровавом мире только потому, что он теряет меньше крови, чем его противники, и освоил лучше, чем они, этику дарвиновской борьбы за существование. Хотя детективные рассказы как таковые ведут свое начало от Эдгара Аллана По, но все же образ бывалого сыщика появляется в литературе лишь много лет спустя после первой мировой войны. Обычно считается, что его создал Дашиэлл Хэммет в своей книге «Красный урожай». Во всяком случае, в этом раннем произведении Хэммета частный сыщик проделывает все те действия, которым вскоре суждено было стать классическими. Нанятый отыскать какой-нибудь важный предмет (нефритовое ожерелье, долговую расписку, компрометирующую фотографию), наш герой — в возрасте от 30 до 40 лет и в великолепной физической форме — оказывается в затруднительном положении. Он перебивается от одного случая к другому, не имея до самого конца ясного представления о том, куда они его ведут и кто главный преступник в доверенном ему деле. Как и в приключениях Каупервуда, эротические эпизоды без конца чередуются со сценами насилия. Герой крутит роман в среднем с тремя-четырьмя неотразимыми женщинами, поглощает четыре-пять кварт крепких спиртных напитков, выкуривает несколько ящичков сигарет; от семи до десяти раз его бьют по голове, ранят из револьвера и избивают в рукопашных схватках. Что же касается выяснения порученного ему дела, то здесь он бродит ощупью, как в густом тумане. Планы его поневоле весьма ограничены, так как он способен видеть не дальше очередного угрожающего ему лица, неожиданно вырастающего перед ним, и главная его задача состоит только в том, чтобы уцелеть самому. Он разборчив в средствах не более, чем драйзеровский магнат-разбойник, и играет на крупные ставки (если не на деньги, то на

жизнь) в столь же опасном мире. Его взаимоотношения с полицейскими сыщиками, которые так же упорны и неразборчивы в средствах, как и он, немногим лучше, чем с настоящими преступниками; одной из характерных черт его похождения является отсутствие какой-либо разницы с точки зрения моральных принципов и культурных навыков между всеми персонажами романа независимо от того, действуют ли они во имя закона или вопреки ему.

В основе их бытия лежит «я», ощетинившееся для самозащиты и строящее ловушки врагу. И все между собой враги. При этом вражда здесь является чем-то самодовлеющим, как вражда между животными; в ней нет ничего личного. Это дух конкуренции в борьбе за существование, схватка между противниками, которые руководствуются законами, не имеющими ничего общего с любовью или ненавистью, мнением или убеждением. Этот чистый биологический эгоцентризм в своем литературном выражении лучше всего представлен в шедевре детективного жанра — в романе «Мальтийский сокол» Дашиэлла Хэммета.

Главный герой романа Сэм Спейд — чрезвычайно характерная фигура. Когда его компаньона по сысльному агентству убивают во время расследования очередного дела, он расстраивается, но не из жалости к убитому, а из опасения, что если ему не удастся быстро поймать убийцу, то это плохо отразится на его бизнесе. Позже он затевает любовную интригу с красивой клиенткой, но когда обнаруживает, что она и есть убийца, то, не колеблясь, отдает ее в руки полиции. Не из уважения к закону и не из желания содействовать правосудию или отомстить за убитого компаньона. А просто, чтобы спасти свою собственную шкуру: он трезво рассудил, что его возлюбленная не остановится перед тем, чтобы когда-нибудь убить его, если это потребуется для осуществления ее целей. Все действующие лица романа, независимо от их положения, находятся в вечной погоне за каким-нибудь козлом отпущения — жертвой, которую можно бросить полиции, если она подойдет слишком близко. Это жертвоприношение, так напоминающее обычаи некоторых первобытных племен, — стандартный прием, который способствует бесконечному усложнению сюжета сенсационного детективного романа и придает

эгоцентризму его героев еще бóльшую остроту и жестокость. Общая хищная атмосфера заражает также и полицейских. Они так же безжалостны и так же склонны прибегать к крайним мерам, как и те, кого они преследуют. Идеальная красота закона и порядка начинает тускнеть, пока вскоре все стороны, включая полицию, не приобретают одинаковую аморальную окраску. Граница между цивилизацией и дикостью начинает стираться, и даже состоящие на государственной службе агенты цивилизации лишаются своих функций, которые сводятся постепенно к пустой формальности. Сенсационный детективный роман становится кратким вариантом не столько окружающей действительности, сколько дарвинизма, доведенного до своей жестокой, но логичной крайности.

Бывалый парень в его самой грубой, животной форме, герой Хемингуэя, лишенный Хэмметом и Чэндлером большей части своего достоинства и благородства, воплотился в Майке Хаммере — чудовищном садистском образе, созданном Микки Спиллейном. Майку нравится дробить суставы пальцев своих противников рукояткой револьвера; ему доставляет удовольствие стрелять женщинам в живот, чтобы наблюдать за их медленной мучительной агонией; он прокладывает себе путь среди дегенеративных личностей как неумолимый мститель, применяющий страшные методы наказания преступников. От его походов отдает таким резким духом зверства, что они сразу превращаются в калейдоскоп кошмаров, не имеющих ничего общего ни с искусством, ни с проникновением во внутренний мир героев. С момента появления книг Спиллейна в конце 1940-х годов они распродаются в миллионах экземпляров, главным образом в дешевых переизданиях. За 25—35 центов эти книги в мрачной обложке, где эффектно нарисован Майк, направивший револьвер на полуголую блондинку, вызывают, подобно быстрым глоткам дешевого джина, сильное нервное возбуждение, на которое в той или иной мере реагирует любой читатель. В этих книжках бывалый парень достиг предела своего пути. Легенда о покорении им мира чисто физическими средствамишла здесь наиболее полное выражение.

Особое положение, которое заняли военные в глазах публики во время второй мировой войны и в годы,

последовавшие за ее окончанием, привело к появлению в жизни генералов, необычайно похожих на литературный образ бывалого сыщика, перенесенный с незначительными изменениями на арену боевых действий. Самым типичным из них был генерал Джордж Паттон, удачно прозванный «Старым служакой» и «Крепышом». Он был очень энергичен, обладал прекрасными физическими данными, словом, был отличным символом антиинтеллектуализма в его простейшей американской форме. Он воплощал в себе разновидность национального эгоцентризма: самонадеянный, воинственный и в то же время капризно обидчивый и наивный. Пресловутый инцидент с избиванием солдат обнаружил его полное пренебрежение к их психологии. Он был уверен, что солдат, переутомленный боем, притворяется, что нервы — это выдумка симулянтов и что только два вида морального состояния имеют реальное значение: храбрость и трусость. Все остальное — вздор. Человек либо годен, либо не годен. Тут не может быть двух мнений, и всякий, кто думает иначе, — это сующийся не в свое дело, чертовски надоедливый субъект, ничего не смыслящий в человеческой натуре. От всего этого новомодного бреда о психологии и психиатрии сильного человека может только тошнить. Много позднее, когда военные действия окончились, Паттона назначили управлять частью оккупированной Германии, и он почти сразу же снова попал в затруднительное положение, отказавшись признать значение идей. Он заявил, что ему трудно определить разницу между нацистами и антифашистами. В сущности, вызываясь заявил Паттон, он вообще не видит между ними никакой разницы. В связи с этим, к своему большому изумлению, он был отстранен от занимаемой должности. Мир и мирные проблемы совершенно явно ставили его в тупик, и вне своего танка он был потерянным человеком.

Танк, являвшийся излюбленным оружием Паттона, олицетворял для него механическую, управляемую физической силой Америку, которую он защищал — со всеми ее хорошими и плохими сторонами. Это было наступательное, стремительно действующее оружие, полное прекрасных механизмов, мощное и хорошо налаженное; бесполезное, когда оно стоит на месте; выполняющее свое назначение только тогда, когда оно

сметает на своем пути все преграды и побеждает. Мир, если смотреть на него из танка, был обыкновенной территорией, где не возникали никакие вопросы политики и морали, и мог управляться простой силой, если бы только люди, никогда не сидевшие внутри танка, не совались куда не следует и не портили его. Генерал, командовавший третьей армией, сидя за надежной броней танка, смотрел на все проблемы через смотровую щель танка. Нельзя сказать, чтобы в боях он одерживал лишь одни громкие победы, но зато ни один американский генерал не мог превзойти его по части рвения, динамизма, бравады, стремительности и страстного увлечения боем. Он стал своего рода героем для тех, кто так же, как он, упрощал жизнь; с другой стороны, тем, кто смотрел на него как на тупицу и препятствие для осуществления гуманных целей, он казался грубым, некультурным варваром. Но для тех и других он был олицетворением американца, который неспособен думать и гордится этим. Лишь однажды Паттон приблизился к тому, что только весьма отдаленно напоминало мысль, когда после победы на поле битвы он сочинил очень плохие стихи во славу своего воинствующего бога. Этот порыв литературного вдохновения, проникнутого пуританским благочестием, придал его монолитной в остальном фигуре несколько своеобразный оттенок.

Чтобы не сложилось мнение, что все военные похожи на Паттона, следует упомянуть о другом, еще более известном американском генерале, получившем такое же военное образование, но пришедшем почти к диаметрально противоположным результатам. Этот генерал — Эйзенхауэр. Контраст кажется еще более разительным в силу близких взаимоотношений между ними. Эйзенхауэр был начальником Паттона в Африке, Сицилии и Западной Европе; он расследовал дело об избиении Паттоном солдат; и он же снял Паттона с административной должности в Германии. Если Паттон в своих поступках руководствовался только инстинктом, то Эйзенхауэр проявлял известную рассудительность. Если Паттону для характеристики поведения человека было достаточно только двух красок — черной и белой, то Эйзенхауэр принимал во внимание сложные психологические мотивы и изменяющиеся обстоятельства. В мирное время Паттон терялся и чувствовал себя неприспособлен-

ным к делу; для Эйзенхауэра переход от военной обстановки к условиям мирного времени был вполне закономерен — он стал ректором Колумбийского университета, затем командующим вооруженными силами НАТО и, наконец, кандидатом республиканской партии на президентских выборах. Одной из причин его избрания в 1952 году были огромное уважение и симпатия, которые он снискал у миллионов американцев обеих партий еще задолго до начала избирательной компании. Оба генерала — типичные представители двух Америк, глубоко различных по своему характеру. Если Паттон олицетворяет собой грубый, самоуверенный эгоцентризм в сочетании с умственными способностями бойскаута и этикой джунглей, то Эйзенхауэр является образцом скромного, непритязательного и безусловно порядочного человека, глубоко сознающего свою моральную ответственность.

В развитии образа американского литературного героя наблюдаются признаки отхода от упорного эгоцентризма, проявившегося в примитивных условиях жизни на границе, в новой обстановке развития техники и промышленности, в мире организованного преступления и на арене войны. На общественную сцену стали выходить люди, все более ясно представляющие себе всю сложность жизненных проблем, сознающие свою неопытность, но все же не теряющие решимости бороться и достигнуть успешных результатов. В военной среде грубые, хвастливые и самоуверенные эгоисты типа Маккартура — Паттона все больше вытесняются со сцены такими людьми, как Маршалл, Эйзенхауэр и Брэдли, которые подкупают соотечественников своей выдержкой, редко позволяют себе выступать на первый план и в своей профессиональной работе производят впечатление серьезных и зрелых деятелей.

Аналогичную перемену можно наблюдать и в развитии героя киноэкрана. Дуглас Фербэнкс был любимым актером прошлого поколения. Он преодолевал трехметровые стены, ловко и бесстрашно дрался на шпагах, брал штурмом неприступные крепости и совершал чудеса акробатического искусства в стиле кинематографического Пола Баньяна. Он оставался все время немым, без малейшего проблеска мысли или сомнения, и был совершенно равнодушен к любым переживаниям, более

сложным, чем желание стереть в порошок своего врага. Фербэнкса сменили Джеймс Кэгни и Хамфри Богарт, которые действовали в тех же самых измерениях, но применяли физическую силу более совершенными и современными методами. Наряду с этими актерами пользовались успехом Кларк Гейбл и Кэри Грант, вращавшиеся в фешенебельном обществе, а не в трущобах преступного мира, более, пожалуй, деликатные, но не менее энергичные; подобно Фербэнксу, они никогда не испытывали ни малейшего сомнения в том, что им удастся преодолеть любое препятствие, стоящее на их пути. Вслед за ними в свою очередь возник новый тип киногероя, который впервые стал догадываться, что, пожалуй, не все жизненные проблемы могут легко решаться при помощи револьвера или ударом кулака в нос. Его манеры отличались скорее робостью, чем нахальством; он имел не драчливый, а озабоченный вид и предпочитал вбирать в себя плечи, вместо того чтобы сжимать кулаки. На смену агрессивности и бахвальству пришли скептицизм, беспокойство, самобичевание, застенчивость и чувствительность. Новый герой вращался в мире, обладавшем в одинаковой мере психологическими и физическими критериями. Его «я» перестало быть всеобъемлющим центром; он добивался удачи в суровой обстановке жизненных лишений. Этот новый тип киногероя, роль которого играли такие актеры, как Генри Фонда, Грегори Пек, Джеймс Стьюарт, Уильям Холден, представлял собой шаг вперед на пути к реальности и зрелому мастерству. Не уничтожая и не вытесняя более ранние образы, этот тип героя вошел в их среду и стяжал среди них свою долю успехов.

Переход американцев от напыщенности, эгоцентризма и самовозвеличения к более сознательному и беспристрастному пониманию жизненных явлений особенно ярко отразился в произведениях Томаса Волфа. Он создал образы двух героев по своему собственному подобию — Юджина Гэнта и Джорджа Уэббера; каждый из них своим могучим телосложением и аппетитом так же напоминал героев Рабле, как сам Волф, и в какой-то мере соответствовал простору и мощному движению вперед самой страны. Пожалуй, самый алчный из американских романистов Волф поглощал самого себя

и все, чего он касался; все в нем было преувеличено в несколько раз по сравнению с обычным жизненным масштабом. Его интерес к еде и питью превратился в неумную страсть; его обращение к яблокам, салату и филейному бифштексу звучит как пылкое объяснение ослепленного страстью человека со своей возлюбленной. Жажда Юджина Гэнта к чтению была так ненасытна, что он поглотил буквально все содержимое Гарвардской библиотеки в поразительно короткий срок:

«... он бродил ночью между библиотечными шкафами, извлекая книги с тысячи полок и зачитываясь ими, как сумасшедший. Мысль об этих обширных штабелях книг сводила его с ума: чем больше он читал, тем меньше, казалось, знал... За 10 лет он прочел по меньшей мере 20 тысяч томов... а перелистал и проглядел во много раз больше. И все же эта потрясающая книжная оргия не принесла ему ни утешения, ни покоя, ни умственного и сердечного просветления. Наоборот, поглощаемые им знания только усиливали его ярость и отчаяние — аппетит его рос по мере еды.

Он читал книги, как безумный,— сотнями, тысячами, десятками тысяч, но не испытывал желания стать ученым; никто не мог бы назвать этот дикий натиск на печать научной работой: необычайный внутренний голод заставлял его читать все, что когда-либо было написано о человеческом опыте. Чтение уже не доставляло ему удовольствия — мысль, что его ждут другие книги, вечно терзала ему сердце. Ему казалось, что он потрошит книги, как дичь...

Эта страсть, заставлявшая его читать так много книг, не имела ничего общего... с нормальным образованием. Он ни в какой мере не являлся ученым и не хотел им стать. Он просто хотел знать обо всем на свете; он стремился объять весь мир и терял рассудок, когда убеждался, что не в силах это сделать»¹.

Волф постоянно сгорал от любовной страсти; влюбляясь в женщину, он мечтал буквально проглотить и переварить ее целиком,— в духе замечания Хейвлока Эллиса, что в глубине души нам всегда хочется съесть то, что мы любим. И так было во всем, с чем ему при-

¹ Thomas Wolfe, *Of Time and the River*, New York, Scribners, 1935, p. 91—92.

ходило стлкваться. Стремление объять весь мир безудержно влекло Волфа к темам и переживаниям, к которым он без конца возвращался: это образ любимого и преждевременно умершего брата; американский континент с его географическими просторами и красотами; обтрепанные белые бедняки с Юга, к которым он чувствовал отвращение; богатые евреи, к которым он испытывал то ненависть, то восхищение; одиночество, любопытство и ущемленное честолюбие. Безмерный эгоцентризм Волфа является ключом к его преувеличенным чувствам, к ненасытной жажде самовыражения и успеха, к субъективистским извращениям его ранних взглядов на жизнь. Стремясь использовать свои собственные возможности, он без конца эксплуатировал ресурсы других, как шумная бетономешалка, в которую льется нескончаемый поток сырья.

Этот эгоизм царит безраздельно на протяжении трех больших романов Волфа, захватывая, обжигая и иссушая все, что попадет в его орбиту. Он порождает у молодых героев Волфа гордость и ненасытность, страсть, граничащую с безумством, растущее чувство разочарования, которого, по-видимому, не может ослабить никакой успех. Ни женщины, ни самая страстная любовь, ни литературные удачи не могут умиротворить героев Волфа, настолько велико и непреодолимо обуревающее их тщеславие. Именно это неутолимое тщеславие постепенно углубляло пропасть между Волфом и окружающим его миром.

Однако наряду с утомительным примитивным хаосом чувств, отраженных в романах «Вернись домой, Эйнджел», «О времени и реке» и «Паутина и скала», в душе Томаса Волфа боролись и рвались наружу другие стремления — к правде и ясности; к тому, чтобы изображать мир в его настоящем виде, не втискивая его в ложно разукрашенные формы, нужные неумному «я»; к единству всех людей. Эти стремления проявлялись сначала стихийно и в течение долгого времени грозили совсем исчезнуть. Только нежелание Волфа расстаться с чем-либо из того, что он переживал, помогло, вероятно, этим мимолетным тенденциям удержаться в течение такого длительного периода.

Процесс накопления жизненного опыта был для Волфа столь же мучителен, как и все остальное в его

жизни. Чувствовалось, что он прилагал огромные усилия к тому, чтобы взять себя в руки и избавиться от своих попыток объять весь мир, смяв его в комок и впитав в себя. Эти попытки Волфа продолжались и потом, однако, постепенно ослабевая. В его последнем романе «Вам нельзя вернуться домой» наряду со старыми тенденциями имеется немало страниц, написанных беспристрастно и пронизательно, свободных от сентиментального безумия, пронизывавшего его более ранние произведения. Когда Уэббер порывает свои отношения с миссис Джек, кажется, что с него спадают последние оковы его мятежной юности, и его глаза освобождаются от заволакивавшего их чувственного тумана:

«... он понял, что нельзя одновременно гнаться за двумя зайцами... Он понял, что не может объять весь мир, что он должен уяснить себе и признать ограниченность своих возможностей. Ему стало ясно, что многие из его страданий прошлых лет были надуманными, являясь неизбежным следствием его роста. И, что важнее всего для человека, который так медленно становился взрослым,— ему казалось, что он научился не быть рабом своих чувств»¹.

Волф неожиданно обнаруживает в себе способность разбираться в недостатках других людей. Он начинает серьезно задумываться над смыслом жизни и завязывает длинную переписку со своим редактором на тему о добре и зле. Он чувствует, что в нем растет стремление к гуманности. Он вдруг начинает замечать депрессию и наличие миллионов безработных, приближение мировой войны, реакцию и прогресс. Он чувствует необходимость для себя занять определенную позицию и после многих месяцев раздумья и споров проникается верой в людей, оптимистическим взглядом на будущее и удивительной убежденностью в силе разума.

Если раньше Волфу казалось, что действительность — это бешено мчащийся поток, то теперь она начинает принимать для него определенные формы. Он начинает думать об искусстве в отрыве от своих собственных переживаний. Отсюда до признания будущего Америки всего один маленький шаг:

¹ Thomas Wolfe, *You Can't Go Home Again*, New York, Harper, 1940, p. 6.

«Мне кажется, что мы здесь, в Америке, чувствуем себя потерянными, но я верю в то, что мы сумеем себя найти...

Я считаю, что настоящее открытие Америки еще впереди. Мне кажется, что все предначертанное для нашего духа, нашего народа, нашей могучей и бессмертной страны еще осуществится. Я полагаю, что подлинное осуществление нашей самобытной демократии — тоже еще дело будущего. Я убежден, что все это так же верно, как то, что наступит утро, и так же неизбежно, как то, что за ним последует полдень. Я думаю, что выражу мнение большинства американцев, если скажу, что наша Америка — Здесь, Теперь и влечет нас к себе и что в этой радостной уверенности не только наша надежда, но и осуществление нашей мечты»¹.

Заключительный раздел последнего романа Волфа завершается новым открытием самого человечества:

«И мне кажется, что сущность всей веры для такого человека, как я, сущность религии для людей, разделяющих одинаковые со мной убеждения, заключается в уверенности, что жизнь человека может стать и станет лучше; что величайшие враги человечества, в том виде, в каком они сейчас повсюду существуют, — страх, ненависть, рабство, жестокость, бедность и нужда — могут быть побеждены и уничтожены»².

Таким образом, явно отрешившись от губительного тщеславия своей ранней молодости, Волф теперь был в состоянии по-новому понять жизнь. Но в этот момент, когда перед ним открывались безграничные возможности, его настигла смерть. Его последний роман, хотя и не законченный, представляет собой яркую летопись, с одной стороны, травм и извращений, к которым приводит «я», если его сделать средоточием всей личности, и с другой — той последовательности, с какой ослаблялось его влияние. Этот процесс ослабления эгоцентризма лишил творчество Волфа в известной мере его живости и красочности. Роман «Вам нельзя вернуться домой» более скучная, менее живая книга, чем другие его произведения; большая часть ее напоминает скорее фи-

¹ Thomas Wolfe, *You Can't Go Home Again*, New York, Harper, 1940, p. 741.

² Там же, стр. 738.

лософский трактат, чем роман. Но она является зеркалом эгоцентрического ума в его переходной стадии, на пути к освобождению от прежних ошибок, к интеллектуальной независимости и зрелому суждению.

То, что случилось с персонажами романов Волфа, происходило и с образом американского героя вообще. Он начал действовать с высоты величия и затем стал медленно спускаться обратно на землю. Пустота чисто физического свойства постепенно наполнялась психологическим содержанием. Уверенность этого героя в полной победе сменилась трезвым пониманием того, что окружающий мир никогда не допускает победы в абсолютном смысле. Эпические масштабы легенд и фантазии сузились до более жизненных, соответствующих действительности размеров. На смену Пикосу Биллу, покорявшему весь Запад, явился Гэри Купер с обветренным лицом, пытающийся лишь поддержать свое существование на пыльной улице заштатного провинциального городка. Фрэнк Каупервуд, совершавший свои грандиозные финансовые комбинации в Филадельфии, Чикаго и Лондоне, уступил свое место Джорджу Эпли и Гарри Пулхэму — разочарованным героям Дж. П. Марканда, которые легко нажили большие капиталы, но убедились, что это не принесло им счастья.

Падение героя совпадало с переменой в окружающей обстановке. Простой образ жизни XIX века приобрел теперь различные оттенки, глубину и сложность; внешняя среда теперь меньше поддавалась воздействию, не так легко уступала индивидуальной воле и все сильнее противостояла прямому натиску. Если американский литературный герой на этой более поздней стадии стал меньше похож на гиганта и больше — на обыкновенное человеческое существо, то он лишь отражал перемены, происшедшие во внутренней обстановке страны на ее пути к менее примитивному, более глубокому пониманию человеческого опыта, значения окружающего мира и всей трудности задач, стоящих перед ней в будущем.

ПОЛНОЦЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Г Л А В А X I

ИНТУИЦИЯ И БЛИЗКИЕ ЕЙ ПОНЯТИЯ

I

Одним из опасных врагов интеллекта является интуиция, эта таинственная, неуловимая способность человека. Как утверждают ее сторонники, она служит источником великих научных открытий, глубокого проникновения в истину и даже наших повседневных предчувствий, которыми мы часто руководствуемся в наших действиях. Вопрос о том, что такое интуиция, был предметом многих рассуждений, большая часть которых завершилась таким же неопределенным выводом, к какому пришел приор из поэмы Броунинга, пытаясь дать определение душе:

Что есть душа? Огонь и дым... нет, все не то...
Иль пар, невинный, как новорожденное дитя...

.....
А, впрочем, что тут толковать? Душа и есть душа!»¹

Обычно полагают, что интуицией бывают наделены женщины, дети, животные и гении; при этом она отличается непостоянством, появляясь и исчезая в самые неожиданные моменты, часто без всякого намерения и даже без ведома одаренного ею лица. На протяжении многих веков женщинам приписывалось некое чистое чувство — интуиция, не связанная с доводами рассудка, а также специфическая способность и врожденная склонность к мистическому опыту. Героиней детективных рассказов Фрэнсис и Ричарда Локриджей — женщина-сыщик Памела Норт обладает природной интуицией. Она идет как будто по ложному с внешней стороны следу,

¹ «Fra Lippo Lippi», lines 184—185.

пренебрегает методически правильным подходом к делу, отказывается признать очевидные факты и тем не менее всегда раскрывает преступление. Она приводит в отчаяние окружающих ее рассудительных людей, которые высоко ценят ее способности, но решительно не могут понять, каким образом она действует.

Интуитивно действующие дети и животные встречаются в литературе на каждом шагу. Ребенок, который оказывается умнее взрослого,— конечно, не в умственном, а в духовном отношении,— популярный образ в стихах, романах, фильмах и в фольклоре. Наиболее возвышенный образ такого ребенка создан, пожалуй, Водсвортом:

О ты, чей облик так обманчив,
Скрывая глубину твоей души;
Философ мудрый, сохранить сумевший
Свое наследство; зрячий средь слепых,
.....
Пророк великий! О благой провидец!
Кто истину познал,
Которую всю жизнь мы тщетно ищем...¹

Дети в произведениях Диккенса обладают интуитивной способностью выносить правильные с моральной точки зрения суждения, способностью, которая может сравниться только с их умением мужественно переносить наказания. Дети — герои фильмов, от Шэрли Темпл до Маргарет О'Брайен, всегда проявляют необыкновенное чутье в отношении интересов путаников-взрослых, разрешая их эмоциональные проблемы удивительно тонко и исчерпывающе.

Полагают, что и животные, в особенности собаки и лошади, обладают такой же интуицией, хотя не всегда ясно, где у них кончается инстинкт и начинается интуиция. Рин-Тин-Тин обычно узнавал своих друзей и врагов еще задолго до того, как они себя проявляли. Лэсси всегда мчался² к своей цели, не сбиваясь с пути,— был ли это дом, находившийся от него в пятистах километрах, друг, оказавшийся в опасности, или военный объект. Лэсси несравненно умнее окружающих его людей;

¹ «Ode on Intimations of Immortality», lines 109—111, 114—116.

² Несмотря на кличку («Лэсси» — по-английски значит «девушка»), роль Лэсси в кино исполнял кобель.

он спасает их от множества бед, которые их постигают через каждые несколько кадров. Лошади в кино и в легендах также наделены шестым чувством, Каждый герой-ковбой — Уильям С. Харт, Хут Гибсон, Бак Джонс, Том Микс, Рой Роджерс, Джин Отри — владел таким благородным конем, который не только совершал чудеса ловкости и проворства, но даже разгадывал заговоры против своего хозяина (подвиг, пожалуй, не столь замечательный, если учесть литературный уровень сюжета среднего ковбойского произведения), прорезал, как коса мстителя, полчище врагов, и, когда финал требовал нежности и чуткости, скромно удалялся со сцены, пока герой и героиня таяли в объятиях друг друга.

Что касается гениев, то уже с давних пор известно, что их творческие порывы направляются интуицией. Все разговоры о том, что в основе художественного творчества лежат тяжелый труд, дисциплина, упорство и строго заведенный порядок, нисколько не поколебали романтического представления о художнике, лихорадочно создающем шедевр в один или несколько пламенных порывов вдохновения, или об ученом, в голове которого внезапно, как молния, вспыхивает решение гениального эксперимента. Предполагают, что поэты и композиторы по ряду причин испытывают такие порывы вдохновения чаще, чем другие лица. Восторженные, с блуждающим взглядом или даже (как это долгое время приписывалось Колриджу) подверженные экзотическому влиянию опиума, поэты источают в порыве экстаза свои бессмертные строки, а композиторы садятся за рояль и непринужденно изливают свои симфонии, которые выходят из-под их пальцев готовыми для вечных аплодисментов. Гений всегда отмечен таким огнем вдохновения. Совершенно очевидно, что трудолюбивый парень, работающий в области искусства и трезво занимающийся, как все прочие люди, своим делом, не обладает особым талантом и лишен искры божией. Искра божия — популярный, часто встречающийся термин для обозначения творческой интуиции у великих людей, причем под ним подразумевается нечто более возвышенное и значительное, чем просто разум. Эта искра действует лучше всего в отвлеченном от телесной оболочки состоянии, описанном в следующем отрывке из романа В. Сэквилла-Уэста «Вся страсть угасла»:

«Только в безмолвном трансе возможно настоящее восприятие, в безмолвном трансе чистого чувства, во внетелесном состоянии, когда ничто, кроме покалывания в кончиках пальцев, не напоминает о существовании тела, и какие-то безымянные, чуждые языку образы проплывают в мозгу»¹.

Безмолвный транс, состояние чистого чувства, связанное с безымянными образами, не имеющими отношения к языку,— вот необходимые элементы интуитивного процесса. Он лишен точных измерений, волнообразно протекает в неизвестных направлениях и существует в подсознательной области. Именно эта текучесть и бесформенность и придают ему известное очарование. Вследствие отрыва от сознательного мира, где существуют определенные обязанности и твердые требования, интуитивный процесс кажется особенно подходящим к темпераменту гения.

Увлечение интуицией и связанными с ней явлениями в Соединенных Штатах как раньше, так и теперь исключительно велико. Нумерология, френология, вера в предчувствия, спиритизм, физические проявления духа, телепатия, словом, все, что относится к обширному миру бессознательного, распустилось здесь пышным цветом. По-прежнему широко распространена вера в колдовство, и даже теперь известны случаи убийства «ведьм». Один из наиболее популярных культов — астрология — является чуть ли не важной отраслью науки. Как сообщает Берген Иванс в своей «Естественной истории предрасудков»:

«В Америке имеется 25 тысяч практикующих астрологов, распространяющих свое учение при помощи ста ежедневных газет, пятидесяти ежемесячных журналов и двух ежегодников... Говорят даже, что существует движение, борющееся за назначение официального правительственного чиновника в качестве федерального астролога. Учитывая официальное признание других форм суеверий, можно предположить, что такое движение увенчается успехом»².

¹ V. Sackville-West, *All Passion Spent*, New York, Doubleday, Doran, 1931, p. 170.

² Bergen Evans, *The Natural History of Nonsense*, New York, Knopf, 1946, p. 272.

Все эти пережитки и поверья создают непробиваемую толщу предрассудков, под прикрытием которой процветает слепое недоверие к уму и в которую часто тщетно стучится логика.

Многие из этих пережитков прошлого восходят к отдаленным временам. Только один из них — спиритизм — фактически американского происхождения.

«Современный спиритизм возник в 1848 году в Хайдсвилле (штат Нью-Йорк). Медиумами оказались две маленькие девочки по имени Маргарет и Кэтрин Фокс. История такова. В их доме был убит человек. Дух этого убитого человека возвращался по ночам и привлекал к себе внимание, постукивая по стенам и мебели в комнате девочек. Дети сказали, что дух согласился отвечать на вопросы, обозначая одним количеством стуков «да» и другим — «нет». Известие об этом общительном духе быстро распространилось по всей округе.

Детей увезли в город Рочестер, и, как рассказывают, дух последовал за ними. Теперь все больше и больше людей утверждали, что они слышат духа. Через несколько месяцев «рочестерские стуки», как их стали называть, заинтересовали весь мир. Другие лица «обнаружили», что они — тоже медиумы, и к ним стали являться духи и стучать для них. Так начался спиритизм»¹.

Он приобрел популярность в Соединенных Штатах наряду с разного рода гаданьями — на кристалле, на картах и по линиям рук. Ежегодно различным предсказателям судьбы выплачивается много сотен тысяч долларов. Для распространения их деятельности богатство и образование не имеют значения. Они одинаково пользуются успехом среди богатых и бедных, среди высокообразованных людей, так же, как и среди полуграмотных. Газеты с большим тиражом способствуют их популярности, ежедневно печатая гороскопы и анализы почерков. В полицейских отчетах сообщается о многочисленных налетах на квартиры предсказателей судьбы и ясновидящих, которые практикуют без официальных разрешений или в нарушение закона. Посвященные астрологическому культу журналы, как почти все периодические издания, имеющие дело с мистическими и оккультными явлениями, преуспевают. Единственный вид книг в книжном магазине, о ко-

¹ «The World Book Encyclopedia» (1947), v. 15, p. 7654.

торых можно с уверенностью сказать, что они будут проданы, это издания, касающиеся оккультных и сверхъестественных вопросов. Во многих районах страны существуют «заклинатели» и «ворожеи».

Производство и продажа приносящих счастье амулетов — это оживленный бизнес, обеспечивающий ежегодно миллионы долларов дохода. Говард Уитмэн описывает это явление в статье, напечатанной в журнале «Коллиерс»:

«На сегодняшний день американцы носят в карманах около 10 млн. кроличьих лап. Они покупают четырехлистный клевер в размере 3300 тысяч штук в год. По подсчетам профессора Бруттона Берри из Огайо, в штатах Луизиана, Миссисипи и Алабама тратится ежегодно около 1 млн. долларов на амулеты, магические «приворотные зелья», заклинания и тому подобную чепуху.

В просвещенном Нью-Йорке вы можете купить «кладбищенскую пыль» по 50 центов за пузырек, свечу от злого глаза — за доллар и «монету с глаза мертвеца» — очень сильно действующее средство, как утверждают разносчики суеверий, — за 10 долларов.

Наша непреклонная вера в счастье помогла Чарлзу Брэнду из Нью-Йорка организовать в 1938 году кроличий бизнес, и с тех пор он с выгодой для себя занимается им. Брэнд известен как король кроличьих лап; он ежегодно изготавливает и отправляет со своей фабрики в Уэст-Сайде во все концы страны 1 млн. кроличьих лап. Атланта и Джорджия — наиболее ревностные потребители, за ними следуют по порядку Голливуд, Чикаго, Нью-Йорк и Сент-Луиз...

Четырехлистный клевер благодаря, можно сказать, счастливому случаю стал в 1938 году крупным бизнесом для Чарлза Доналда Фокса, некогда работавшего в Голливуде в области рекламы... В настоящее время он уже продал 30 млн. штук клевера миллионам американцев...»¹

Помимо этих крупных предприятий, существует обширная мелкая торговля предметами суеверия, украдкой рекламируемая в местных газетах, в частных

¹ Howard Whitman, Merchants of Luck, Collier's, 27th, November, 1948.

рекомендательных письмах и устно. Она возникает как реакция на страх и неуверенность, испытываемые людьми, на их стремление избежать ответственности, переложив ее на некий внешний фактор, и на постоянное неверие в способность человека устроить свои собственные дела. Рядом с развивающейся наукой, выдвигающей на первый план рациональные знания, этот последний мотив принял с 1914 года угрожающие размеры.

Интуитивный процесс выражается и в других наглядных формах. Он таится в глубине традиционного, издавна существующего в Америке явления — предчувствия. Вера в предчувствие имеет широкое распространение. Она охватывает покер, игру на скачках, игру на бирже, деловые инвестиции, выбор политического кандидата, отбор игроков для решающей игры в бейсбол и десятки других существенных сторон жизни в Соединенных Штатах. «У меня предчувствие!», «Он действовал в силу предчувствия», «Повинуйся этому импульсу!» — все эти фразы относятся к числу наиболее распространенных в повседневном американском языке. Иметь предчувствие — значит чувствовать что-то у себя внутри, причем «внутри» считается неоспоримым источником истины и познаний. Предчувствия часто служат предлогом, чтобы вовсе не считаться с рассудком. Как многие факторы, придуманные для обуздания человека, они постепенно становятся нормальными орудиями для общения с окружающим миром, превращаясь, таким образом, в соперников разума. Предчувствия носят на себе знакомое клеймо интуитивного процесса. Они неожиданно появляются из небытия или из некоей подсознательной области, не имеющей границ и измерений. Они способны нанести человеку внезапный удар и обладают такой силой убедительности, что их часто принимают за пророческую истину. Отсюда и то значение, какое придается первым впечатлениям или любви с первого взгляда. Предчувствия производят своеобразное впечатление безотлагательности: человеку кажется, что он должен действовать немедленно, иначе упустит какую-то важную для себя возможность, которая никогда уже не повторится. Предчувствия часто возникают в моменты душевного напряжения или внутреннего кризиса, и благодаря серьезности ситуации их указания кажутся более настойчивыми и убедительными. Как и при всякой неожиданности, са-

ма по себе быстрота, с какой они возникают, мешает тщательному анализу, и человек невольно поддается их стремительному натиску.

Предчувствие часто отождествляется с непосредственностью чувств и выигрывает от этой лестной ассоциации. Поскольку предчувствие — это нечто, исторгающееся изнутри без сознательного усилия человека, его считают естественным и искренним побуждением, заслуживающим поэтому особого доверия. Тот факт, что предчувствия зарождаются внутри человека, как бы придает им особую правдоподобность. Существует широко распространенное мнение, будто любое импульсивное ощущение не может быть очень далеким от истины и что вообще чувство не следует слишком глубоко анализировать. Боязнь анализа особенно сильна в отношении предчувствия. Анализировать — значит медлить, а, как известно, ничто так губительно не сказывается на всяком непосредственном побуждении, как промедление. В мрачном царстве мистического и интуитивного, где все как бы окутано туманной дымкой, требование тщательного анализа фактов вызывает такое же болезненное ощущение, как внезапная вспышка яркого света перед глазами полуслепого человека. Атмосфера таинственности, призрачного мелькания туманных образов и безмолвных импульсов, которые проносятся в мозгу в порыве экстаза, представляет собой полную противоположность нормальному мышлению и враждебна научному исследованию. Из этого текучего, таинственного мира, существующего в подсознательной области, в некоей глубоко таящейся катакомбе души, исходит предчувствие, быстро возникающее и внезапно пронизывающее человека; едва возникнув, оно сразу же убеждает его, с величественным пренебрежением отменяя все вопросы: «Откуда?» и «Почему?»

II

Согласно преобладающему мнению, ум и интуиция редко уживаются вместе. В сущности, это взаимно враждебные начала, отрицающие друг друга. Человека, обладающего интуицией, считают слегка чудаковатым, и в его чудачестве есть нечто более привлекательное, чем в трезвом, заранее рассчитанном и прозаическом пове-

дении логично мыслящего человека. Во всяком случае, он обладает очарованием и живостью, всегда совершает что-либо непредвиденное и не связан раз навсегда заведенным порядком. Эти качества и свойства являются преимуществом, которое дает интуиция, и в столь чистой форме не существуют больше нигде. Всякое преимущество кажется еще приятнее, если не имеет широкого распространения; поэтому в данном случае им наделяются лишь немногие: психически ненормальные, владеющие «волшебным даром», обладающие способностью внезапного вдохновения, сверхъестественно восприимчивые характеры, выделяющиеся из массы людей.

По сравнению с такими преимуществами сознательно мыслящий разум оказывается в крайне невыгодном положении. В блестящем памфлете Анри Бергсона изложены основные обвинения против разума, в дальнейшем развитые его последователями и учениками. В своей знаменитой книге «Творческая эволюция» Бергсон отождествляет интеллект с искусственностью и незнанием жизни. Ум может иметь дело только с инертной материей, находящейся в состоянии неподвижности:

«...при всем своем умении обращаться с неодушевленной материей, интеллект обнаруживает бессилие, когда он прикасается к живому существу. Если дело идет о жизни тела или духа, наш ум действует с грубостью и неуклюжестью инструмента, который вовсе не предназначался для такой цели.

*Интеллект характеризуется природным непониманием жизни»*¹.

Подходя к вопросу с другой стороны, Бергсон стремился доказать, что подлинная реальность — это изменчивость, которая является основной особенностью жизни. Разум, неспособный понимать что-либо, кроме инертной материи, был, таким образом, целиком отделен от метафизической сущности и сведен на положение низшего вида реальности. Принадлежавшее ему ранее почетное место Бергсон отводил этой романтической способности — интуиции, которую он определял как «...инстинкт, который не имел бы практического интереса, был бы сознательным по отношению к себе, способным размышлять о своем объекте и бесконечно расширять

¹ А. Бергсон, Собр. соч., т. 1., СПб, стр. 144—145.

его...»¹ В этом определении есть большая доля интеллектуальности: беспристрастность интуиции, ее самосознание и мыслительная способность. Это была характерная дань рационалистической традиции, которая хотя и подвергалась критике со стороны Бергсона, но все же была еще слишком близка ему, чтобы он мог ее полностью отвергнуть. Уже позже бергсонянцы стали отрицать интеллект, переходя границы, установленные их учителем. Однако среди современных философов именно Бергсон нанес первый удар по аналитическим способностям разума. С тех пор противники интеллекта приписывают ему искусственность, отсутствие изобретательности и враждебность самым важным аспектам жизни.

Пока Бергсон создавал свой антиинтеллектуализм в одной форме, Эдуард фон Гартман, исходя из понятия слепой, бесцельной воли, выдвинутого Шопенгауэром, и предвосхищая Фрейда, доказывал то же самое в другом плане. Вместо того чтобы рассматривать антиинтеллектуализм с точки зрения инстинкта и разума, как это делал Бергсон, Гартман трактовал его в плане сознательного и бессознательного. Если Бергсон увлекался главным образом интуицией, то навязчивой идеей Гартмана стало бессознательное. Он связывал с ним все, что только можно, — искусство, мышление, язык, пол. Чем совершеннее они были, тем теснее, по его мнению, были связаны с бессознательным и тем не менее зависели от сознательного или от мыслительных способностей разума. Гартман пытался подчинить разум мистическим импульсам бессознательного. Как и Бергсон, он выступал против переноса рационализма XVIII века в науку XIX века и считал предосудительным тот акцент, который делался при этом на разум. В своей «Философии бессознательного» он писал:

«Сознательный разум никогда не бывает ни творчески продуктивным, ни изобретательным. Здесь человек полностью зависит от бессознательного... и если он теряет способность воспринимать действие Бессознательного, он лишается источника своей жизни... Бессознательное, следовательно, для него *необходимо*. И горе тому поколению, которое насильно подавляет его голос, так как односторонней переоценкой сознательно-рационального

¹ А. Бергсон, Собр. соч., т. 1, стр. 155.

оно только привлечет внимание к последнему. Так человек безвозвратно впадает в бессодержательный, пустой рационализм, который важно шествует вперед, обладая наивными детскими познаниями и будучи не в силах совершить что-либо выдающееся для потомства...»¹

Однако Гартман, как и Бергсон, не отрицал разума полностью, а превращал его в служанку более «продуктивных» и «изобретательных» мистических свойств бессознательного. Он чтит художников, творящих под влиянием порыва вдохновения, и называл их гениальными, потому что, по его мнению, они вдохновляются бессознательным. Он ставил женщин выше мужчин, так как считал что они действуют более «инстинктивно» и «бессознательно», чем мужчины:

«... настоящая женщина — это часть Природы; мужчина, отдалившийся от Бессознательного, может на ее груди освежиться и укрепить свои силы, проникшись уважением к глубочайшей и чистейшей форме жизни»².

С тех пор недоверие к интеллекту у поклонников нерационального духа всегда сопровождалось преклонением перед идеализированной «чистой» женщиной и «непосредственным» художником. Слияние французского интуитивизма Бергсона с немецким мистицизмом Гартмана создало философский фон для выступления против мысли и разума в других областях жизни с начала XX века.

Утверждение Бергсона, что реальность нельзя удержать и измерить, что она является непрерывно льющим потоком, увлекающим с собой человека, имело свои американские параллели. Уильям Джемс — философ периода расширения деловой активности, основатель прагматизма, утверждавший, что истина и этика должны оцениваться с точки зрения их пользы, продолжил по своему мысли Бергсона. Джемс интересовался реальным умственным процессом и развил теорию, что внутри каждого человека есть не один, а много бесконечно изменяющихся индивидуумов. Следовательно, вступив в жизнь, человек каждый момент меняется, и его следует рассматривать как бесконечный ряд постоянно меняющихся лич-

¹ Eduard von Hartmann, *Philosophy of the Unconscious*, tr. by W. C. Coupland, London, 1884, II, p. 42.

² Там же, стр. 43.

ностей. Разум человека, далеко не приспособленный к тому, чтобы постигать сущность опыта, теперь становился как бы жидкостью, находящейся в состоянии непрерывного движения, и не мог больше функционировать как измерительный или аналитический инструмент. Вся система прагматизма Джемса покоится на этой бергсоновской концепции изменчивости. Поскольку действие, которое сегодня было успешным, завтра может таковым не оказаться, бесполезно устанавливать твердые критерии для суждений или создавать постоянные мерилы для оценки истины. Все суждения временны и также подчинены закону текучести, который доминирует над всем. В любом случае при выборе между логикой и опытом, замечает Джемс, он отдаст предпочтение опыту. Таким образом, Джемс сводит силу разума к требованиям момента, исходящим из движущего начала. Выводы, к которым приходит разум, относительноны; истина, которую он ищет, неуловима — ею невозможно овладеть¹.

Джемс во многих отношениях был идеальным философом для эпохи промышленного развития. В жизни Соединенных Штатов в целом критерий: «Принесет ли это пользу?» — быстро вытеснял более старый вопрос:

¹ Эта концепция движущегося мира получила существенную поддержку в теории относительности. В своей книге «Развитие американской мысли» (Merl Curti, *The Growth of American Thought*, New York, Harper, 1943, p. 723) Мэрл Кэрти, цитируя статью Джорджа У. Грея «Без задержек» в журнале «Атлантик мансли», за февраль 1932 года (George W. Gray, *No Hitching Posts*), говорит о влиянии этой теории: «Общая теория относительности приводит нас к картине космоса, где пространство и время перестают существовать самостоятельно, а, слившись, превращаются в гибкую сферу действия для событий. Эта сфера все время изменяется вместе с происходящими в ней событиями. В каждой точке пространство-время формируется и видоизменяется под влиянием материи и движения, которые ему свойственны, и даже самые правила геометрии, по которым измеряется все их многообразие, оказываются относительными...» Принцип индетерминизма, относительности... является, по-видимому, единственным принципом, в котором можно быть уверенным, если только можно быть уверенным даже в нем».

Кэрти далее в качестве доказательства того же самого процесса непрерывной текучести приводит опровержение формальной логики Джоном Дьюи и утверждение семантиков, что слова не могут отождествляться с общими принципами, а постоянно меняются в соответствии с изменяющимся содержанием.

«Правильно ли это?» Эта перемена давала людям моральную гибкость, позволявшую им делать все что угодно. Циники называли эту гибкость изворотливостью; но независимо от термина релятивизм этики Джемса подходил к новому индустриальному образу жизни последних лет XIX века, как хорошо сшитый плащ. В быстро меняющемся ходе событий мошенничества теряли свой неприглядный вид; во всяком случае, уже не существовало больше твердых критериев, чтобы судить о них. Люди оценивались скорее по признаку того, что они делали, чем по признаку того, что они собой представляли,— это значительно более удобная система в век материального прогресса, когда у людей нет ни свободного времени, ни желания проверять нюансы характера. Жизнь была огромным волнующимся морем возможностей, в котором старые пути традиций и этики были смыты начисто, и не было никаких жизненных вех, кроме личных ресурсов каждого человека.

Поток творческой эволюции, изображенный Бергсоном, начинал достигать в Америке своей кульминационной точки, не стесняемый никаким контролем, кроме силы и решимости людей, плывших по житейскому морю. Эти люди — предприниматели, магнаты промышленности, творцы передовой техники — нашли в релятивизме Джемса с его удобными санкциями и гибкими принципами идеальную метафизику. Это была метафизика, воспринятая, даже жадно впитанная огромным большинством американцев, чьи мечты о быстром обогащении казались здравыми и осуществимыми до момента экономического кризиса в конце 20-х годов. Пока развивались эти философские представления о действительности, интеллект, сведенный в общей расстановке вещей к роли незначительного элемента, временно оказался на заднем плане, откуда начал выдвигаться вместе с другими заброшенными способностями в период борьбы против депрессии.

Представление Джемса об окружающей среде как поддающемся воздействию объекте было подхвачено в 20-х годах бихевиористами. Эта психологическая школа специфически американского происхождения, возглавляемая д-ром Джоном Б. Уотсоном, пользовалась необычайной популярностью. Уотсон утверждал, что он может взять любого ребенка и воспитать его в желаемом

направлении¹. Поскольку отдельная личность по схеме бихевиористов представляет собой сумму привычек, инстинктов и моторных реакций, нет ничего проще, как организовать их по готовому плану. Человек перестает быть человеческим существом, а превращается в совокупность условных рефлексов. Мысль становится лишь функцией гортани, а разум — фальшивкой, используемой дискредитированными психологическими школами, в частности интроспекционистами во главе с Тиченером. Разум не существует, так как не может проявить себя вовне. Ни слова, ни движения не могут считаться ее проявлениями, так как они просто разновидности привычек, а привычки — это скорее разветвления нервной системы, чем какие-то загадочные способности головного мозга. Согласно теории бихевиористов, человек — иррациональное существо, всецело зависящее от внешних стимулов. Эта теория пыталась дискредитировать все мышление, которое не проявлялось в движении или не было направлено на конкретное действие, короче говоря, все абстрактное мышление и с ним сам интеллект.

Упор бихевиористов на действие и окружающую среду казался уместным в тот период, когда действие любого рода выгодно окупалось, а окружающая среда благоприятствовала человеку. Но депрессия показала, что одного только действия недостаточно. Когда окружающая среда оказалась вне контроля, то возникшие вслед за тем трудности заставили опять сосредоточить внимание на индивидууме, который теперь их испытывал. На горьком опыте стало ясно, что человек — нечто большее, чем совокупность инстинктов и мускульных навыков, что в действительности он живое существо с разумом и сознанием и что без применения этого разума и сознания окружающая обстановка никогда не придет в нормальное состояние. Американцы теперь были готовы сменить бихевиористов, которые постепенно исчезали из виду, на новую психологическую школу, более соответствующую моменту и новым представлениям о действительности. Эта школа — гештальтпсихология — была основана Вольфгангом Кёлером, который, проведя серию своих

¹ Это делало его своеобразным предшественником Лысенко и новых советских генетиков конца 40-х годов, по мнению которых наследственность подчиняется воздействию внешней среды.

знаменитых опытов, обнаружил разум у обезьян,— весьма странное явление, если учесть, что Уотсон не смог найти его у людей. Сторонники гештальтпсихологии уделяли меньше внимания окружающей среде, чем самому человеку и его реакциям, меньше — изучению его тела, чем ума. Интеллект постепенно отвоевывал некоторые позиции, утраченные в период длительного экономического процветания, и индивидуум, получивший теперь возможность применять все свои способности, снова стал напоминать цельную человеческую личность.

К крайностям бихевиоризма, который отводил индивидууму роль какой-то механической смеси инстинктов, были близки извращения фрейдизма, который иным способом лишал человека его сознательного разумного начала. Фрейд широко распахнул двери подсознательному, которое некогда приводило Гартмана в состояние лирического экстаза. Из таинственных недр подсознания хлынул целый легион импульсов, торможений, нервных расстройств, низменных желаний, подавленных инстинктов, ид и либидо, «я» и «сверх-я», полный набор различных «комплексов» и фобий, снабженных новой специфической терминологией, готовых снести высокие барьеры условностей и традиций, стоявших на их пути. Фрейдисты приобрели массу сторонников в различных кругах общества: среди писателей, художников, композиторов, ученых, профессионалов и дилетантов разных специальностей, которые начали распространять новое учение с пылом евангелистов.

Первым результатом создания новой доктрины был раскол публики на два крайних лагеря: на тех, кто искренне принял все это за шутку, и тех, кто был не менее искренне убежден, что фрейдизм приведет к разрешению всех проблем. Первая группа, пока еще достаточно сильная, несмотря на значительный прогресс психиатрии, насмеялась над жаргоном фрейдистов, высмеивала их претензии на анализ человеческого поведения, придумывала анекдоты на их счет и прибегала к всевозможным ироническим выпадам, чтобы правдой или неправдой заставить их прекратить свою деятельность. Это враждебное отношение к фрейдизму было отчасти автоматической реакцией против всего нового, отчасти было основано на искреннем опасении, что фрейдистские идеи могут в корне подорвать все сложившиеся представления

и обычаи, и, наконец, вызывалось также сумасбродностью претензий не столько самого Фрейда, сколько его последователей. Эти последователи из разных кругов общества, подобно первым фанатикам новой религии (без которых она, несомненно, не могла рассчитывать на широкое распространение), ревностно начали поход против сознательного разума, пока он не превратился в исследователя подсознательного мира, всего лишь в какую-то незначительную внешнюю оболочку. В результате систематических выпадов его значение сузилось, и одновременно почти утратили свое значение все присущие ему способности: логично рассуждать и свободно изъявлять свою волю, разумно избирать нормы поведения и отличать правильное от ложного.

Чем дальше человек проникал в область подсознательного, тем более опасной и иррациональной она ему представлялась,— какая-то буря эгоистических и агрессивных импульсов, во власти которых индивидуум был беспомощен. Более того, эти импульсы находились в непримиримом противоречии с обществом. Крайний пессимизм Фрейда основывался на убеждении, что все общественные институты по самой своей природе обязательно должны подавлять инстинктивные побуждения индивидуума. Следовательно, борьба между ним и обществом должна длиться вечно — перспектива, способная ввергнуть любого человека в глубочайшее уныние. Пессимизм и уныние усугублялись важнейшими событиями века, когда противоречия между отдельным индивидуумом и обществом в целом резко усиливались; и способность человека регулировать все более и более накалявшуюся обстановку вокруг него, которую он сам некогда создал, становилась все более призрачной. Фрейд стал одним из модных пророков своего времени не только в силу необычайной оригинальности своих взглядов, но также из-за мрачной атмосферы пессимизма, порождаемой выводами из его учения. Эта атмосфера, казалось, исключительно соответствовала тем серьезным трудностям, которые возникали с 1914 года. Разложение, охватывавшее, по-видимому, внешний мир, происходило параллельно и в анархическом мире подсознательного, где дисциплинирующие и сдерживающие начала разрушались вырвавшимися на волю жадными

инстинктами. Хаосу в мире соответствовал хаос в психике людей.

Доведенная до крайности, широко распространившаяся теория подсознательного вызвала появление в литературе целого потока вычурной тарабарщины, начиная с ритмически неправильных, заумных стихов Гертруды Стейн и бредового кошмара дадаизма. В темных катакомбах фрейдистского движения зарождались сенсуалистские культы и кружки; они питали замысловатую поэзию, обскурантистскую живопись и унылые философские течения, окрашенные легким налетом мистицизма. На многих произведениях сказывалось влияние патологического сексуализма, появлявшегося даже на страницах романов самого Джеймса Джойса — главного литературного глашатая идей подсознательного. Великолепно написанный эротический монолог Молли Блум, которым заканчивается «Улисс», иллюстрирует непосредственную связь фрейдистских измышлений с отменой сексуальных табу. Пылкие прорицания Д. Г. Лоуренса, исходящие из сексуального подсознания, разочарованные герои Шервуда Андерсона, стремительный поток ничем не сдерживаемых чувств, которые Э. Э. Кэмингс объявляет ключом к счастью, — все это свидетельствует о том большом влиянии, которое оказала фрейдовская теория либидо на писателей XX века.

Литературные плоды фрейдистской доктрины наиболее ярко проявились в пьесах Юджина О'Нейла. В этих пьесах показаны люди, стоящие лицом к лицу с враждебным им миром и действующие по внутреннему побуждению, которым они не в состоянии управлять. Часто это побуждение принимает специфически сексуальные формы, как, например, в пьесах «Разные», «Любовь под вязами», «Станный эпизод» и «Траур Электре к лицу», где герои окружены целой цепью насилий, эдиповых комплексов, адюльтеров и кровосмесительных связей, приводящих их к трагическому концу. Во всех пьесах изображаются роковые бедствия, порождаемые безумным приступом ничем не сдерживаемых страстей. О'Нейл ограничивает эти страсти областью инстинктов, оберегая их от вмешательства или осложнений со стороны других аспектов человеческой природы, в частности от способности мыслить. Император Джоунс — в драматическом шедевре, носящем его имя, — обладает некоторой долей рассудительности, но

под влиянием алчности и страха, при первом же затруднении начинает теряться и скоро превращается в невнятно бормочущего примитивного субъекта — жертву всех суеверий своей расы. Янк, герой «Косматой обезьяны», не способен даже элементарно мыслить. Извлеченный из трюма своего корабля, он никак не может приспособиться к обычному миру и к концу произведения оказывается в клетке гориллы, откуда смотрит на нас печальными глазами, напоминая собой затравленное животное. Мягущиеся герои пьесы «Великий бог Браун» находятся целиком во власти своих противоречивых желаний; в результате один из них убивает другого и сам, только умирая, освобождается от своей навязчивой идеи. Жалкие герои пьесы «Смерть проходит» («The Human Cometh») страдают полным расстройством чувств еще до начала пьесы. В пьесе показано только, как они судорожно цепляются за жизнь, пока не впадают опять в прежнее состояние оцепенения. Даже моряки из ранней одноактной пьесы О'Нейла, очутившиеся со всеми своими мелкими честолюбивыми замыслами и безграничными мечтами на борту парохода «Гленкэарн», делают только самые слабые попытки вырваться из своей морской плавучей тюрьмы.

Так воплощаются на сцене основные положения фрейдистской теории: герои всегда находятся во власти мощных инстинктивных влечений, которые обрекают их на гибель или убийство других людей; внешний мир не дает героям необходимой отдушины и вынуждает их замыкаться в себе; катастрофы являются неизбежным кульминационным пунктом действующих в пьесе непримиримых противоречий, интуиция и разумная воля бессильны предотвратить или хотя бы отсрочить роковое движение героев к гибели. Стихийный поток могучих чувств, который Водсворт называл источником поэзии, теперь, в своем новом воплощении, смысл все достижения цивилизации, заботливо создаваемые людьми на протяжении столетий. Они были смыты и унесены неудержимой стремниной в Лету. Таким образом, победа инстинкта над интеллектом, произвольно действующего подсознательного начала над сознательным, интуитивных источников действия над рациональным, извращенной человеческой природы над гармоничной нашла свое наиболее яркое выражение в работе одного из самых известных и талантливых драматургов Америки.

III

В борьбе за господство между разумом и интуицией последняя не всегда играет роль агрессора. Если сторонники интуиции нередко используют чистое чувство как дубинку в борьбе против интеллекта, то энтузиасты рационального мышления при случае применяют чистый интеллект в качестве оружия против чувств и эмоций. Они утверждают, что ум является *единственной* способностью человека, с помощью которой может быть понят опыт и выяснена истина. Кальвин разработал жесткую систему железных принципов, которой должен следовать человек независимо от его естественных импульсов, если не хочет быть предан вечному проклятию. Поскольку, в лучшем случае, на человека смотрели как на греховное существо, жертву своих «злых» страстей и инстинктов, у него было не так уж много надежды на спасение. Но и та надежда, что оставалась, могла осуществиться только в том случае, если человек безоговорочно подчинится строгому кодексу поведения, предписанному ему заранее. Этот кодекс, применялся ли он в Женеве Кальвина, Эдинбурге Джона Нокса, Англии Оливера Кромвеля или Массачусетсе Коттона Мейзера, обладал бесспорной логичностью, если только согласиться с его исходной предпосылкой о естественной порочности человека. С точки зрения философии и логики принципы Кальвина по гибкости рассуждений, по тесной взаимосвязи заключений и выводов и по замечательной стройности замысла являются одним из чудес современности. Но они ставят людей в узкие моральные рамки, надеясь возвысить их ум путем подавления плоти. Таким образом, целиком в интересах рациональных и абстрактных принципов возвышенной теологии они осуществляют безжалостную интеллектуальную тиранию над многими сторонами человеческой личности. О цене, взимаемой этим путем в одинаковой мере и с пуританских пасторов и с прихожан, говорится в горестных проповедях Джонатана Эдвардса и в меланхолических, чувствительных романах Натаниэля Готорна.

Пуританизм Новой Англии стал ослабевать в последующих поколениях, но в 20-х годах он на короткое время возродился в движении, названном «новым гуманизмом». Возглавляемые Ирвингом Бэббитом и Полом Элмером Мором, новые гуманисты проповедовали безжалост-

ное «подавление зверя» в человеке. Под «зверем» они подразумевали любой импульс, страсть и природное влечение, которые не исходят непосредственно от интеллекта. По их мнению, лучшие качества человека, усовершенствованные путем упражнения сознательной, интеллектуальной воли, подчиняют себе при помощи самостоятельно действующего механизма, именуемого моральным критерием, его худшие стороны. Это было прежнее пуританское учение о совести и морали, только действовавшее под другим наименованием. Новый гуманизм привлек мало сторонников и собирал широкую аудиторию только в период депрессии, когда философия, учившая людей потуже затянуть пояс и ограничить свои аппетиты, казалась весьма своевременной. Но она слишком не соответствовала растущему размаху американской жизни, чтобы завоевать широкую популярность. Ее сторонники дискутировали и выступали в печати с безразличием рассудочного темперамента, который очерствел и только занимается тем, что ищет предлога для подавления остальных сторон человеческой натуры.

Традиция отрицания чувства и недоверия к эмоциям во имя соблюдения строжайшего кодекса поведения нашла свое окончательное выражение в романах Дж. П. Марканда. Речь идет о кодексе бостонской знати, ведущей свое происхождение от первых англосаксонских протестантских поселенцев, ставших правящей аристократией Массачусетса. Их табу, запреты, строгие правила поведения висят теперь мертвым грузом на шее героев Марканда, мешая им жить своей собственной, индивидуальной жизнью; в то же время эти табу уже недостаточно действенны, чтобы помешать героям сетовать на свои пути. Джордж Эпли и Гарри Пулхэм серьезно влюбляются в «неподходящих» девушек, но под давлением общественного мнения вынуждены от них отказаться; затем они женятся на девушках своего круга и постепенно погрязают в скучной, полной разных условностей жизни, испытывая все время в глубине души тоску, которая постепенно притупляется, но не может совсем исчезнуть. Они становятся прямыми жертвами предрассудков, отрицающих и подавляющих естественные чувства.

Другие герои Марканда испытывают такие же страдания, но в несколько видоизмененных ситуациях. Джим Кэлдер так крепко связан кастовыми и семейными узами,

что становится жертвой эксплуатации и шантажа со стороны своих подставных родственников. Джеффри Уилсон, женатый, средних лет человек, поддается нахлынувшей на него страсти, но обнаруживает, что он уже не способен на нее. Боб Тэсмин теряет свою невесту, ктому что в ее представлении благородное воспитание Боба лишило его всей свежести и непосредственности чувств. Чарлз Грей, находясь на пороге служебной карьеры, сомневается, стоит ли игра свеч, но продолжает ее вести среди не покидающих его сомнений. Сид Скелтон имеет состояние, прочное положение, влияние в обществе и выгодно женат, но счастье упорно от него ускользает.

На этих различных примерах Марканд с большой проницательностью показывает, какой дорогой ценой приходится расплачиваться людям, которые придерживаются системы взглядов, где упор на дисциплину и самоограничение — вначале, может быть, даже оправданный — вылился в застывший шаблон. Пуританская традиция, ставящая разум выше чувства, породила безжизненный кодекс условностей, подвергшийся иронической переоценке в творчестве Марканда. Ее окончательный упадок отразился в замечании доктора из романа Андре Жида «Фальшивомонетчики»: «Многое ускользает от разума, и человек, который захочет понять жизнь, опираясь только на свой ум, уподобится тому, кто пытается схватить пламя щипцами. В камине ничего не остается, кроме куска обуглившегося дерева, который немедленно перестает гореть»¹.

Искусственно раздуваемая борьба между сторонниками интуиции и защитниками интеллекта замедляет процесс развития полноценной личности. Подчинение одного другому даже ради самых возвышенных и благородных целей порождает в индивидууме конфликт, который может принести только вред, а доведенный до крайности делает невозможным всякое гармоническое и осмысленное существование. Здесь мы снова имеем дело с традиционной ареной вражды, где импульсы и способности, сами по себе плодотворные, наносят друг другу в ходе борьбы взаимный ущерб.

Бессмысленная напряженность как в общественной, так и в личной жизни, создаваемая теми, кто догматиче-

¹ André Gide, *The Counterfeiters*, New York, Knopf, 1947, p. 165.

ски нападает на интеллект как на нечто мертвящее и на страсти как на нечто предательское, должна быть ослаблена. Только тогда можно будет добиться завершения этой старой распри. Когда мысль и чувство, ум и эмоция признают законность существования друг друга, но не в смысле господства, даже чисто принципиального, или неограниченной вольности, а в условиях содружества и равенства,— тогда будет открыт еще один путь к полному развитию человеческой личности.

ГЛАВА XII

ТЩЕТНОЕ БЕГСТВО ОТ САМОГО СЕБЯ

Одно из главных условий в борьбе за зрелый подход к жизненным явлениям — это признание своего «я» и лежащей на нем ответственности. Не вообще «я», существующего в представлении некоторых людей и отвечающего стандартным требованиям, а конкретного «я», отражающего специфические склонности, качества и темперамент данного индивидуума как единственной в своем роде человеческой личности. Для этого требуется, чтобы человек сам думал, принимал те или иные решения и полностью отвечал за свои поступки.

Конечно, наше подлинное «я» неизбежно несовершенно и сложно; поэтому мы всегда склонны подменять его другими «я», более простыми, более совершенными и более удобными в жизни. Наша готовность идти на уступки этим привлекательным для нас заместителям нашего «я» и жить по их правилам, а не по своим собственным отвлекает нас от реальной действительности и тем самым препятствует нашему внутреннему развитию. И все же в конце концов мы не можем уйти от нашего «я», как не в силах расстаться с нашим телом или рассудком.

Признание своего подлинного, неотделимого от нас «я» при всей трудности и даже болезненности этого процесса является главным условием нашего внутреннего роста.

I

Американец может выдержать почти всякое состояние, кроме одиночества. Чувствуя себя свободно в мире материальных предметов и техники, всегда радуясь обществу других людей, он испытывает беспокойство и тревогу,

оставаясь наедине с самим собой. Его жизнь полна до отказа разными клубами, кружками, ассоциациями, ложами, братствами, организациями всевозможных наименований, в которые он вступает без конца не столько из желания провести время со своими товарищами, сколько стремясь уйти от самого себя. Он — член клубов «Лосей», «Чудаков», «Хранителей раки», «Американских лосей», «Орлов» или «Американского легиона». Или же член клубов «Ротари», «Кивани», масонской ложи или «Рыцарей Колумба». Он ходит в церковь скорее по общественным, чем религиозным побуждениям. Он вступает в общества, которые ставят своей целью покровительство бездомным животным, либо создание всемирного правительства, либо постановку оперетт Джилберта и Салливэна. Он вступает в бесчисленные клубы по развитию местной экономики, которые уснащают городской ландшафт рекламными плакатами, провозглашающими Беллвилл городом с большим промышленным будущим или Дэд-Ликк самым крупным из мелких городков страны. Он с неослабевающим азартом посещает бесчисленные собрания. Бары, таверны, площадки для кегельбана, бильярдные, гимнастические залы, сельские клубы — все эти места общественных сборищ привлекают множество американцев. Если американец не встречается в данный момент с другими людьми, то он либо слушает радио, либо сидит у телевизора, либо смотрит кинофильм, находясь фактически среди людей. Он никогда, если это только возможно, не остается в одиночестве.

Мэрли Эллен Чейз, проживающая в городке колледжа Смитта, пишет в журнале «Вумэнс дей» об этом стремлении избежать одиночества: «Меня особенно поражает, с каким явным отвращением относится множество девушек к одиночеству... Каждое утро... я слышу... отчаянные призывы к подругам: «Подождите меня! Я сейчас иду!», «Не уходите без меня!» Идя в толпе девушек по городку, я слышу одни и те же бесконечно повторяемые жалобы на одиночество: «Я провела страшно скучный вечер. Ни одна душа не заглянула ко мне в комнату». «Я не могу идти одна. Это будет просто ужасно». «Кажется, в колледже нет ни одной девушки из Айдахо (или Дакоты, или Монтаны). Что я буду делать одна в поезде после остановки в Чикаго?» «Мне было бы легче, если бы у меня была сожительница по комнате. По крайней мере можно

было бы поговорить с кем-нибудь вечером». «Она, знаете, приятная, но немного странная. Всегда ходит одна!»¹

Более того, в представлении американцев одиночество ассоциируется с жизненными неудачами. Это явление рассматривает Карин Хорни в своей последней книге «Невроз и развитие человека»:

«...ему важно чувствовать признание со стороны других. Он нуждается в этом признании, какую бы форму оно ни приняло: внимания, одобрения, благодарности, привязанности, симпатии, любви, страсти. Поясню это сравнением: если многие в нашем обществе оценивают свое значение суммой нажитого ими капитала, то застенчивый человек определяет это значение по признаку любви, понимая под этим термином совокупность различных форм признания. Его значение возрастает в соответствии с тем, насколько он нравится, нужен кому-либо или кем-либо любим.

Далее, он нуждается во встречах с другими людьми и вообще в их обществе, потому что не может выдержать одиночества в течение сколько-нибудь длительного времени. Он быстро начинает чувствовать себя беспомощным, словно оторванным от жизни.

Общество других ему особенно необходимо, так как одиночество служит для него доказательством того, что он никому не нужен и не мил, а это считается позором, который надо скрывать. Стыдно одному идти в кино или ехать на каникулы; стыдно проводить субботу и воскресенье в одиночестве, когда другие проводят их в обществе друзей. Все это наглядно показывает, до какой степени его уверенность в себе зависит от внимания к нему других людей. Он нуждается также в одобрении со стороны других, чтобы придать значение и интерес тому, что он делает»².

Модное слово в американской жизни — популярность, упорная погоня за которой уже искалечила немало молодых душ. Одной из причин трагедии Вилли Лоумэна в пьесе Миллера «Смерть коммивояжера» было его болезненное желание, чтобы он не просто «нравился», а «очень нравился», и не кому-либо, а всем. Так как популярность

¹ Mary Ellen Chase, Are We Afraid to Be Alone? «Woman's Day», October, 1949.

² Karen Horney, Neurosis and Human Growth, New York, Horton, 1950, p. 227.

возможна только в обществе других людей, то одиночество становится трудно переносимым, а перспектива его — мучительной. Погоня за популярностью начинается с самого раннего возраста. Грудные дети, не реагирующие заметно на присутствие посторонних, пользуются меньшей симпатией с их стороны. Дети, неохотно играющие с другими детьми, вызывают тревогу у родителей и жалость у соседей. Подростки, не участвующие активно в жизни колледжа, считаются несчастными. Юноши и девушки, которые не ходят на свидания, — либо не интересны, либо со странностями. Мужчин, не принадлежащих к числу «своих парней», и женщин, не имеющих подруг, считают снобами или неудачниками в жизни. С самых юных лет американца учат быть общительным, оживленно вести себя в обществе других людей, добиваться успеха в жизни с помощью различных братств, лож и ассоциаций. Авторы фильмов из жизни студенчества избавили немало своих героев — застенчивых студентов и студенток (мгновенно различаемых зрителями по их роговым очкам) — от их робости, обучив их модным танцам, либо подстроив им любовное приключение, либо неожиданно обнаружив у них спортивные способности, то есть втянув их в одно из общепризнанных в университетском городке развлечений и в срочном порядке избавив их от нездорового пристрастия к наукам. Усердие в науках считается самым большим препятствием на пути к успеху молодого человека в школе. Такие же точно взгляды проводятся в журнальных рассказах, где скромная девушка-домоседка никогда не завоюет своего любимого, если не принарядится к лицу, не проявит немного женского кокетства и инициативы. Уединенный образ жизни ради усиленных занятий или лабораторных опытов, может быть, и подходит какому-нибудь единичному гению (хотя и ему нелегко приходится от такой жизни), но для большинства людей — это один из самых унижительных и наименее приятных видов существования.

Погоня за популярностью отвлекает внимание человека от его «я». Он начинает развивать в себе не те качества, какие присущи ему от рождения, а те, которые, по его мнению, создадут ему популярность. Если эти качества несвойственны его натуре, он тем более упорно будет стараться их приобрести. Пропасть, образующаяся в результате этого между его настоящим и «популярным» «я», не

только порождает в нём трудно разрешимые внутренние противоречия, но и мешает ему развиваться в полноценную гармоническую личность. В конце концов создается общество людей, все более похожих в целом друг на друга и все менее различных по своим индивидуальным качествам, то есть общество, которое вопреки демократическим идеалам скорее сокращает, чем расширяет поле деятельности, где его члены могут развивать свои разнообразные способности.

Одним из основных качеств «популярного я» является физическая привлекательность¹. Фантастические суммы денег, уйма времени и энергии тратятся и мужчинами и женщинами на то, чтобы иметь безукоризненный цвет лица, хорошо сделанную причёску и одежду, которая выставит человека в наиболее выгодном свете. Фабриканты зубной пасты предупреждают в печати и по радио своих покупательниц, что если их зубы не будут сверкать белизной, то к ним прекратятся телефонные звонки. Торговцы мылом изображают безупречных в общем молодых людей, которых сторонятся шикарные бизнесмены и прекрасно сложенные женщины, потому что от них дурно пахнет. Рекламы, предлагающие покупать кремы для лица, утверждают, что ни одна хорошенькая девушка, которая стала выезжать в свет, даже при самых благоприятных условиях, не поймает выгодного мужа, если не имеет «кожу, которую приятно потрогать». Салоны красоты так же многочисленны, как бензозаправочные колонки, и заменили собой кружки кройки и шитья в качестве своеобразных клубов для женщин. Вся торговля предметами ухода за внешностью основана на реклами-

¹ Этот интерес к внешней привлекательности проявляется в американской жизни во всем. Мы склонны отдавать предпочтительнее внешнему виду вещей в ущерб их качеству и приравнивать самое большое к самому лучшему. Президент «Общества вина и продуктов питания» Андре Л. Симон описывает в журнале «Атлантик мансли» влияние этой тенденции на вкусы американцев в области питания: «Она особенно вредна в отношении фруктов и овощей. Есть сорт исключительно красных вишен, больших, как мирабель, с необычайно короткими черешками... и при этом настолько малосочных и невкусных, что их лучше всего ставить на серебряном блюде в центре обеденного стола как украшение... Я уверен, что арбузы были бы значительно вкуснее, если бы их снимали раньше, чем они станут такими гигантами, какие можно видеть во всех магазинах» («USA. Retasted», «The Atlantic Monthly», November 1948).

ровании искусственно выработанных стандартов, якобы обеспечивающих успех в обществе; те, кто не заботится о своей внешности, объявляются не имеющими шансов на успех. Обременительные хлопоты у тех, кто отчаянно пытается удержаться на уровне лучших образцов внешней привлекательности, и чувство подавленности и унижения, возникающее у тех, кто чувствует, что не в силах их достигнуть, являются серьезными причинами для тревог и волнений в жизни американцев.

Но быть внешне привлекательным и модно одетым — это еще не все. Человек, кроме всего прочего, должен быть молод. Молодость — это возраст, когда тело значит много больше, чем ум; это период максимальной популярности. Культ молодости в Америке представляет собой одну из величайших в истории маний, развитию которой не мало способствуют существующие у нас представления о любви, наше популярное искусство и рекламные агентства. Прославляется не столько дух молодости, сколько связанные с ней физическая энергия и внешняя привлекательность. Средний возраст становится пугалом, который вселяет страх в миллионы людей, заставляя их скрывать роковые приметы старости, как только они начинают появляться. На страхе мужчин перед облысением, а женщин — перед морщинами и седыми волосами основаны целые отрасли промышленности. Массаж, пояса для мужчин, огромная сеть салонов красоты, оборудованных прекрасными аппаратами, различные диеты питания, снижающие вес салоны, средства омоложения и сотни других способов уничтожения возрастных явлений процветают по всей стране.

Эта страстная жажда юности тесно связана с лихорадочной погоней за здоровьем. Популярные журналы наполнены статьями о болезнях и способах их лечения. Одна из самых доходных статей газетной рекламы — патентованные лекарства, подающие щедрые надежды на избавление от боли. Слабительные средства, рекламируемые в печати и по радио, продаются миллионами бутылок, чтобы облегчать мучения американцев, страдающих хроническим перееданием. Единственный предмет разговора, который никогда не надоедает, — это вопрос о состоянии здоровья — от крупных операций и язв до самых слабых, незначительных болей и недомоганий. Наоборот, проблемы ума стоят на втором плане в смысле

внимания и интереса к ним со стороны американцев. Эдвин Р. Эмбри описывает один из видов неравной борьбы между телом и умом :

«Недавние отчеты показывают, что некоторые из наших лучших университетов тратят ежегодно в сто раз больше средств на обучение каждого будущего врача, занимающегося на медицинском факультете, чем на обучение каждого будущего учителя, занимающегося на педагогическом факультете... Суммы, расходуемые на естественные науки во всех наших крупнейших университетах и научно-исследовательских институтах, представляют собой резкий контраст со скудными фондами, выделяемыми на гуманитарные науки... Среди многих излишеств мы так пренебрегали изучением вопроса о развитии здорового ума и росте личности, что теперь стоим перед опасностью сохранения здорового тела, в котором будут обитать большая душа и тупой ум; мы пренебрегали общественными науками, и теперь наше общество находится на грани самоуничтожения при помощи чудес своей техники»¹.

Тело — ключ к популярности, а популярность — это ключ к успеху. Таков основной девиз рекламного бизнеса, ежедневно обстреливающего американцев огнем убеждающих, льстящих, угрожающих, внушающих страх и возбуждающих зависть объявлений. Вся энергия в рекламном деле направлена на внешнюю оболочку человека; эта опромная центробежная сила тянет индивидуума от его внутреннего «я» к периферии и дальше. В этом смысле реклама, несомненно, является новейшим орудием тех сил в Соединенных Штатах, представители которых уклоняются от размышления и самоанализа и все свое внимание направляют на успех в мире материальных ценностей, не соприкасающихся с мыслью. С этой точки зрения жизнь американца представляет собой постепенный непрерывный процесс отказа от своего внутреннего «я». К этому его подстрекает рекламная литература, являющаяся наравне с холодильниками и автомобилями символом технической стороны американской культуры. Огромное внимание, терпение, изобретательность, энергия, объединенные усилия специалистов в области живописи, литературы и музыки затрачиваются ежедневно на рекла-

¹ «Нью-Йорк таймс» от 1 декабря 1949 года.

му. Тонны печатной бумаги уходят на прославление магической силы рекламы; в то же время выпускаются в свет целые стопы памфлетов, резко высмеивающих ее пошлость и пустоту. И все-таки, несмотря на всю ожесточенность споров за и против рекламы, почти никто не обращает внимания на действие рекламы как разлагающей силы, которая не признает людей в их естественном виде и заставляет их гнаться за тем, что им не свойственно и чем они никогда не могут стать. Существует противоречие между настоящим человеком и иллюзорным, созданным постоянным одурманивающим влиянием крикливой и навязчивой рекламы. В 1922 году, в самом начале эпохи крупной рекламы, Дж. Торн Смит сатирически заметил:

«...реклама.— самое жестокое и самое циничное развлечение в Америке... Удобства и счастье, которые она предлагает читателю, всегда противопоставляются страданиям и несчастью других. Так, например, если я езжу на машине определенной марки, я получаю удовлетворение от сознания, что всякий, кто пользуется машиной другой марки, принадлежит к более низким кругам общества, чем я, и до конца своей жизни, безусловно, будет влачить жалкое существование. В этом сознании заключается подлинная радость. Опять-таки, если я ношу белье известной рекламируемой марки, то испытываю удовольствие от сознания, что мои близкие, не столь удачно одетые, несомненно, глупые свиньи, которые в конце концов погибнут от солнечного удара, так как всю свою жизнь будут потеть. В этом также есть особенное ощущение радости. Если я чищу зубы рекламируемой зубной пастой, мое удовлетворение усиливается сознанием, что все другие лица, которым не посчастливится употреблять именно эту пасту, в скором времени станут совсем беззубыми. В этом есть хотя и дикарское, но подлинное наслаждение»¹.

Однако здесь сказывается не только контраст между тем, кто употребляет рекламируемые товары, и тем, кто их не употребляет, но еще и более резкий контраст между тем, что представляет собой человек в действительно-

¹ Thorne Smith, Advertising, Civilization in the United States, edited by Harold E. Stearns, New York, Harcourt, Brace, 1922, p. 383—384.

сти, и тем мучительно недосыгаемым идеалом, которого (как настойчиво вбивает ему в голову реклама) ему следует достигнуть. Этот идеал, подобно клоку сена перед пресловутым буридановым ослом, всегда кажется соблазнительно близким, но всегда недосыгаемо далек, потому что никогда нет предела требованиям, предъявляемым к потребителю со стороны рекламы. Бесполезно гнаться за рекламой, так как она мгновенно сменяется новой, сразу же делая прежнюю устаревшей. И нет конца этой карусели, поддерживать которую изо дня в день ревностно стараются в Соединенных Штатах почти все газеты, журналы, стенды, передачи по радио и телевидению. Нехорошо противопоставлять друг другу реальных людей, подчеркивая печальный контраст между ними, но это по крайней мере понятно и до известной степени поправимо. Создавать же такой контраст между людьми и мифическим существом, которое имеет все внешние признаки реальности, но лишено ее сущности и находится постоянно за пределами досягаемости,— значит вызывать значительно более серьезный раскол; этот раскол и нелеп и непоправим, а следовательно, является таким бременем, от которого никогда нельзя освободиться.

II

Стремление уйти от самого себя проявляется в желании раствориться в чем-то таком, что находится вне нашего «я» и представляет собой более широкое понятие, чем понятие индивидуума. В Америке есть множество течений, предоставляющих такого рода убежище. Одним из подобных движений, распространенным в наиболее отдаленных районах страны, является ревивализм. Будучи смесью религии и истерии, ревивализм распространен не только среди людей, обремененных религиозными предрассудками, но и среди тех, кто по тем или иным причинам не удовлетворен своей жизнью, среди людей, не находящих пищи для своих чувств, испытавших неудачу в любви, среди тех, кто не может больше мириться с действительностью. Нет статистических данных относительно точного числа приверженцев ревивализма, но несомненно, что их насчитывается несколько миллио-

нов человек. Общественная структура ревивализма столь же разнообразна и гибка, как и американская общественная структура вообще; сфера действия его велика — от огромного вычурно пышного храма, построенного Эми Семпл Макферсон в Лос-Анжелесе, до переносных палаток в самых отдаленных уголках зоны, где обитают члены библейских сект; от миллионных капиталов святого отца в Нью-Йорке до медных грошей бродячих проповедников, кочующих под открытым небом и с трудом выпрашивающих скудные пожертвования у неприветливых бедняков в глухих районах Канзаса. Ревивалистская программа, по существу, везде одинакова независимо от богатой или бедной обстановки. Завораживающий слушателей голос проповедника (таким голосом обладал Хью Лонг, использовавший ревивалистскую тактику в своих политических выступлениях), экстаз молящихся, горячая, несущая утешение проповедь, внутреннее восприятие бога, невидимо присутствующего среди мрачных теней палатки или храма,— все это с непреодолимой силой увлекает людей от надежных якорей рационального, сознательного «я» в круговорот мистического транса, когда внезапно приходит освобождение от индивидуальной личности, забвение тревог и окончательная утрата чувств.

В момент такого религиозного экстаза может происходить все, что угодно. Проповедник может улесться с девушками в кустах, как это делал Кейзи в «Гроздьях гнева» Стейнбека. Он способен заставить молящихся биться головой о землю, взывая о прощении и отпущении грехов, о которых сами они имеют лишь смутное представление. Он может вызвать у своих слушателей всевозможные физиологические явления, начиная от конвульсий и судорог и кончая бессмысленным бормотанием, известным в религиозной терминологии под названием «дара прорицания». Он в состоянии даже убедить своих слушателей подвергнуться укусам ядовитых змей и при этом заставить их поверить, что те, кто умрет от укуса, обладали недостаточной верой. Добровольное самоотречение, являющееся венцом ревивализма, представляет собой жертвенное отдание себя в руки кого-либо другого, своего рода торжественное самоубийство, необычайное в условиях демократического общества, где

индивидуальная личность теоретически является наиболее ценным достоянием. Такое отчаянное, страстное стремление к чему-то иному служит ярким показателем того, насколько скучно, неприятно и невыносимо стало свое собственное «я».

Из всех многочисленных способов, какими индивидуум может отречься от самого себя, ревивализм является, пожалуй, самым напыщенным и ненормальным; он сулит забвение всех бед через общение с богом в момент религиозного исступления. Однако америкацы — народ, верящий не только в бога, но и в дьявола. Речь идет не о дьяволе в образе Люцифера с красивым смуглым лицом и рожками или о духе зла, тьмы и сверхъестественных сил, которому поклоняются в уединенных рощах секты сатанистов, объявляющие себя в момент исступления его слугами. Речь идет не о таком романтическом и литературном примитиве. Под дьяволом здесь подразумевается некий козел отпущения, на плечи которого можно свалить все многочисленные беды, «отрицательный герой» детективного романа. Его можно предложить в качестве жертвы силам, несущим нам бедствия, обвинить во всех ошибках, которые мы безотчетно не желаем признавать своими собственными ошибками. Тэрман Арнолд в своем произведении «Фольклор капитализма» исследует вопрос о склонностях американского народа искать дьявола в политике. В течение долгого времени таким дьяволом, ответственным за все беды, считалось правительство, а его агенты — политические деятели — рассматривались как обманщики, соучастники преступления и вообще продажные личности, высасывающие кровь из населения. После краха 1929 года, когда правительство в период «нового курса» выступило в новой роли спасательного органа, дьяволом стал бизнесмен, «экономический роялист», как метко назвал его Франклин Д. Рузвельт; это он своей алчной политикой вызвал депрессию и делал все, что было в его силах, чтобы помешать любой попытке восстановить экономику без его участия. Такое обвинение являлось пережитком прежних дней, когда во время избирательных кампаний поднимали шумиху вокруг традиционного американского пугала — Уолл-стрита, объявляя его виновником всех бед.

Наличие готового козла отпущения было удобно тем, что освобождало от необходимости думать о возникающих в жизни каждого человека проблемах и ситуациях. Было гораздо проще и поэтому в высшей степени соблазнительно винить во всем дьявола. Такие явления, как недовольство среди национальных меньшинств, волнения среди рабочих, кампания борьбы за гражданские права, даже кампания за развитие государственного жилищного строительства — если взять на выдержку только несколько примеров, — зачастую приписывались коммунистическому влиянию. Всякое оппозиционное движение, пользовавшееся горячей поддержкой населения, получало клеймо дьявола; дело дошло до того, что коммунистическое влияние стали выискивать с необычайной тщательностью не только в каждом непосредственно связанном с ним вопросе, но даже в чуждых ему аспектах национальной жизни. И все это происходило в стране, где марксистские идеи фактически не были популярны; где основной массе рабочих явно не хватало классового самосознания; где коммунистическая партия была, по всей вероятности, самой слабой из всех коммунистических партий мира.

Некоторые бедствия созданы нами самими и не могут исчезнуть только потому, что мы откажемся их признать. Наше нежелание их признать является в такой же мере бегством от своего «я» и от действительности, как и ревивализм, только более опасным, поскольку оно носит коллективный, а не индивидуальный характер. Когда мир избавится от многих своих бед, то и тогда он не превратится в утопию, как не превратился в нее и после разгрома фашистских империй. Появятся другие трудности, другие сложные дилеммы, решение которых будет лишь затягиваться, если огульно сваливать всю вину за них на некий внешний источник. Дьявол, многократно на протяжении истории человечества перевоплощавшийся в разные образы, был в этом смысле полезен; без него жизнь человека была бы куда тяжелее. Дьявол, в том или ином виде всегда находившийся под боком, стал очень популярен в Америке с тех пор, как пуритане привезли его с собой в традиционном наряде из огня и серы. Однако никогда он не пользовался таким огромным влиянием, как в те моменты, когда он играет роль ширмы для беспокойной совести, или социального

громоотвода, для того чтобы отвести опасность в другую сторону, или удобного способа бегства от самого себя.

Другим проявлением того же самого бегства от своего «я» служит слепая вера американцев в специалистов, неограниченное и безоговорочное к ним доверие. Необычайная специализация, сопровождавшая рост научных и технических знаний, разбивала жизненные явления на все меньшие и меньшие участки и придавала руководителю каждого такого участка все более важное значение. Со временем такой руководитель превратился в профессионального эксперта, который благодаря своим исчерпывающим знаниям в одной специальной области (часто при полном невежестве во всех остальных) стал своего рода посредником между этой отраслью знаний и широкой публикой. То обстоятельство, что он сосредоточил все свое внимание на одной узкой области знаний за счет всех других, было сильной стороной его деятельности в качестве эксперта. На человека, который претендует на знакомство с несколькими специальностями, смотрят подозрительно: считают, что он слишком разбрасывается и не может рассчитывать на глубокие познания. Мастер на все руки, некогда бывший самой популярной фигурой в Америке, теперь утратил свое значение. Во времена завоевания границы, когда борьба за существование требовала от человека универсальной сноровки, он был главной опорой страны, расширявшей свою территорию. С наступлением эпохи машинной техники он лишился своих функций и постепенно сошел со сцены; вместо него появился в массовом виде человек новой эпохи — специалист, который, по-видимому, прочно сидит на своем месте.

Доверие к эксперту — это нечто большее, чем просто характерное явление нашего сложного века. Оно необычайно возросло из-за нашего нежелания думать самим и брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг нас¹. Специалист является удобным аппаратом, созданным для того, чтобы думать за нас, и великолепным козлом отпущения, когда дела не идут как надо. Вот

¹ Если взять другие промышленные страны Запада, то в Англии и во Франции специалиста не окружают особым ореолом. Од-

почему, пожалуй, мы никогда не перестаем его порицать и вместе с тем верим ему, как бы он ни ошибался. Совмещая удивительным образом две серьезные функции, от которых мы сами рады избавиться, он представляет собой чрезвычайно удобный фактор, с помощью которого надолго сохраняется наша моральная и интеллектуальная отсталость, тем более удобный, что он вполне соответствует общественным институтам машинного века.

В оценке важнейших событий недавнего времени эксперты постоянно ошибались. Менее чем за два года до начала «битвы за Англию» Чарлз Линдберг категорически заявил, что нацистские военно-воздушные силы непобедимы. Когда в 1939 году началась война, военный эксперт майор Джордж Филдинг Элиот утверждал, что у Германии нет шансов одержать победу над Англией и Францией. Почти все военные специалисты были уверены, что Япония, безнадежно отставшая в промышленном отношении от великих держав, никогда не отважится напасть на Соединенные Штаты. Нет надобности перечислять ошибочные заявления по поводу последней депрессии — их было слишком много. Фактически никто среди банкиров, экономистов, промышленников, политических деятелей и других компетентных людей, к мнению которых прислушивается публика, не смог предсказать ни биржевого краха и последовавшего за ним кризиса, ни его продолжительности и степени напряженности, ни этапов последующего восстановления экономики страны. Так же было и в отношении большинства других современных нам событий.

Мы охотно прислушиваемся к мнению экспертов, и, если их мнение не оправдалось, виноваты оказываемся не мы, а они. Поскольку такое положение выгодно той и другой стороне, оно неизменно повторяется. Подозрительно относясь к политическим авторитетам в любом их виде, Америка тем не менее опутана обширной бюрократической сетью авторитетов в области меди-

нако в Германии перед ним преклоняются еще больше, чем в Соединенных Штатах.

цины, эстетики и вопросов личного поведения¹. Эксперт действует так же успешно в области ухода за детьми и внутреннего убранства квартиры, как и в области конъюнктуры рынка, спорта, в вопросах диеты и питания, прогноза погоды и результатов выборов, как и в любой отрасли точных и общественных наук. Он вторгается буквально во все области человеческой жизни, какие только можно себе представить: от этикета, садоводства и приготовления коктейлей до свадьбы и предсказания дальнейшего хода событий.

Преклонение американцев перед экспертами проявляется в нашей всегдашней склонности к разного рода опросам, проводимым с целью выявления общественного мнения. Традиция проведения таких опросов прочно укоренилась в стране, и, несмотря на совершенно неудачное предсказание результатов выборов в 1948 и 1952 годах, почти нет признаков ее ослабления. Опросы пользуются авторитетом благодаря своему наукообразному оформлению. Тщательный отбор и проверка мнений различных кругов общества выглядят достаточно внушительно и напоминают научно-исследовательскую работу. В век увлечения статистикой публике нравится, что результаты опроса объявляются в таблицах с аккуратными колонками. Видимость полной беспристрастности, подкрепленной такими терминами, как «институт», «ассоциация», «фонд», в сочетании с названиями крупнейших фирм производит большое впечатление и способна убедить общественность. Заранее высказанное другими лицами мнение, выявляемое при помощи таких опросов, в значительной степени помогает человеку избежать усилия, необходимого для составления собственного мнения.

Организации, занимающиеся такими опросами, ведут в Америке завидную жизнь и, по-видимому,

¹ Это противоречие проявляется во всем. В своей книге «Американский характер» Д. У. Брозэн (D. W. Brogan, *The American Character*, New York, Knopf, 1944, p. 56) говорит о противоречивом отношении американцев к войне: «Американский народ... всегда был настроен антимилитаристски, но никогда не был против военной службы. В нем сочетается ужас разумного и цивилизованного человека перед разрушениями и бесчеловечностью войны с простым и... естественным увлечением парадными мундирами военных».

застрахованы от катастрофы. Крах журнала «Литерари дайджест», с полной уверенностью предсказавшего в 1936 году, что Лэндон победит Рузвельта на президентских выборах, почти не отразился на их росте. Когда Рузвельт одержал победу над Лэндоном, получив подавляющее число голосов, «Литерари дайджест», верный своему слову, прекратил существование, но другие промышленные опросами организации, не моргнув глазом, бодро продолжали свое дело. Они утверждали, что их методы лучше, чем метод «Литерари дайджест». И действительно, их предсказания в последующие двенадцать лет были достаточно близки к истине, чтобы оправдать их некролог своему незадачливому коллеге. Однако период благополучия усыпил их бдительность: во время избирательной кампании 1948 года они, забыв бытую осторожность, стали предсказывать победу республиканцев так же уверенно, как и рядовые граждане, не претендующие на звание специалистов. Они ошиблись по всем пунктам, по каким только возможна была ошибка. Количество голосов в пользу Дьюи и Уоллеса было преувеличено почти в одинаковой пропорции; возможности же Трумэна — очень сильно недооценены. Правильно были оценены только силы диксикрата Дж. Строма Тэрмонда, единственного кандидата, чья сфера влияния была неизменной и поэтому заранее поддавалась учету. Поразительно грубая ошибка предсказателей была усугублена за два месяца до выборов заявлением одного из ведущих специалистов Элмо Роупера, что ему незачем продолжать дальнейший опрос, поскольку результаты в пользу Дьюи совершенно очевидны.

Когда над головой Роупера и его коллег (так же, как и над головами всех политических корреспондентов, фельетонистов и политиков-любителей) грянул гром, казалось несомненным, что опросы, наконец, изжили себя и теперь окончательно исчезнут с лица земли, что за самоубийством «Литерари дайджест» теперь последуют самоубийства Голлапа, Кроссли, Роупера и всех остальных прорицателей. Однако это предположение, как и все прочие, оказалось неверным. В течение нескольких недель после дня выборов организации, производящие опрос, были залиты со всех сторон потоком издевательств и насмешек, лишились своего авторитета как

общественные институты и проклинались теми, кто строил на их мнении свои расчеты. Объекты этих нападков выступили с публичным покаянием, обвинили себя в беспечности и небрежности и заявили о своей решимости выяснить, в чем же их ошибка, пригласив для этого в помощь себе целую армию специалистов по общественным наукам (столь важной для национальных интересов считали они эту задачу). Специалисты по выборам снова выплыли на поверхность в период избирательной кампании 1952 года; они произвели опросы, но, помня урок 1948 года, когда ими была проявлена излишняя смелость в предсказаниях, стали теперь сверхосторожными. Они единодушно заявили, что выборы будут проходить очень напряженно и исход их будет решаться самым небольшим числом голосов, настолько незначительным по своему влиянию, что никто не в состоянии заранее предсказать точный результат. Всякий, кто отнесся всерьез к их прогнозам, был поражен, узнав о победе Эйзенхауэра большинством свыше 6 млн. голосов и о его еще более крупной победе в коллегии выборщиков.

Опросы для выяснения общественного мнения, как и комментарии специалистов — вполне законное явление, если они не превращаются в догадки, используемые в коммерческих целях, и если доверчивые люди, чересчур склонные перелгать на других обязанность думать, не придают им чрезмерного значения. Но, по-видимому, есть еще немало людей, любящих заглядывать в будущее и обладающих слишком короткой памятью на события прошлого; они создают практикующим опросы организациям весьма солидную общественную базу для продолжения их деятельности.

III

Если один из видов самоотречения — позволять посторонним специалистам указывать нам, что думать, то другой, более характерный вид — позволять влиятельным лидерам указывать, что нам делать. Верить достойным лидерам — естественный и здоровый принцип, когда он не влечет за собой добровольного отказа от личной ответственности и от самостоятельного принятия решений. Хотя теоретически, в силу традиции, принцип подчинения фюреру чужд американской жизни, но

тем не менее у американцев всегда имелась склонность подчиняться авторитету других людей.

Опасный пример Хью Лонга, возглавлявшего в 1930-х годах самое активное из американских демагогических движений, показал, насколько жизнеспособна эта склонность и как легко можно играть на ней. Не одни только посулы Хью завоевали ему большую, растущую как грибы армию сторонников в его родной Луизиане и в соседних штатах Техас, Арканзас и Оклахома. Многие другие демагоги тоже сулили разные блага: обещали разделить богатства, дать каждому мужчине, женщине и ребенку двести или больше долларов в месяц — и все же ничего не могли достигнуть. Обещания, конечно, имели свое значение, но одних обещаний было явно недостаточно. Хью выделился из толпы демагогов благодаря своим личным качествам — находчивости, уму, красноречию и юмору. Он инстинктивно находил путь к сердцу такой же неудовлетворенной мелкой буржуазии в городах и таких же недовольных мелких фермеров-арендаторов в деревнях, какие послужили массовой опорой Гитлеру в Германии. Но если речи Гитлера были угрюмы, монотонны и напыщенны, то речи Хью, наоборот, были пересыпаны анекдотами, полны разнообразия и провинциальной хитрости и всегда легко доступны пониманию слушателей. Гипнотизирующее влияние личности Хью с его огромной самоуверенностью, пожалуй, больше, чем все обещания быстрого обогащения, привлекало тех, кто шел под его знамя. Нет ничего проще, как бежать от самого себя в распростертые объятия какого-нибудь смелого субъекта, который убеждает вас (а вы только и ждете, чтобы вас убедили), что знает ответ на все ваши вопросы. Американцы, хотя и менее восприимчивые к этой форме убеждения по сравнению с некоторыми европейскими народами, все же более склонны к ней, чем думают наивные сторонники доктрины свободы воли.

Другим предприимчивым и агрессивным лидером, появившимся одновременно с Хью, был отец Кофлин. Играя на антирузвельтовских и антисемитских настроениях, он собрал в середине и в конце 1930-х годов довольно значительное число сторонников. Только то обстоятельство, что он был католическим священником, действовавшим в протестантской в основном стране, по-

мешало ему добиться значительно больших успехов. Отряды «Христианского фронта», организованные с его благословения, проводили собрания на улицах больших городов, распространяли свою мерзкую литературу, избивали случайных зрителей, похожих на евреев, в то время как красноречивый пастор ораторствовал по радиовещанию со своей кафедры в Ройял-оук (штат Мичиган) о социальной справедливости. Воздействие, которое Кофлин оказывал на тех, кто подпал под его влияние, независимо от того, были ли они образованными или невежественными людьми, перешло границы его учения и стало вопросом подчинения личности, в данном случае исключительно злобной, энергичной и полной необычайной, заразной самоуверенности.

Доктрина Кофлина, кстати говоря, оказалась просто мешаниной: он начал с горячей защиты рузвельтизма, затем повторил весь набор доводов в пользу серебряного и против золотого стандарта и стал защищать все реформы, направленные против «нового курса», пока, наконец, его программа не перестала отличаться от несколько более грубо оформленных программ Джералда Л. К. Смита, Джорджа Десрейджа, Уильяма Дадли Пелли, Фрица Куна и других мелких американских фашистов. Это была доктрина, державшаяся на нескольких крайних предрассудках и влиянии сильной личности, которая и являлась основой кофлинского движения. Кофлин оказывал на людей гипнотизирующее влияние, преобладавшее над путанными и часто противоречивыми положениями его программы.

Своеобразное гипнотическое влияние оказывают на людей не только политические демагоги и реакционные ораторы. Видные деятели либерального направления, хотя бы они того или нет, пользуются аналогичным влиянием. Франклин Д. Рузвельт с течением времени снискал симпатии миллионов избирателей; сила этих симпатий намного превзошла идеологическое влияние «нового курса». Рузвельт стал играть роль Великого отца из Белого дома вскоре после своего вступления на пост президента, когда условия жизни в стране начали улучшаться. Сознание, что все трудности можно разрешить, просто переложив их на человека, живущего в Белом доме, возрастало все сильнее и превратилось в неоспоримую истину, независимую от экономических подъ-

емов и спадов. Поэтому, даже когда деловая активность снова снизилась и надвигающаяся война стала вызывать в стране тревогу, популярность Рузвельта почти не уменьшилась и его влияние на избирателей осталось прежним.

Вокруг Рузвельта был создан культ личности, столбе же по-своему горячий, как и выражение ненависти к нему (у менее многочисленных, но не менее убежденных людей). Этот культ личности основывался на мистическом предположении, что до тех пор, пока Рузвельт остается президентом, все будет хорошо; взрыв горя, вызванный его смертью, носил характер истерии, точно наступил конец мира. Имя, личность, взгляды Рузвельта оставались великим наследием для Америки и всего мира в целом много лет спустя после его смерти, как показала эта борьба между различными политическими деятелями и группировками за право считаться его наследниками. Вопреки утверждениям врагов Рузвельта нет никаких доказательств того, что он имел династические устремления или хотя бы намеревался выступать в роли покровителя миллионов обездоленных американцев. Но хотел он этого или нет, он был таким в глазах миллионов людей, не желавших больше полагаться на самих себя в бесконечной борьбе против жизненных трудностей.

Эта жажда самоотречения, конечно, не преобладает в политической жизни Америки, но она для нее характерна. Невидимая в данный момент, она покоится под спудом, скрытая от глаз, ожидая какого-нибудь магнита, чтобы выйти наружу. Она преграждает путь к совершенствованию, закрывая доступ к тем недрам ума, где таятся функции решимости и сознания личной ответственности. К счастью, структура нашего управления и политическая система вообще построены таким образом, что волевая личность, стремящаяся к неограниченной власти, редко имеет возможность действовать свободно. Инстинктивная склонность американцев к культу личности, чаще всего не получавшая здесь полного удовлетворения, переключалась на другие, менее опасные области.

И какого размаха достигла она в этих других областях! Редкий президент пользовался такой популярностью и так широко рекламировался, как Рудолф

валентино или Кларк Гейбл. Или возбуждал к себе какой интерес, как артисты и завсегдатаи ночных казаре. Или вызвал так много споров, как достижения Бейба Рута (Babe Ruth), Джека Демпси, (Jack Dempsey), Билла Тилдена (Bill Tilden), Реда Грейджа (Red Grange) или Бобби Джоунса (Bobby Jones)¹. С момента окончания первой мировой войны светила спортивного мира, как профессионалы, так и дилетанты, были любимцами публики, но теперь стали простыми спутниками в ослепительном сиянии кинозвезд. Личная жизнь кинозвезд оказывает почти такое же сильное влияние на зрителей и для многих болельщиков так же увлекательна и важна, как и сами кинофильмы. Это нечто большее, чем простое любопытство к выдающимся людям; оно доходит до безумия. Ни один тайный или интимный уголок их повседневного быта не избегает его слепящего прожектора.

Чтобы удовлетворить это жадное любопытство публики, возникло множество журналов, паразитически наживающихся на жизни актеров и антрепренеров, с которых они взимают постоянную дань. Эти листки, распространяющиеся огромными тиражами, специализируются на описании наружности, сплетнях, биографических подробностях, детальном сведениях о романах, свадьбах, разводах; они постоянно сосредоточивают свое внимание на самых грубых формах «человеческих ин-

¹ Энтузиазм публики по отношению к знаменитым атлетам прямо пропорционален не их ловкости и мастерству, а их агрессивности и мускульной силе. Мало кто шел смотреть Бейба Рута потому, что он был искусным игроком в бейсбол с прекрасно координированными движениями, наделенным необычайным чутьем и великолепно развитыми руками, и вообще лучшим игроком на поле. Зрители шли, чтобы посмотреть, как он закидывает мяч дальше, чем кто-либо в мире. Джин Тинни (Gene Tunney) был великолепным боксером, но никогда не привлекал большого числа зрителей, за исключением двух раз, когда он сражался с Демпси. Отличные качества Тая Кобба (Ty Cobb's) как игрока в бейсбол отходили на задний план по сравнению с его агрессивностью, незаконными ударами битой и вообще грубой манерой игры. Тед Вильямс (Ted Williams), угрюмый, вялый человек за пределами поля, считался одним из светил спортивного мира благодаря своим удивительно сильным ударам. Игроки в гольф или теннис, обладающие самым сильным ударом, хоккеисты, ломающие друг другу кости грубой игрой, привлекают огромное количество зрителей, тогда как настоящие артисты, мастера стиля, пользуются успехом только у сравнительно немногих знатоков.

тересов». Но их интересы большей частью бесчеловечны. Горе актеру, который откажется пойти навстречу требованиям журнала и откровенно рассказать о себе или проявит сдержанность в отношении своих личных дел! О нем появится отрицательная статья; картины с его участием будут холодно рецензироваться; его могут даже обвинить в самом неблагоприятном проступке — «измене интересам Голливуда». Результаты такого отношения к артисту могут быть самыми катастрофическими; все прекрасно понимают это, и лишь немногие артисты так смелы, чтобы позволить себе что-нибудь, кроме самой сладкой улыбки, когда редакторы киножурналов (или корреспонденты синдицированных газет, пользующиеся теми же методами для сбора всякого рода сплетен) явятся получить интервью.

Такая крупная и разветвленная система шантажа может держаться только на фанатическом увлечении кинозрителей. Огромный объем почты, получаемой артистами от поклонников, широко раскинувшаяся сеть «клубов любимых каноартистов», восторженное обожание со стороны девушек-подростков — все это показывает, до каких масштабов доходит слепое увлечение кино как своеобразное социальное явление. Но в этом увлечении особенно сильно проявляется и характерная черта американцев — страсть их к перевоплощению, намеренное создание какого-то обаятельного идеала, в образе которого простой американец может наслаждаться более красивой и увлекательной жизнью, чем его собственная. Как только меркнет слава одного героя, на его месте сразу же возникает другой. Благодаря этому культ Линдберга, Греты Гарбо, Джека Демпси повторялся многократно лишь с другими именами; героические подвиги и замечательная игра переживались вновь и вновь множеством людей.

Такое страстное увлечение свидетельствует о потребности людей растворять свое реальное «я» как можно полнее в другом «я» и создает брешь, в которую может проникнуть это обожаемое чудесное «я». Один путь ухода от своего «я», которое в силу своей реальности еще далеко от совершенства и поэтому неприемлемо для незрелого ума, ведет к тому, что Карин Хорни называет «идеализированным образом». Этот образ является как бы безупречной комбинацией всех качеств, приносящих

престиж и успех,— тех самых качеств, которых может не доставать реальному «я». Обаятельные кинозвезды утоляют своей игрой огромную жажду этого идеализованного образа, так как они воплощают его хотя бы приблизительно в увлекательной и живой форме. Это явление наблюдается во всем мире, и было бы неправильно считать, что оно характерно только для Соединенных Штатов¹. Но формы, в которые оно вылилось в Америке, самобытны; одна из таких форм — необычайный культ кинозвезд, вполне соответствующий созданному в Америке направлению киноискусства и достигший здесь наибольшего расцвета.

Но наше «я», сколько бы мы ни старались с ним расстаться, все же неотделимо от нас. Бегство от него по той или иной причине рано или поздно заканчивается нашим возвращением к исходному пункту. Чем сильнее старается индивидуум избавиться от своего «я», тем больше снижается его способность владеть самим собой. То, что происходит в Америке, и есть частичное атрофирование этой способности в результате предлагаемого нашему вниманию богатого выбора заменителей, блестяще украшенных, соблазнительно показанных, ставших еще более обольстительными благодаря высокому техническому мастерству, достигнутому в нашей стране, далеко опередившей все другие страны в области развития техники. Поэтому чем больше мы испытываем влияния со стороны окружающего нас мира, тем важнее для нас противостоять ему в нашем настоящем виде, а не в том, какой нам представляется заманчивым из-за нашей всегдашней погони за чем-то иным.

Наша зрелость как отдельных лиц, так и целой нации в известной мере зависит от нашего умения управлять своими импульсами, отвлекающими нас от действительности, а не поддаваться их воздействию. Какими

¹ Чрезмерное увлечение кинозвездами стало одной из главных статей американского культурного экспорта. Оно уже прочно укоренилось в Англии (где служит источником непрекращающихся жалоб со стороны английских пуристов в области культуры) и начинает укореняться в Италии. Во время происшедшей в Риме свадьбы Тайрона Пауэра и Линды Крисчиан собралась огромная толпа итальянских девушек, желавших хотя бы одним взглядом взглянуть на «замечательного Тая»

бы неприятными, несовершенными и неподходящими ни казались нам реальные «я» и реальный мир, их следует признать и принять как безусловный факт, если только мы хотим двигаться вперед. Этот шаг является необходимым и неизбежным предварительным условием для успешного движения по весьма трудному пути самосознания.

ГЛАВА XIII

ПРИНЦИПЫ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Жизнь гармонично развитого общества, как и полноценного человека, основана на принципах, которые всегда следует напоминать. Каждый человек, желающий достигнуть полного развития и зрелости, стремится привести в состояние активного взаимодействия многочисленные импульсы, которые мощно действуют внутри него: стремление к самосохранению и самовыражению, жажда любви, одобрения и признания, часто противоположные потребности тела и разума. Он хочет жить в безопасности и в то же время сознавать, что жизнь полна возможностей. Он начинает понимать, какую опасность представляет для него замкнутый в себе или предвзято настроенный ум и как легко впасть в цинизм и отчаяние, ища выхода из неразрешенных противоречий. Если тот или иной из природных импульсов человека находится в подавленном или извращенном состоянии, то это значит, что он отстает в своем нормальном развитии.

То, что относится к каждому человеку, верно и в отношении демократического общества в целом. В идеальном случае различные группы людей живут в нем совместно на началах взаимного уважения, пользуются свободой слова и имеют все возможности для развития своего самосознания. В основе такого идеального государства заложено три принципа, содержащихся в важнейших документах нашей республики: 1) равенство людей («Все люди созданы равными»); 2) обеспечение свободы различных способов их самовыражения и поведения («Конгресс не должен принимать никакого закона, касающегося установления религии или запре-

щающего свободу вероисповедания; или ограничивающего свободу слова и свободу печати; или право людей мирно собираться и подавать петицию правительству об удовлетворении их жалоб»); 3) способность к совершенствованию их натуры и природы их общества («Мы, народ Соединенных Штатов, чтобы создать более совершенный Союз...»).

I

Принцип равенства людей или нераздельности человеческого общества подвергается многочисленным нападениям. Наиболее открыто отрицали его нацисты с их теориями о высших и низших расах. Американский вариант расистских теорий процветал в различных районах страны и в разные времена. Его жертвами были различные группы населения: евреи, католики, негры — на юге, мексиканцы — на юго-западе, китайцы и японцы — на Западном побережье и индейцы — повсюду. Голоса проповедников расизма раздавались даже на заседаниях конгресса. Бывший член конгресса Джон Ренкин и покойный сенатор Теодор Билбо разглагольствовали часами на тему об «ублюдке» негре, о превосходстве белой культуры, о физиологической разнице крови и несли прочий расистский вздор, состоявший из смеси сексуальной истерии и страха за свой карман.

Но откуда бы ни исходили эти нападки, их природа почти всегда одна и та же. Они начинаются с недоказанной предпосылки: одна раса выше других или определенная религия вредна и разлагает любое общество, в которой ей удастся закрепиться. Эта предпосылка провозглашается смело и догматически, и спустя некоторое время, в силу частого повторения, становится равной прямому доказательству. Главной движущей силой расистской пропаганды служит ненависть — из всех человеческих чувств самое близкое к мистическому помутнению рассудка. В такой атмосфере по прихоти расиста могут произвольно вырабатываться условия и критерии, выносятся и отменяются решения, приводятся в исполнение приговоры, строиться по любому образцу сама жизнь. Истина и реальность становятся просто приправой, добавляемой или не добавляемой, смотря по по-

требности расиста. Из всех сил, которые оказываются тогда его жертвами, первой является разум. А подчинение или извращение разума — это как бы прорыв первой линии обороны людей, которые затем легко попадают под власть расистов.

Расист презирает логику. Для него достаточно «чувствовать». Если вы чувствуете достаточно сильно и достаточно долго, правда о нечистокровных расах станет вам ясна. Мысль не так легко передается другим, но чувство необычайно заразительно: оно распространяется, особенно в толпах людей, со сверхъестественной быстротой, и поэтому кажется, что оно возникает более «естественно». Там, где торжествует расистская демагогия, лагерь противников равенства одерживает победу над умом и идеями равноправия людей.

Анналы современной литературы также изобилуют нападками на эти идеи со стороны самых разнообразных групп писателей. При этом Т. С. Элиот, проповедующий антисемитизм на основании тщательно разработанных им философских принципов, оказывается в одном лагере с Волфом и Фолкнером, которые в своих ранних произведениях высмеивали негров только потому, что бессмысленно презирали их, и с пролетарскими писателями 30-х годов, которые создавали карикатурный образ фабриканта в виде развращенного чудовища, бессильного удержаться от эксплуатации своих рабочих даже тогда, когда он хочет быть гуманным. В каждом таком случае люди делились, без всяких оговорок или возможности скидки, на врожденно хороших и дурных, и поэтому целые группы людей — будь то негры и евреи в данное время или класс предпринимателей в революционном коммунистическом будущем — категорически лишались радостей и прав полноценного существования.

Т. С. Элиот давал своему антисемитизму философское обоснование. В одной из лекций в Виргинском университете, рассматривая свойства здоровой и нездоровой культуры, он заявил следующее:

«Для того чтобы была создана традиция, необходимо, чтобы основная масса населения была сравнительно хорошо обеспечена там, где она проживает, и чтобы у нее не было поэтому желаний и повода переселяться. Население должно быть однородным; когда в одном

месте существует несколько культур, то они будут или крайне враждебны одна другой, или смешаются и окажутся искаженными. Еще более важно единство религиозной основы; и, по соображениям расового и религиозного порядка, нежелательно, чтобы среди населения находилось большое число свободомыслящих евреев. Должно соблюдаться соответствующее равновесие между ростом городов и сел, промышленным и сельскохозяйственным развитием. Дух излишней терпимости должен быть осужден»¹.

Поэзия Элиота страдает нелестными эпитетами в адрес евреев. В «Геронтионе» они отождествляются с международной денежной силой, ответственной за крушение Европы.

Тот дом, где я живу, пришел уже в упадок,
Владеет им еврей, сидящий на приступке,
Родившийся в какой-нибудь антверпенской таверне,
В Брюсселе терпийся и в Лондоне шнырявший².

В стихотворении «Бэрбанк с Бедекером: Блейстейн с сигарой» величие Венеции в прошлом противопоставляется коммерческому духу теперешнего туристского города, а евреи ассоциируются с упадком этого великого города:

Была манера у Блейстейна:
Согнув колени, локти сжав,
Ладони вывернуть наружу, —
Еврей чикагский, житель Вены...
Как крыса у мешка с мукой,
Еврей всегда на распродаже.
Меха — вот деньги...³

Грубые и язвительные выпады Элиота нашли отклик у других интеллигентов, в частности в работе Стьюарта П. Шермана, считавшего, что волны иммиграции загрязнили поток американской литературы; ему особенно ненавистен Теодор Драйзер, предки которого были немцами. Но все эти писатели не обладали ни эрудицией, ни остротой языка Элиота. В дальнейшем Элиот, опиравшийся в своих работах на трех

¹ T. S. Eliot, *After Strange Gods*, p. 19—20.

² T. S. Eliot, *The Complete Poems and Plays*, p. 21.

³ Там же, p. 24.

китов — католицизм в религии, классицизм в литературе и роялизм в политике,— не проявил сколько-нибудь заметно большей человечности. Это только усилило парадоксальность положения писателя с большим талантом, посвятившего себя служению культуре и цивилизации и вместе с тем делившего окружающее его общество на лиц, получающих диплом порядочности, и лиц, полностью лишенных доверия.

Антисемитизм в литературе разыгрывался в различных ключах. Его американские варианты часто ведут свое начало от английских прототипов. Следы антисемитизма можно найти во многих английских бульварных романах: от случайной детективной повести, где еврей — почти всегда елейный ростовщик, до стандартного романа из жизни мелкопоместных джентри, в котором еврей принимает свой другой, английский облик — богатея-высочки, отличающегося вульгарными манерами и нахальством. В книгах Энтони Троллопа еврей — либо вкрадчивые ростовщики, либо темные личности (как, например, Фердинанд Лопез из романа «Премьер-министр»), обманным путем втирающиеся в общество честных, чистокровных англичан. Эти литературные образы отражают долгую и хорошо документированную историю дискриминации евреев в различных областях нашей общественной жизни: в области образования, службы, домовладения и так далее, вплоть до мелких унижений их вследствие установившейся в отелях и на курортах практики.

Тенденция к разобщению людей не всегда проявляется в виде унижения евреев. Многие из положительных образов евреев представляют собой неуклюжую и неправдоподобную идеализацию, когда авторы с самыми лучшими намерениями полностью впадают в противоположную и столь же неестественную крайность. Такие образы можно найти в «Айвенго» Вальтера Скотта, «Даниэл Деронда» Джорджа Элиота и «Верности» Джона Голсуорси. Типичным примером просемитской идеализации в американской художественной литературе могут служить два известных романа, являющиеся, по существу, памфлетами: «Фокус» Артура Миллера и «Джентльменское соглашение» Лоры Хобсон.

В произведениях Томаса Волфа можно найти обе крайности; они сосуществуют бок о бок иногда даже

в одной и той же книге¹. Евреев редко изображают как обыкновенных людей, без той повышенной нервозности, которая ставит их в положение, отличное от положения их ближних.

Антисемитизм, где бы и как бы он ни проявлялся, представляет собой отрицание равенства людей и подрывает основы демократического общества. Это отрицание еще более ярко проявляется в положении негров и в изображении негритянских образов в литературе. Здесь диапазон изображения даже шире — от примитивной незамысловатости ковбойских романов до сложных теорий расового вырождения в романах Уильяма Фолкнера. Следующий отрывок из романа Зейна Грея «Аризона Эймс» характерен для первых из них. Герой романа — Аризона Эймс разоблачает негодяя (белого) и выкрикивает свои оскорбления с нарастающей силой: «Ах ты, пьяница, пропойца! Ах ты, черномазый сарыч!.. Ах ты, проклятый негритос! У тебя негритянская душа!»²

Все усиливающиеся оттенки пренебрежения, жалости, презрительной терпимости и прямой враждебности к неграм весьма часто встречаются и за пределами ковбойских повествований. Необычайно сложное переплетение их можно найти и в романах Фолкнера. Негр, существующий сам по себе, вне всякой связи с жизнью белых, сначала изображается Фолкнером с безразличием или презрительным пренебрежением. В романе «Сарторис» он сравнивает негра с мулом: «Непонятый даже этой тварью, негром, который правит им (мулом) и чьи импульсы и умственные процессы очень близко напоминают его собственные...»³ Позже негр, знающий свое место в мире белых и соблюдающий его, завоевывает одобрение и даже симпатии Фолкнера. Такие чувства вызывает, например, Дилси — верная прислуга семьи Компсонов в романе «Звук и ярость», которая сохраняет свою порядочность, в то время как ее белые хозяева разлагаются.

¹ Подробно об отношении Волфа к евреям и неграм смотри мою книгу «Гневное десятилетие» («The Angry Decades», New York, Dodd, Mead, 1947, p. 151—159).

² Zane Grey, Arizona Ames, New York, Grosset and Dunlap, 1932, p. 144.

³ William Faulkner, Sartoris, New York, Harcourt, Brace, 1951, p. 279.

Негр, имеющий примесь белой крови и поэтому ближе соприкасающийся с образом жизни белых, привлекает пристальное внимание Фолкнера; его судьба становится одной из главных тем творчества писателя. В течение долгого времени этот образ ранних романов Фолкнера неизменно являлся источником непоправимой трагедии, так как приносил несчастье белым и гибель самому себе. Два романа почти целиком посвящены подробному описанию трагических последствий смешения крови. В романе «Свет в августе» Джо Кристмас, человек смешанной крови, отомстил белому миру, убив свою белую любовницу. В романе «Абесалом! Абесалом!» расово «неполноценный» Чарлз Бон из соображений такой же мести решил жениться на своей белой сводной сестре, не знавшей его происхождения. Образ дегенерата смешанной крови Джима Бонда из того же романа служит у Фолкнера предупреждением о страшных последствиях, которые может навлечь на белую цивилизацию смешение рас.

Но за период с 1936 года, когда вышел в свет роман «Абесалом! Абесалом!», до 1942 года, когда Фолкнер вновь серьезно занялся расовым вопросом в сборнике «Сойди вниз, Моисей!», отношение писателя к неграм сильно изменилось. В лице Льюкаса Бошампа он создал образ человека смешанной крови, который в отличие от Кристмаса и Бона не переживает мучительно свое положение, а, наоборот, проявляет исключительное благородство, будучи выше расовых предрассудков.

«И все же Льюкас не пользовался преимуществом своей белой... крови, наоборот, казалось, он был не только глух к влиянию этой крови, но и равнодушен к ней. Ему даже не приходилось с ней бороться. Он оказывал ей сопротивление просто тем, что являлся смесью двух рас, создавших его, просто тем, что владел ею. Вместо того чтобы стать одновременно ареной борьбы и жертвой двух родов, он был прочным, изолированным сосудом, без родовой наследственности, в котором яд и противоядие без всякой реакции, незаметные извне, нейтрализовали друг друга»¹.

¹ William Faulkner, *Go Down, Moses*, New York, Random House, 1942, p. 104.

Так как Фолкнер всегда допускает преувеличения при создании образов своих героев, то Льюкас получился у него неестественно спокойной и героической фигурой, в то время как его предшественники были столь же неестественно одержимы различными страхами и сознанием своей вины. Льюкас действительно настолько спокоен, что, когда в рассказе «Поверженный захватчик» его арестовывают по ложному обвинению в убийстве белого человека, он не пытается даже шевельнуть пальцем, чтобы помочь своим белым защитникам собрать доказательства в его пользу. Он, во всяком случае, владеет секретом героического спокойствия и непостижимой мудрости.

Создав его образ, отражающий одну из полярных крайностей, Фолкнер впервые признал в негре человека и даже идеализировал его.

Создание этого образа совпадает с появлением другого благородного образа человека смешанной крови — Сэма Фазерса, главного героя замечательного рассказа Фолкнера «Медведь», центрального произведения в сборнике «Сойди вниз, Моисей!» Сэм — человек еще более «смешанного происхождения», чем Льюкас, потому что в его жилах течет не только негритянская и белая, но также и индейская кровь. Он сохраняет в себе неподкупный дух прежней вольной жизни в прерии, ныне застроенной фабриками и лесопильнями. Это он объясняет мальчику Айку Маккэслину значение древних истин и является символом славного и вечно памятного прошлого, к которому неизменно возвращается воображение Фолкнера. Эта идеализация негров продолжается в романе «Реквием для монахини», вышедшем вслед за рассказом «Поверженный захватчик». Там изображается черная служанка, убивающая грудного ребенка своей хозяйки с целью удержать ее от бегства с другим человеком, которое разрушило бы жизнь остальных героев; она действует по самым чистым побуждениям и идет навстречу своей смерти с тем же безмятежным спокойствием, какое характерно для поведения Льюкаса и Сэма.

Цивилизованная жизнь основана на убеждении, что все человечество связано неразрывными узами, а это убеждение в свою очередь исходит из принципа, что люди созданы равными в духовном отношении. Теория эти-

ческого равенства гласит, что, как бы ни были различны люди в интеллектуальном и культурном отношении, все они имеют одинаковую моральную ценность и равное право на свободу и счастье. Взгляды Фолкнера на негров последовательно прошли путь развития от отрицания до признания. И так как Фолкнер владеет одним из самых плодovitых и сильных писательских талантов нашего времени, эта перемена имеет особенно большое значение.

Почти такая же перемена произошла и в изображении негров на экранах кино, несмотря на стремление кинодеятелей свести свои взгляды на человеческую природу к определенным штампам. Первое время, начиная с фильма «Рождение нации», вышедшего в 1915 году, образ негра в кино редко варьировался. В комедиях он был добродушной, слегка глуповатой и совершенно безответственной фигурой; он воровал цыплят и арбузы и из-за своего тупоумия попадал в различные мелкие беды. Стэпин Фетчит играл обычно эту роль с поразительной медлительностью движений, которая с тех пор всегда ассоциировалась с его образом. В серьезных драмах из жизни Юга негр был неизменно верным слугой, причем эта преданность семье, которой он служил, представляла собой самую сильную его эмоцию. Если дело происходило до Гражданской войны, он был доволен своей участью раба; если после — он твердо сопротивлялся всем попыткам политиканов-северян «улучшить» его судьбу. В мужской роли негр был кроток и послушен. В женской роли, исполнявшейся Луис Биверс или Хэтти Макдэнил, негритянка изображалась в виде старой няни, говорившей с сильным акцентом, на чью широкую грудь бросалась белая героиня за утешением в критические моменты; няня произносила небольшие наставления на односложном языке, предназначенные для поднятия бодрости духа ее белых хозяев.

В музыкальных комедиях негр бывал или пылким джазовым музыкантом, позволяющим себе более резкие телодвижения, чем это допустимо для белого человека, или певцом хора, распевającego во время уборки хлопка прекрасные религиозные гимны; пение сопровождалось тщательно отработанными для сцены плавными движениями, которые исключали всякое ощущение тяжелого труда и оставляли у зрителей чисто эстетическое впе-

чатление. В детских спектаклях цветной ребенок был всегда хитер, как жук (Ферайна из серии комедий «Наша компания»), но немного туповат по сравнению с белыми детьми и значительно менее самостоятелен в практических делах. В течение долгого времени негра никогда не показывали совершающим убийство, насилие, поджог, грабеж (за исключением забавных мелких краж, но даже и от них впоследствии отказались) или вообще поступающим аморально. Его не показывали также ни влюбленным, ни реально сталкивающимся с какими-либо жизненными проблемами. Коротче говоря, Голливуд выхолащивал образ негра как человека и, убрав все нервы и эмоции, делал из него простое чучело, надеясь таким образом не вызвать раздражения у какой-либо влиятельной части белого населения, настроенного как про-, так и антинегритянски. Как экспонат киновыставки набивных чучел этот портрет был великолепен. Как образец деятельности популярного искусства в демократической стране — ужасен. И особенно ужасен потому, что он создавался без всякого убеждения¹, если только заботу о кассовых сборах не считать эквивалентом убеждения. Все это также помогло замутить воду в источнике, питающем нашу культуру, и явилось одним из видов покушения на ее целостность.

После второй мировой войны, когда волна движения против неполноправного положения негров охватила всю страну, Голливуд выпустил целый ряд кинофильмов, изображавших негра в более серьезном виде. Такие фильмы, как «Приют смелых», «Утраченные границы» и «Пинки», хотя и не отличались очень высоким качеством, но тем не менее способствовали устранению штампов в расовом вопросе, в течение стольких лет тормозивших развитие этой темы в кино. Эти фильмы были созданы скорее под внешним нажимом, чем по внутреннему убеждению, и пока еще не смогли вызвать к жизни твердого направления в искусстве; все же они представляют собой многообещающее начало.

¹ За исключением известного фильма «Рождение нации», режиссер которого Д. У. Гриффит, южанин по рождению и убеждениям, обладающий большим творческим талантом, изобразил негра как низшее существо, потому что искренне считал его таковым.

Даже в фильмах, которые не были посвящены специально неграм, их стали показывать как людей, а не как расовые типы. В 1952 году вышла на экраны посредственная картина под названием «Редболлский экспресс», где солдаты негры играли только второстепенные роли. Однако они были изображены не только реалистически, но и без всяких следов той приниженности, наличие которой само по себе служит признаком расслоения общества. Движение в пользу признания негров американцами и полноправными членами человеческого общества усиливается и в других областях. Большая группа видных американских негров опубликовала 24 октября 1952 года в газете «Нью-Йорк таймс» заявление политического характера, в котором высказывала свое настоятельное желание, чтобы их рассматривали не как негров, а как американцев и обращались к ним соответствующим образом в период кампании по выборам президента и во всякое другое время. Это также было выражением принципа общности людей.

Не одни только расовые и религиозные предрассудки подрывают целостность американской культуры. Существует еще разделение людей по признаку классовой принадлежности, географического размещения и образования, проявляемое в самых различных формах. Ему способствуют коммунисты, которые объявляют всех предпринимателей злодеями; предприниматели, которые называют всех рабочих (в особенности состоящих в профессиональных союзах) ненасытными бунтовщиками; северяне, которые объявляют всех южан злостными фанатиками; южане, считающие всех северян политическими авантюристами и «покровителями черномазых»; фермеры, которые думают, что все городские рабочие — радикалы; рабочие, полагающие, что все фермеры — алчные реакционеры; жители маленьких провинциальных городков, которые смотрят на большие города как на вертепы зла; жители больших городов, считающие маленькие города провинциальным болотом; граждане, которые цинично уверены, что все политические деятели — проходимцы; политические деятели, которые столь же цинично считают своих избирателей чудаками и простофилями. Такое разделение людей свойственно и тем, кто придерживается доктрины об из-

бренных: одни будто бы рождены руководить, а другие — подчиняться.

Пролетарские писатели 1930-х годов проводили во всех своих произведениях произвольное разделение людей на группы с определенными ярлыками; при этом исключались все индивидуальные отклонения от нормы. По формуле пролетарских писателей, каждый фабрикант, каким бы добрым или порядочным он лично ни был, должен эксплуатировать своих рабочих: он должен подкупать шпионов для слежки за их действиями; нанимать экспертов по вопросам производительности труда, чтобы заставить их работать с нечеловеческим напряжением; поощрять применение полицейских зверств против забастовщиков и их пикетов; нанимать штрейкбрехеров и даже вступать в фашистские организации типа «Черного легиона», если рабочие не поддаются иным видам воздействия. Другой лагерь составляют рабочие, в первую очередь члены профсоюза, а из членов профсоюза — те, кто сочувствует коммунистической партии; они обладают всеми добродетелями — мужеством, умом и честностью. Еще важнее то, что на их стороне справедливость: они ведут героическую борьбу за свое экономическое раскрепощение. Какой-нибудь отдельный рабочий, не выдержавший испытаний этой борьбы и «изменивший» своим товарищам, став шпионить за ними в пользу хозяина, с сожалением, но решительно исключается из их среды. Один или двое рабочих неизменно погибают, но это только способствует сплочению остальных, продолжающих бороться. В конце книги тысячи рабочих, прорвавшись сквозь полицейские кордоны, собираются на Юнион-сквере, с развернутыми знаменами, с высоко поднятыми головами, в массовой демонстрации, свидетельствующей о приближении нового мира¹.

Эта сама по себе драматическая схема приобрела внешнюю правдоподобность благодаря событиям вре-

¹ Такая формула вновь возникла в 1948 году в романе Говарда Фаста «Кларктон». Здесь Фаст по традиции делает отрицательным героем слабого, невротического предпринимателя, который почти против воли уступает свою власть профессиональному штрейкбрехеру с вежливыми манерами и макиавеллиевской моралью, а положительными героями — всех профсоюзных организаторов, и в первую очередь тех, кто принадлежит к коммунистической партии.

мен депрессии, росту Конгресса производственных профсоюзов, итальянским забастовкам; тем не менее она вскоре приелась, стала шаблонной и потерпела крах, отчасти потому, что пролетарскому направлению в литературе и искусстве не удалось вырастить или привлечь на свою сторону достаточно крупные таланты, но главным образом вследствие того, что оно не могло крепнуть и развиваться на основе такой однообразно двухцветной, черно-белой, этики и психологии. Та же судьба постигла в основном пролетарскую критику и драматургию, которые так же страдали от безжалостной классификации людей в соответствии с требованиями абстрактной теории. История всей пролетарской эстетики представляет собой яркий пример сковывающего действия ума, подчиненного идеям разделения человечества.

Предубеждения, основанные на различиях классов (любых классов¹), религий и рас, находят параллель в предубеждении, вызываемом разумом, который тоже, хотя и особым способом, подрывает идею о врожденном равенстве всех людей с точки зрения их моральной ценности. Интеллектуальный сноб начинает с утверждения, которое трудно отрицать: люди обладают различными умственными способностями. Однако отсюда он переходит к дальнейшему утверждению, что более умные люди являются более ценными членами общества, и поэтому им следует предоставить большую власть. Этот взгляд проявляется в многочисленных лозунгах и сентенциях: массы — глупы; люди — невежественны; большинство людей желает, чтобы ими руководили; люди — бараны, которые пойдут за любым сильным вожаком; ежеминутно в мире рождается дурак; большинство людей предпочитает не думать; не через голову, а через желудок избирателей лежит путь к успеху в политике. Разница, существующая, как утверждают, между мыслящими и немыслящими людьми, превращается в догму и становится в наши дни целой жизненной теорией.

¹ В различные времена возвеличивалась то аристократия, то буржуазия. В 1930-х годах их место занял пролетариат. Вспомним также, с каким сентиментально-романтическим уважением относились к простому скромному труженику земли Жорж Занд, Водсворт, а позднее — Д. Г. Лоуренс с его поисками ритма примитивного сознания.

Более серьезные и философски настроенные защитники такой разницы пытаются обосновать ее всяческими доводами и рационалистическими соображениями. Платон утверждал, что признание за его философами-правителями права руководить народом лучше всего соответствует интересам государства. Карлейль был уверен, что массы простых людей станут гораздо счастливее, если будут заниматься работой, к которой они предназначены природой, и поручать наиболее трудное дело управления государством немногим избранным мудрецам. Сверхлюди Бернарда Шоу — это существа с наивысшими умственными способностями, которые во имя порядка и разума поведут менее одаренных людей к благам фабианского социализма. Аристократия Г. Л. Менкена вернет достоинство людям, покончив с вульгарностью и грубым тупоумием масс. Философия избранных содержится также в очерках Т. С. Элиота, в прокламациях южных аграриев и членов общества «Новых критиков», возглавляемого Джоном Кроу Рэнсомом (John Crowe Ransom), Алленом Тейтом (Allen Tate) и Робертом Пенном Уорреном (Robert Penn Warren). В клерикальных кругах эта философия нашла таких сильных пропагандистов, как настоятель Индж (Inge) и каноник Бернард Иддингс Белл (Burnard Iddings Bell)¹.

Создание общественного строя, при котором власть принадлежит привилегированному, умственно высоко-развитому классу, пытаются оправдать заботой о благополучии государства, о счастье народа, о преимуществах разумного строя и о достойном поведении людей; при этом избегают прямого и грубого утверждения, что глупое большинство должно подчиняться умному меньшинству. Такая программа всегда смягчается и приукрашивается каким-нибудь ярким изложением выгод, кото-

¹ Каноник Белл в своей книге «Культура толпы», вышедшей в свет в 1952 году, придумал своеобразное и внутренне противоречивое определение — «демократическая элита», относящееся к группе лидеров, которые должны выйти из среды самих народных масс. Но в какие бы красивые слова ни облекалось это определение, оно проистекает из ясного утверждения автора, что большинство людей — глупцы, которых можно водить за нос, и что руководить ими лучше всего может группа образованных, целеустремленных и умных людей.

рые приобретет человечество от ее правильного применения. Однако вся маскировка, на какую только способно воображение человека, не может скрыть безжалостной дихотомии, диктуемой тиранией ума.

Нельзя этого скрыть и привычным утверждением, что привилегии, которыми пользуется высокоразвитый ум, сопряжены с соответствующими обязанностями и тяготами. Философы-правители должны были первые тридцать пять лет своей жизни посвятить строжайшей тренировке тела и ума. Сверхлюди Шоу согнулись бы под тяжестью государственных забот, необходимости думать за всех и перспективы нести ответственность, если дела пойдут плохо. Но как бы доброжелательно и целесообразно ни была задумана такая структура, она остается безнадежно раскольнической и наносит такой же тяжелый удар духовному равенству людей, как и расистская концепция превосходства белой расы.

Интеллектуальный снобизм, подобно всякому другому направлению человеческой мысли, имеет свою динамику развития. Его сторонники склонны приравнивать интеллектуальное превосходство к ценности человека. При этом не важно, для кого ценен человек — для государства, для общества, для всего мира или только для себя лично. Когда идея о большей ценности ума достигает полного развития, она отменяет прочь концепцию морального равенства людей и открывает путь диктатуре — благожелательной или какой-либо иной — со стороны ценного меньшинства. Всякая группа людей независимо от того, как она достигла власти — с помощью ума или физической силы, — стремится упрочить свое господство. Поэтому такое меньшинство, достигшее власти, использует для сохранения своего положения любое имеющееся в его распоряжении средство. Так как, по мнению этого меньшинства, большинство людей не представляет ценности, то неизбежно возникнет безразличное отношение к человеческой жизни и вслед за тем на сцене быстро появятся все атрибуты олигархического правления. Насколько умно и понятно для всех будут применяться эти атрибуты — предугадать трудно, но несомненно одно: они будут действовать так, что пропасть между правителями и подданными начнет углубляться, а это в конце концов неизбежно приведет к коррупции одних и деградации других. Идея поставить

у кормила правления группу избранных по уму выглядит соблазнительно разумной и справедливой, однако в деятельности высокоразвитого ума нет таких условий, которые могли бы *per se* оградить его от искушения упиться властью. Выдающиеся по уму люди должны играть в обществе свою роль, но, несмотря на всю соблазнительность идей Шоу и других, эта роль не должна быть ролью правящей иерархии.

И, наконец, есть еще один враг принципа общности людей — ксенофобия. В Америке это явление впервые приобрело политическую окраску в предупреждении Джорджа Вашингтона об опасности запутанных европейских союзов, хотя фактически возникло еще при первых иммигрантах, покинувших Старый свет, чтобы обосноваться в Новом. Ксенофобия — это многоголовая гидра; она принимает столько форм, сколько существует иностранцев. Каждая волна иммиграции, кроме первоначальной — англичан, шотландцев и ирландцев, — вызвала с первого же момента сильную неприязнь и предубеждение; так что к началу 1920-х годов, когда иммиграция была резко ограничена, уже прочно укоренилась явная антипатия к ирландцам, итальянцам, евреям, пуэрториканцам, мексиканцам, китайцам, японцам, полякам, венграм.

Ксенофобы в отличие от расистов не подыскивают доводов, чтобы «доказать» низкий уровень развития тех или иных народов и, по существу, даже не интересуются вопросами их «неполноценности». Вместо этого они сосредоточивают внимание на отличии иностранцев от коренных жителей, на их несходстве с ними и в некоторых случаях на их «недоброжелательстве». Здесь опять-таки речь идет о нашем «чувстве», и принято считать, что, как все глубокие, внутренние, инстинктивные чувства, оно находится вне сферы действия разума, вне пределов умственного анализа. Ксенофоб просто «чувствует», что мексиканцы — неопрятны, ирландцы — ограничены и драчливы, евреи — алчны, поляки и «ханки» — тупоумны, восточные народы — коварны, итальянцы — грязны и слишком плодовиты, пуэрториканцы — отстали во всех отношениях, а англичане — мастера заставлять других таскать для них каштаны из огня. Ксенофоб ощущает это интуитивно, чувствует это инстинктивно, а интуиция и инстинкт — для него лучший

источник познания. Всякий другой критерий исключается.

Все это в особенности относится к иностранцам, на которых прежде всего падает подозрение при любом внешнеполитическом кризисе. Несмотря на тот факт, что большинство известных в истории шпионов-резидентов и тайных агентов являлись гражданами того государства, против которого они вели разведку, отсутствие формального гражданства — это косвенная улика, которую часто бывает труднее опровергнуть, чем прямые вещественные доказательства. Слово «иностранец» вызывает смутную антипатию, невольное желание отстраниться от несколько грязноватой фигуры такого неамериканского субъекта, от которого все еще пахнет трюмом парохода и его родиной и которого, помимо разве лишь деловых соображений, лучше избегать. Основанная на ощущениях, которые в свою очередь окутаны психологической дымкой, позиция ксенофобов такова, что ее лучше не рассматривать при дневном свете, так как при этом она может стать настолько прозрачной, что ее вообще нельзя будет различить. Как многие иррациональные убеждения, она существует без видимых оснований, и любая попытка проанализировать ее способна вызвать взрыв негодования.

Раскол между чувством и разумом, противоречащий концепции полноценного человека, постоянно подчеркивается и поощряется теми, кто отрицает единство людей или считает разум врожденно безжизненным и холодным. Люди предубежденные (скорее в обычном, чем в макиавеллиевском смысле), не долго думая, соглашаются с обвинениями, направленными против мысли. Любопытно, что часто они не выходят при этом за пределы своего предубеждения, являясь вполне рассудительными в остальных вопросах. И все же граница между разумным и неразумным не стабильна — все время происходят взаимные вторжения из одной области в другую. В этом состоянии подвижности ум с его суммой мнений и убеждений ведет внутреннюю борьбу по направлениям, которые постоянно передвигаются, колеблются, прерываются и видоизменяются. Предубеждение имеет большое тактическое преимущество: когда оно укоренится, его очень трудно вытеснить; оно отступает лишь под самым упорным давлением разума и ра-

ционального опыта. Если же предубеждение не встречает препятствий, то распространяется, как клетки опухоли, на прилегающую область. Неприязнь к иностранцам, расистские предрассудки, классовая ненависть, жестокая дискриминация любого рода подрывают организческую структуру демократического государства.

II

Вторым принципом идеального демократического государства является свобода его граждан. Когда незаконно ограничивается свобода передвижения, мысли или слова, то соответственно наносится ущерб демократии.

Борьба между обезличиванием взглядов и индивидуальностью, между ортодоксальностью и вольнодумством, между контролем над мыслями и правом на самостоятельное суждение, несомненно, вечна. Подлинная демократическая культура сопротивляется всякой тенденции, направленной на ограничение свободы и дискриминацию людей. Она защищает вольнодумство в той мере, в какой это позволяет ее инстинкт самосохранения, и не использует в качестве предлога для подавления непопулярного мнения законные требования национальной безопасности. Она склоняется скорее к вольнодумству, чем к ортодоксальности, и пользуется своей властью для охраны личных интересов отдельных граждан. Нет ничего более мертвящего, чем то общество, где каждый думает или принужден думать и вести себя так же, как все другие. Нет ничего животворнее, чем то общество, которое стимулирует разнообразие привычек, обычаев, склонностей и образа мыслей.

Такое общество стремится воспрепятствовать монополиям и картелям закрыть экономические поры страны, а партийным машинам и лоббистам — политические. Оно поощряет самый широкий обмен идеями и энергично сопротивляется «охотникам за ведьмами», доктринерам-фанатикам, воинствующим шовинистам и любым видам нажима как со стороны крайне правых, так и со стороны крайне левых партий, которые хотели бы ограничить этот обмен ради собственной выгоды. «Мы провозглашаем «свободу предпринимательства», — говорит Крисчиан Госс, — хотя имеем в виду только свободу предпринимательства, приносящего денежную прибыль, и забываем, что научно-исследовательская работа,

литература и искусство, преподавание, общественная деятельность, свободное обсуждение являются также видами предпринимательства, которые должны пользоваться равной свободой, если только наше общество не станет... плутократией»¹.

Никакой ущерб, наносимый свободой слова — если только он не представляет, по выражению судьи Холмса, «ясную и конкретную угрозу» для национальной безопасности, — не может быть так велик, как ущерб, причиняемый цензурой, которая ограничивает эту свободу, независимо от того, осуществляется ли такая цензура на основании декрета законодательной власти или просто силой. Этот урок преподан нам всем опытом нашей гражданской истории, с момента издания президентом Джоном Адамсом в 1789 году законов об иностранцах и о подстрекательстве к мятежу, и всем нашим опытом в международных отношениях в наш изменчивый и бурный век. Сохранение свободы течений по многочисленным общественным каналам — в политической, экономической и интеллектуальной областях — так же необходимо для прогресса цивилизации, как свет и воздух.

В Америке все время действуют силы, выдвигающие требование ортодоксальности мнений и убеждений во всех областях интеллектуальной жизни страны. Это — активная и агрессивная боевая группа, ставящая себе целью не меньше, чем руководство умственной деятельностью всей нации. Ее деятели выработали свои критерии для определения благонадежности людей. Присяга рассматривается ими как гарантия преданности стране, любая критика установленных институтов — как антиамериканское явление. Международная напряженность, внутренние кризисы, патриотические призывы всякого рода используются как ширма для нападения на инакомыслящих. Только в исключительных случаях, как, например, во время глубокой депрессии, когда обществу угрожает катастрофа, в броне ортодоксальности образуются достаточно трещин, чтобы туда могли проникнуть и там на известное время закрепиться оригинальные и новые идеи. Но основное течение идет наперекор

¹ Christian Gauss, Can We Live with our Enemies? «The American Scholar», Winter, 1948/49.

Этим идеям и вскоре их поглощает, хотя при этом само частично попадает под их влияние и несколько изменяет в их сторону свое направление.

Для ортодоксально мыслящего человека независимо от исповедуемой им доктрины — консервативной, либеральной или радикальной — характерна непреклонность. Как у правых, так и у левых ортодоксальность требует неограниченной преданности от своих сторонников и по меньшей мере верности на словах и соответствующего повиновения ее символам от массы неверующих, которых она стремится обуздать. Каково бы ни было содержание ортодоксальной доктрины, конечный результат ее воздействия один и тот же — атрофирование ума и его активных способностей к скептицизму и сопротивлению.

Ортодоксальность охватывает не только политическую и экономическую области. Ее влияние распространяется на все стороны повседневной жизни: на манеры, моральные нормы и этикет, на убранство дома, развлечения, одежду и на любую будничную деятельность. Ее классический образец показан в «Главной улице» Синклера Льюиса. Почти все жители Гофер-Преари делают все одинаковым образом, пока туда не приезжает Кэрл Кенникот. В романе рассказывается о том, что происходит, когда она начинает потешаться над местной ортодоксальностью. Она иначе одевается, по-другому устраивает вечера, оживленно разговаривает с посторонними мужчинами, иначе нанимает прислугу, действует под влиянием импульса, проявляет интерес к театру и литературе и — что всего предосудительнее — настаивает на своем праве самостоятельно думать. Возникающие в результате всего этого волнения поднимают достаточное количество пыли, шума и смятения, чтобы придать интерес книге, и дают наглядный урок удушающего влияния ортодоксальности. В конце концов Кэрл, устав от неравной борьбы, не только безоговорочно капитулирует, но и убеждает себя в том, что все это к лучшему. Поскольку ни один верующий не бывает так ревностен, как вновь обращенный, мы можем быть уверены, что она в дальнейшем превзойдет местных жителей в ортодоксальности. Однако прежде, чем это произойдет, мы остро чувствуем ударную силу ортодоксальной доктрины.

Тенденция костенеть и превращаться в нерушимый кодекс свойственна любой идеологической системе, которая оказывается у власти. Если на ранних стадиях ее формирования основные вопросы еще подлежат обсуждению, то это редко случается на более поздних. Требование бездумного повиновения было характерно для режимов Ликурга и Нерона, Чингис-хана, Гитлера и Ивана Грозного, Муссолини и Генриха VIII. Содержание их социальных программ могло различаться в некоторых случаях весьма значительно, но каждый режим требовал строгого ограничения индивидуальной мысли и втискивал в образовавшийся таким образом вакуум стандартные принципы, выработанные тираном.

Тактика американских ортодоксов не имеет ничего общего с тактикой, применяемой тоталитарными движениями Европы и Азии. По сравнению с ними американская тактика негативна и мягка: это остракизм, клеветнические кампании, препятствия на пути к экономическому успеху, провал на выборах; случаи же физического насилия исключительно редки. И все же в области их задач, как и в области психологии, между ними нет большой разницы. Ортодоксальность стремится к идеалу замкнутого круга, организует жизнь на условиях монолитности, требует единодушия. Внутри ортодоксальной ограды преобладают животная теплота и уют; вне ее существуют только вражда и изоляция. Наградой за благонадежность служит безопасность; за нее здесь, как и всюду, платят ценой отказа от права думать и действовать по собственному усмотрению.

Тот же процесс, но в более узком масштабе наблюдается в растущей со стороны многих американских компаний тенденции все более и более пристально наблюдать за частной жизнью своих служащих и даже ее организовывать. Дело доходит до внимательного изучения жены нанимаемого служащего, которая по своему общественному положению и личным качествам должна отвечать определенным требованиям, выработанным компанией. Как только служащий принят на работу, он и его жена должны войти в тщательно контролируемую иерархическую систему, где предусмотрено все: убранство дома, стиль одежды, характер клуба и марка машины. В обмен на благонамеренный образ мыслей и приличное поведение компания гарантирует своим слу-

жащим продвижение по службе и прочное экономическое положение. Что именно подразумевается под этой благонамеренностью и приличным поведением, можно судить по характерному замечанию, сделанному женой одного администратора об окружающем ее обществе: «Здесь у нас вполне порядочная компания. Правда, Эдит Сампсон, та, что живет в конце Фоллансби-роуд, немного смахивает на интеллигентку, но большинство соседей — настоящие люди»¹.

Если ортодоксальные нормы в Америке носят на себе отпечаток консерватизма, то это происходит потому, что Соединенные Штаты являются в основном консервативной страной не только в области политики, но и в общественной жизни. Либеральные течения любых оттенков почти всегда занимали здесь оборонительные позиции, и требовались критические времена и выдающиеся люди (Линкольн и Гражданская война, Франклин Д. Рузвельт и депрессия), чтобы они могли прийти к власти. И даже тогда их срок пребывания у власти оказывался относительно коротким. Эндрю Джонсон и Гарри С. Трумэн были значительно ближе к среднему типу американца, чем их блестящие предшественники. Даже при Рузвельте период реформ «нового курса» занял менее половины его двенадцатилетнего управления, и сами реформы все время подвергались нападкам, иногда успешным. Если бы социальная атмосфера в стране была иной, а либеральные взгляды — господствующими, весьма возможно, что эти взгляды способствовали бы возникновению новой ортодоксальности, обладавшей таким же стремлением к единогласию и таким же желанием создавать однородные массы людей. Мистическое почитание Рузвельта, широко распространенное среди некоторых слоев населения, было одним из показателей того, что бы могло произойти в другой обстановке.

Из всех агентов ортодоксальности самую непосредственную угрозу для свободного общества представляют профессиональные пропагандисты контроля за мыслями, с их бойкими планами подавления независимых идей. Не довольствуясь привлечением к ответственности

¹ William H. Whyte, Jr., The Wife Problem, «Life», 7th January, 1952.

изменников родины и подстрекателей к насилию, согласно действующим в стране законам, эти бдительные лица пытаются помешать высказывать какие бы то ни было мнения, которые они сочтут неприемлемыми. Они повсюду ведут кампанию против инакомыслящих, начиная с тех, кто высказывает непопулярные мнения по специальным вопросам внешней политики, и кончая теми, кто отходит от нормы в области личного вкуса. Любители контроля над мыслями опираются на такие законы, как принятый в Мичигане в 1947 году закон Коллахэна, объявляющий преступлением защиту любой политики, которая может принести пользу иностранной державе; строгое соблюдение этого закона, по словам журнала «Нью рипаблик», «могло бы привести к судебному преследованию лиц, рекомендующих предоставление нового займа Англии, или туристских агентств, соблазняющих американцев тратить деньги за границей»¹. Они насаждают цензурные органы, сотрудники которых пытаются устанавливать, какие книги следует читать публике и какие кинофильмы и пьесы ей можно смотреть². Они рыщут в поисках идей, которые кажутся им вольнодумными, и с особенной настойчивостью преследуют пропагандистов этих идей. Они стремятся стать официальными опекунами мыслей американцев. Они ставят своей целью не просто ограничить сферу действия мысли, а полностью ее похоронить. В современном большом бизнесе формирования общественного мнения они служат пугалом; их используют как таран для навязывания людям безусловного единомыслия или для захвата власти.

Они действуют столь же энергично на местах, как и в общенациональном масштабе. Белый южанин, выступающий слишком смело в защиту прав негров, вероятно, получит от них предупреждение. Калифорниец, высказавший мнение, что американец японского происхождения — такой же приличный и надежный гражданин,

¹ «Нью рипаблик» от 22 сентября 1947 года.

² Примером такой цензуры может служить отказ начальника полиции Чикаго разрешить постановку в городе пьесы Сартра «Почтительная проститутка» (в рус. перев. — «Лиззи Мак-Кей». — *Ред.*) из-за ее названия. Когда его пригласили посмотреть пьесу, он отказался прийти, заявив, что это не повлияло бы на его решение.

как и все другие, мгновенно вызовет их неудовольствие. Торговец из маленького городка, намекнувший, что забастовка рабочих, пожалуй, не так уж беспричинна, может удостоиться такого визита, какой был нанесен Бэббиту при аналогичных обстоятельствах зловещим Верджилом Ганчем, быстро заставившим Бэббита изменить свое мнение.

Проповедники контроля над мыслями пустили корни почти повсюду, выступая против свободного полета мысли и не связанного цензурой слова. Навязываемая ими ортодоксальность, где бы она ни действовала, ограничивает свободу нашей жизни и подавляет то чувство индивидуальности, которое всегда было одним из великих принципов и достижений американской демократии.

III

Полноценное демократическое общество не только признает духовное равенство своих членов и предоставляет им наиболее полную свободу действия и мысли. Оно также верит в их лучшее будущее. Если человек является неисправимым животным, если он обречен навеки погрязнуть в своих теперешних затруднениях, тогда будущее не имеет значения и борьба за лучшую жизнь, положенная в основу демократического идеала, становится с самого начала безнадежной.

В своей теологической форме этот вопрос восходит еще по крайней мере к диспуту между блаженным Августином, который утверждал, что над человеком тяготеет первородный грех, и Пелагиусом, опровергавшим его доводы. Современные прагматисты, как, например, Уильям Джемс и Джон Дьюи, отрицают, что над человеком тяготеет что-либо такое, от чего он не может избавиться, пройдя ряд жизненных испытаний, ошибок и трудностей. Такие влиятельные современные пессимисты, как настоятель Индж и Рейнхольд Нибур, наоборот, подчеркивают наличие в человеке злого начала, его беспомощность, его способность к разрушению. Психологи также расходятся между собой. Фрейд смотрел на будущее человека крайне пессимистически, потому что не видел выхода из вечной борьбы между подсознательными влечениями, стремящимися к самовыраже-

нию, и обществом, которое в силу простого самосохранения должно их подавлять. Целое направление молодых психоаналитиков — Карин Хорни, Джеймс Планта, Г. С. Салливэн, Эрих Фромм, — отдавая должное Фрейду, убеждено, что постоянная дисгармония между внутренним «я» человека и внешним миром отнюдь не является неизбежной. Карин Хорни, которая смотрит на будущее человека более перспективно, чем остальные, считает, что в самовыражении, понимании и эмоциональной отзывчивости индивидуума заключены все силы, необходимые ему для достижения зрелой и полноценной жизни. Более того, она убеждена, что вопреки мнению Фрейда общество людей, в особенности демократическое общество, которое она наблюдает в Америке, не представляет собой непреодолимого препятствия к их психическому благополучию.

Неверие в то, что человеческая натура может совершенствоваться, было в сильной степени свойственно также американским писателям. Молодой Хемингуэй, человек, который опубликовал в 20-х годах «И восходит солнце»¹ и «Прощай, оружие!» — два великолепно написанных романа, посвященных доказательству тезиса о пустоте и бессмысленности жизни, — отвергал мысль, что дела могут пойти лучше. Мир, где жили его герои, был мрачен, равнодушен к ним и неизменяем. Он насылал на них бессмысленные трагедии, вроде раны, которая сделала бессильным Джейка Барнеса, или смерти от родов Кэтрин Барклин, — трагедии, только подчеркивающие бесцельность их существования. В этом мире бессмысленных страданий герои ранних произведений Хемингуэя выживали, только затягивая потуже пояс, освобождаясь от всяких надежд и ожиданий и лишаясь всех своих иллюзий. Когда леди Бретт Эшли говорит Джейку, в которого она безнадежно и безответно влюблена: «Ах, Джейк, как безумно хорошо могло быть нам вместе!», — он отвечает: «Да! Разве не приятно об этом думать?»² Дождь, который все время льет на протяжении романа «Прощай, оружие!», подчеркивает пустоту мира, где существует лейтенант Генри; он гармонирует

¹ В русском переводе «Фиеста». — *Прим. перев.*

² Ernest Hemingway, *The Sun Also Rises*, New York, Scribner's, 1926, p. 258—259.

с напрасной, бесконечной войной на итальянском фронте и любовной связью, которая приходит к бессмысленному, нелепому концу. Гарри Морган, контрабандист из романа «Иметь и не иметь», проявляет жизненную стойкость, но его жизнь также приходит к горькому, бесподдержательному завершению. Многие герои ранних рассказов Хемингуэя продолжают жить, но душевно полностью опустошенные, что психологически равносильно их смерти.

Такой взгляд приводит к губительным последствиям. Человечеству выносится самый мучительный приговор: одновременно и окончательный, и несправедливый; окончательный потому, что для героев Хемингуэя нет иного выхода, а несправедливый потому, что Хемингуэй опирается на старый, отживший тезис Руссо, согласно которому человек, рождаясь хорошим, попадает в уже испорченный мир. Далее, действие, происходящее в замкнутом кругу этого мира, словно никогда не меняется. Заблудившиеся в одном и том же лабиринте, герои романов совершают одни и те же мужественные поступки, которые ни к чему не приводят. Монотонность романов Хемингуэя — вопрос не только стиля, это также монотонность чувств и поведения, с которой так великолепно гармонирует однообразный стиль романа. Он лучше, чем что-либо другое, говорит о неумолимости тяготеющего над героями рока. Суровая, сдержанная, удивительно односложная, с виду бесстрастная проза Хемингуэя, касаясь вопросов воли, свободы и рока, поразительно напоминает «Ад» Данте.

Наряду с мрачной безысходностью романов Хемингуэя в произведениях Ф. Скотта Фицджералда можно было наблюдать сентиментальный, унылый пессимизм, характерный для него в 20-х годах, в начальную пору его творчества. Фицджералд — еще один талантливый писатель, который, разоблачая уклад богатого и праздного общества, привлекавшего столь пристальное внимание с его стороны, способствовал нашему пониманию этого общества. Если герои Хемингуэя подвергаются ударам извне, то герои Фицджералда оказываются побежденными в силу своей собственной неприспособленности к жизни. Они хрупки и поэтому сломлены бременем своих страданий. В молодости они полны блестящих иллюзий относительно окружающего их мира, кото-

рые разлетаются в прах при первом соприкосновении с действительностью. Подобно Тэтсби, все герои Фицджералда полны возвышенных, романтических представлений об открывающейся перед ними жизни, но когда становится ясной нереальность этих представлений, они падают вниз с головокружительной быстротой. Фицджералд описывает процесс такого падения (чаще причиной его бывает алкоголизм, иногда психические заболевания) с волнующей правдивостью и неизменным искусством; его герои в конце концов падают очень низко, хотя до самого последнего момента сохраняют некоторые присущие им привлекательные черты.

Энтони и Глория Пэтч, герой и героиня романа «Прекрасные и проклятые», вначале прекрасны, а в конце безобразны. Богатый мальчик из рассказа под таким же заглавием, Бьюканэны, Джордан Бейкер и Гэтсби в романе «Великий Гэтсби», герои романа «Майский день» — все они начинают с высот и скатываются вниз. С точки зрения молодого Фицджералда, жизнь чудесна во время короткого периода юности; ее единственное направление затем — вниз. Предвзято не веря в то, что жизнь полна возможностей, он считает, что она полна непреодолимых трудностей. Предвзято не признавая возможности совершенствования человека, Фицджералд способен видеть в нем только черты деградации. За ритмами и специфической обстановкой джазового века, отраженного в его романах, виден этот бесперспективный взгляд на человеческую натуру, который исключает всякую надежду на лучшее будущее. Не наделяя своих героев выносливостью, свойственной героям Хемингуэя, Фицджералд вселяет в читателей только уныние.

Трагическое изображение человека как такового не исключает веры в его потенциальные возможности; по существу, трагедия в глубочайшем смысле этого слова возникает лишь при наличии этой веры. Но страдания, описываемые в литературных произведениях, как и наблюдаемые в действительности, можно перенести только тогда, когда из них есть выход, иначе они бессмысленное и поэтому невыносимое бремя. Шекспир и Достоевский (приведем лишь два наиболее подходящих примера) заставляют нас страдать. Но у каждого из них указан способ избавления от этих страданий, который свидетельствует о моральной силе человека. В траге-

дях Шекспира на обязанности оставшихся в живых героев — тех, кто поднимает тела мертвых, обещая извлечь урок из роковых событий, и завершает этим спектакль,— лежит залечивание воображаемых ран читателя и зрителя. Отсюда роль Горацио как выход для нас из печальной судьбы Гамлета. У Достоевского искупление достигается при помощи христианской епитимии. Раскольников искупает на сибирской каторге убийство, совершенное им в Санкт-Петербурге. Алеша искупает вину других Карамазовых блистательным примером своей добродетели и своим последующим поступлением в монастырь. Но Фицджералд лишает своих героев и нас какого-либо выхода: его герои безудержно стремятся к гибели.

Эта тенденция еще сильнее проявляется в произведениях Джона О'Хара, ближайшего ученика Фицджералда в новом поколении. О'Хара подхватывает нить повествования как раз там, где обрывает ее Фицджералд,— когда герои уже скатываются вниз, но еще не достигли самого дна. В романах О'Хара они достигают дна. Это такие же люди, только в несколько более зрелом возрасте. Если героям Фицджералда обычно немного больше двадцати лет, то героям О'Хара — за тридцать, но они все еще принадлежат к молодой компании провинциальных джентри. Они переживают серьезные душевные потрясения, не имеющие ничего общего с их окружением, которое в силу их богатства и общественного положения всегда для них благоприятно, и в конце концов безнадежно спиваются. Первые стадии их падения, как только О'Хара начинает свое повествование,— это логическое развитие доведенных до крайности принципов Фицджералда. О'Хара не испытывает, подобно Фицджералду, к своим героям ни нежности, ни жалости, он смотрит на них холодным взором исследователя. Он абсолютно безжалостен в изображении их заблуждений, не проявляя никакого сочувствия к ним и не давая никакой надежды на их спасение. В его романах человечество — в руинах, где писатель пробирается (и О'Хара делает это очень умело) среди обломков крушения, классифицируя их с научной беспристрастностью. Большим преимуществом творчества Фицджералда является то, что в нем нет этого холодного безразличия и что его герои еще не пали так низко. Но,

побуждаемые писателем, они уже двигались по пути разложения. Куда именно они шли и что происходило с ними на этом жизненном пути и когда они подошли к его концу — все это бесстрастно описывает О'Хара. Образ жизни, созданный обоими писателями (причем второй развивает мысль первого), лег в основу одного из пагубных философских течений современной американской литературы. По сравнению с ними творчество Хемингуэя кажется оптимистическим и светлым, потому что его герои продолжают бороться, как бы ни были неблагоприятны для них сложившиеся обстоятельства. Герои же Фицджералда и О'Хара теряют способность к борьбе даже при самых благоприятных условиях.

Сознание тщетности борьбы, внушаемое этими писателями, является одним из показателей широко распространенных упаднических настроений, столь характерных для нашего века. Убеждение, что жизнь человека — сплошной кошмар, исходит от Фрейда и Франца Кафки, от Освальда Шпенглера, Робинсона Джефферса и Юджина О'Нейла, от мрачных теорий современных теологов, психологов и историков. Все это — выпад против способности человека управлять своей жизнью и противоречит принципу совершенствования, без которого не может быть демократии, основывающейся на вере в возможность развития человека. Осуществление мечты о создании «более совершенного Союза» зависит от убеждения, что такое совершенствование возможно. Если его нельзя достигнуть, то игра не стоит свеч: зачем в таком случае стремиться стать более сознательными гражданами и более совершенными людьми? Эта упадническая точка зрения отрицательно влияет также и на наши интеллектуальные возможности. Зачем отстаивать свое право самостоятельно мыслить, если всякая мысль бесплодна? И если усилия, направленные на достижение самоуправления, требующие огромного напряжения, являются тщетными, общество, основанное на принципах самоуправления, сразу же теряет свою движущую силу и самый смысл существования.

Но человек — существо жизнеутверждающее. У него неизбежно возникает стремление к самосовершенствованию и к развитию своих общественных институтов. Никогда не удовлетворяясь прошлыми достижениями или статус-кво, он движется к более высоким и более слож-

ным формам жизни. Вся история Америки — это летопись настойчивости и энергии, с какой мы трудились над созданием более свободного и обеспеченного общества; она опровергает парализующее действие тезиса о том, что будущее, основанное на совершенствовании человека, якобы иллюзорно.

Три указанных выше принципа демократической цивилизации придают цель и значение нашим усилиям, наделяют нас творческой энергией и способствуют нашему совершенствованию. Всякая борьба за или против этих принципов является борьбой за или против основ нашего общества и поэтому определяет структуру и характер американской действительности.

Г Л А В А XIV

СПАД ОПТИМИЗМА И ПЕССИМИЗМА

Одним из основных вопросов культурной жизни Америки в наши дни является соотношение между накоплением собственности и соблюдением справедливости. В период, начавшийся в эпоху борьбы за независимость и завершившийся окончанием Гражданской войны, перевес был на стороне справедливости. Рост промышленности после Гражданской войны все более и более изменял социальное соотношение в пользу собственности за счет справедливости. Когда возможности нажить деньги эффективным, новым и быстрым способом подавляют силу общественной совести, регулирующей их, возникают самые серьезные социальные и культурные осложнения. Такие возможности открылись в 70-х и 80-х годах, в эпоху появления Рокфеллера, Гарримана, Вандербильта, Гулда и других, в эпоху «магнатов-разбойников», по меткому определению Мэттью Джозефсона, в эпоху «Великого Барбекю», как назвал ее Вернон Л. Паррингтон. Возникшие тогда осложнения определяются по-разному — в зависимости от той или иной точки зрения. Для социологов они представляют выраженное в драматической форме всегдашнее отставание социальной структуры от развития техники; для теологов — отстава-

ние морали от материальных условий; для художников и писателей — разбитые надежды американцев.

Именно писатели могут наиболее проникновенно и отчетливо понять природу этих осложнений. Отвращение Марка Твена к пустой, пропитанной фальшью жизни в среде недавно разбогатевших людей в 70-х годах было отражено в его «Позолоченном веке». Бурные взрывы негодования со стороны писателей-реалистов 1890-х и начала 1900-х годов были направлены против бессердечности и несправедливости нового промышленного строя. В романе «Мэгни» Стивен Крейн выразил в художественной форме свое возмущение условиями жизни в трущобах. В романе «Октопус» Фрэнк Норрис отразил жестокость, с какой Южно-Тихоокеанская железная дорога проглатывала мешавших ей фермеров-поселенцев. Уильям Дин Хоуэллз в виде протеста против системы эксплуатации пришел в конце жизни к признанию социалистических идей. В «Финансисте» и «Титане» Теодор Драйзер — не без известного восхищения своим героем Фрэнком Каупервудом — описывает гнусные методы, какими стали наживать капитал. Эптон Синклер открыл романом «Джунгли» целую серию своих боевых публицистических романов, разоблачавших тяжелые условия работы в ряде важных отраслей промышленности. Литературная школа «разгребателей грязи», как саркастически назвал ее Теодор Рузвельт, продолжала трудиться над разоблачением несправедливостей, которые принесла с собой новая эпоха индустриализма. Ее наиболее видные представители — Линкольн Стеффенс, Ида М. Тарбелл, Густавус Майерс, Дэвид Грэхэм Филлипс — с неослабным рвением исследовали во всех деталях деятельность руководителей нефтяной промышленности, прессы, политических партий, сталелитейной и угольной промышленности, банков и всем им предъявляли обвинительные с моральной точки зрения заключения. Даже такой хладнокровный и беспристрастный историк, как Фредерик Джексон Тэрнер, предупреждал в своих «Очерках о границе» об алчности и безответственности, присущих современным промышленным магнатам и названных в знаменитых комментариях Луиса Брандейса «проклятием величия».

Поэты не отставали от писателей. Выступление их вновь на общественной арене во втором десятилетии

XX века, после долгого периода увлечения камерной изысканной поэзией в поздневикторианском стиле, выразилось в самых различных формах: в виде критики, горечи, прямого отрицания и боевой непримиримости. Боевой дух был характерен главным образом для Карла Сэндберга; критика, сдержанная и полуфилософского характера,— для Роберта Фроста; горечь, со сложными оттенками иронии,— для Т. С. Элиота; прямое отрицание, высказанное достаточно твердо,— для уединившегося в Калифорнии Робинсона Джефферса. Сэндберг брал дубину и бил ею по богатым, поучая бедных, с таким явным физическим наслаждением, что его резкие выпады против несправедливости были пронизаны парадоксально лучезарным оптимизмом. Фрост спокойно занялся исконными вопросами добра и зла, жизни и смерти и решительно отмежевался от отвратительного городского индустриализма, который он отвергал, увлекаясь сельской простотой жизни в Нью-Гемпшире. Знаменитые высказывания Элиота о суетности современного мира, вплетенные в ткань «Любовной песни Дж. Алфреда Пруфрока», «Безмускульных стихов» и «Пустыря», отличались глубоким пессимизмом и сухой эрудицией. Джефферс, сочетав энергию Сэндберга и горькую иронию Элиота, добавил к ним некую мучительную страстность и выступил с самым непреклонным во всей нашей поэзии отрицанием машинного века и всех его критериев.

Многие второстепенные поэты выражали свое отвращение к окружающему миру так же решительно, но в других формах и с разными оттенками. Уоллес Стивенс плел свои похожие на паутину стихи, полные изящных, ажурных узоров и блестящих тончайших нитей, и самая ткань его произведений воплощала в себе те черты утонченности, чувствительности и миниатюрности, которых так явно недоставало обществу, где господствовали финансовые магнаты, всемогущие коммерсанты и мастера рекламного дела. Э. Э. Кэмингс временами маскировал свои мысли путаным и загадочным языком, однако вся его насмешливо причудливая словесная эквилибристика не могла полностью скрыть его оскорбленных чувств и бунтарского духа. Еще больший трагический надрыв звучал в стихах Харта Крейна — в них не было только замысловатости. Его неумение приспособиться к окружающему миру прида-

ло его творчеству напряженную, болезненную возбужденность и одновременно ускорило его преждевременный роковой конец — самоубийство.

Это изобильное литературное наследство проливает яркий свет на разрыв, существовавший между передовой, торжествующей победой техникой и чувством социальной ответственности. Такое чувство было утрачено в ходе развития страны, ибо считалось препятствием в тот период, когда ничем не сдерживаемый индустриализм развивался полным ходом на протяжении шестидесяти лет между 1870 и 1930 годами, пока депрессия не вызвала его временную, но чреватую большими последствиями остановку.

Эти изменения и конфликты оказали сильное влияние на духовную жизнь американцев. Быстрое экономическое развитие во второй половине XIX века, возможно, создало у некоторых более чутких натур ощущение, что Америка в какой-то мере сбилась с пути, но у большинства американцев оно вызвало легкий и бездумный оптимизм, усиленный последовательным продвижением вперед и окончательным завоеванием границы. Правда, этот оптимизм несколько ослабевал в короткие периоды кризисов 1893 и 1907 годов и трагического отчаяния, охватившего Юг после Гражданской войны, но в основном он все больше и больше рос, пока не стал наконец характерной американской чертой, признанной во всем мире.

Достигнув своей кульминационной точки в период бума 20-х годов, оптимизм лопнул с потрясающим треском во время биржевого краха 1929 года. Четыре года депрессии изменили его до неузнаваемости. Сочетав оптимизм с состоянием неуверенности и страха, эта катастрофа, постигшая нашу нацию, породила совершенно новое чувство. Оптимизм в его наивной форме совершенно исчез, уступив на время место столь же наивному пессимизму. Однако после частичного восстановления экономики в период «нового курса» и в связи с нашим последующим выходом на международную арену в роли державы, претендующей на мировое первенство, оптимизм и пессимизм постепенно вылились в новую, более сложную форму. Американцы теперь поняли, что жизнь уже не так проста, как казалось в конце XIX века — она стала трудным, мучительным, а нередко

и болезненным процессом. В сознание американского народа стало постепенно проникать понимание трагической сложности жизни и необходимости непрестанной борьбы с жизненными трудностями.

Оптимизм и пессимизм все еще продолжали существовать, но переплетенные между собой новым, более реалистичным и более осмысленным образом. Легкомысленная самоуверенность, с какой встречали раньше каждый кризис, не была теперь ни такой легкомысленной, ни такой самоуверенной. Чувство устойчивости и постоянства утрачивалось, планирование своих личных дел на долгий срок вперед резко сокращалось. Отсюда и тот парадокс, который использовался очень многими комментаторами¹, что с ростом изобилия материальных благ моральный уровень страны не повысился, а снизился. Средний американец живет теперь большей частью текущим днем, не загадывая вперед на целую жизнь. Раньше будущее могло иногда представляться опасным, но всегда было более или менее ясно. Теперь же оно выглядит действительно очень опасным и туманным. Такая резкая перемена приобрела особо драматический оттенок с появлением атомной бомбы и связанных с ней ужасов, но все же бомба была только последним из целой цепи потрясений, которые начались в их теперешнем виде с момента промышленного переворота.

Перемена в настроении американцев уже давно ощущалась писателями и интеллигентами, романистами, поэтами и передовыми журналистами, на которых психологическое и духовное влияние века сказывается раньше и более заметно. Первая стадия этой перемены в настроении — переход от розовой жизнерадостности к мрачному отчаянию — порождала у них в течение длительного времени чувства протеста, горечи и разочарования, извращенный реализм, доведенный до вульгарных, крайне грубых натуралистических крайностей, исключительный интерес ко всему порочному, растущее сомнение в существовании свободной воли, или, иными словами, в значении отдельной личности. Все эти черты стали

¹ «Постскрипtum к вчерашнему дню» Ллойда Морриса (Lloyd, Morris, Postscript to Yesterday) посвящен документальному доказательству этого парадокса.

синонимами современной американской литературы. Несмотря на жалобы многих, кто находил ее отвратительной и поэтому возмущался основными тенденциями развития всей современной литературы, она не была создана умышленно большим воображением профессионального писателя, склонного рассматривать все окружающее с мрачной стороны. Если была поколеблена вера писателя в принцип свободной воли, то так же получилось и со всеми людьми вообще, которые застали такое время, когда депрессия и война, казалось, все меньше и меньше подчинялись воле наций, не говоря уже о воле отдельных людей. Если в настроении писателя преобладало разочарование, то это, несомненно, было обусловлено скорее политическими и экономическими потрясениями, буйным ростом национализма и распространением антигуманистических идей в значительной части мира, чем его личной неприспособностью и неудачами. Если в нем преобладал беспокойный скептицизм, а не простая вера, то это объяснялось не столько его личной испорченностью, сколько влиянием на него переживаний, испытываемых почти всеми вокруг него. Хотя все сказанное может покоробить читателей, воспитанных на устойчивых критериях XIX века, необходимо признать эту литературу тем, что она есть,— глубоко искренней реакцией на исключительно смутные времена.

Однако после депрессии писатели предавались отчаянию не больше, чем вся страна в целом. Многие из них в поисках новых положительных идеалов перешли от сковывавшего их пессимизма к тому более зрелому состоянию ума, когда человек воспринимает жизнь во всей ее сложности и продолжает жить с максимальным упорством. Т. С. Элиот расстался с отчаянием своего раннего периода — периода Пруфрока и «Пустыря» — и вновь обрел в себе уверенность, отразившуюся в его стихах «Пепельная среда», «Четыре квартета» и в романе «Вечер с коктейлями». Джон Стейнбек перешел от романа «Гроздь гнева» (замечательного образца социального призыва), герои которого — семья Джоудсов — были почти раздавлены окружающим враждебным миром, к роману «К востоку от рая», где он подтверждает способность человека к борьбе за существование. Синклер Льюис в 20-х годах сатирически

изображал провинциальную жизнь, а в 30-х и 40-х годах стал ее оправдывать. Джон П. Марканд начал в своих романах «Покойный Джордж Эпли» и «Г. М. Пулхэм, эсквайр» со скептического анализа жизни замкнутой касты бостонских аристократов с их предрассудками и неспособностью вести полноценное существование, а закончил (в романе «Мелвилл Гудвин, США») изображением героя, живущего уверенно и смело.

Действующие лица романов Эллен Глазгоу — «Они унизились до безрассудства» и «Замкнутая жизнь» — не смогли отрешиться от прежних жизненных понятий старой Виргинии ради новых; героям более поздних ее романов — «Железная жила» и «В этом наша жизнь» — удастся сделать это. Даже Томас Волф, который возмущался и буйствовал в романах «Вернись домой, Эйнджел» и «Паутина и скала», на заключительных этапах своего романа «Вам нельзя вернуться домой» начал соглашаться с принципами демократии и гуманизма. Молодые развращенные и изнеженные богачи, действовавшие в ранних романах Ф. Скотта Фицджералда, неизбежно терпели в жизни неудачу. В своих более поздних работах Фицджералд начинает создавать такие типы, как Никол Уоррен, Чарли Уэйлс и Монроу Стар; несмотря на постоянные жизненные трудности, они не сдаются. В произведениях Хемингуэя и Фолкнера также заметен поворот от отрицания к утверждению. От безрезультатных взаимоотношений героев романа «И восходит солнце» и трагической пустоты мира в романе «Прощай, оружие!» Хемингуэй в конце концов пришел к утверждению положительного героя в романе «Через реку и под сень деревьев» и к восторженному изображению борьбы человека со стихией в романе «Старик и море»¹. Мрачный и мучительный мир, созданный Фолкнером в романах «Свет в августе» и «Абесалом! Абесалом!», сменился наконец усиливающимся оптимизмом романов «Спускайся вниз, Моисей!» и «Поверженный захватчик».

¹ Это утверждающее начало, присущее творчеству Хемингуэя, ускользнуло от внимания Бернарда де Вото, когда он писал: «Хемингуэй всегда нападал на умственную и духовную жизнь и совместный социальный опыт людей... Его пренебрежение к уму, презрение к духовному началу, восхваление всего неразумного и преклонение перед инстинктом и голосом крови связывают его с «манией рока, которой одержим м-р Фолкнер», и с «мрачными

Писатели фиксировали окружающую их эмоциональную атмосферу раньше своих современников. Уже давно ведется явно бесплодный спор о том, формирует ли литература общественное мнение или только отражает его. Явно бесплоден он потому, что оба довода правильны и решить вопрос о том, какой из них более верен, нельзя. Антивоенные романы 20-х годов («Трое в серых шинелях», «Прощай, оружие!», «На западном фронте без перемен» и др.) не создали сильной волны пацифизма, охватившей в то время людей, но, несомненно, укрепили и расширили ее. Точно так же «Хижина дяди Тома» не вызвала аболиционизм, но, безусловно, разожгла его¹; романы Диккенса сами по себе не породили общественного возмущения тяжелой участью детей в детских домах, плохими условиями содержания заключенных в долговых тюрьмах, жестоким обращением учителей с детьми в частных школах, но они сделали многое для уяснения этих вопросов. Тяжелые условия жизни в Даст-Боуле были известны до того, как Стейнбек написал о них, но его роман «Гроздь гнева» привлек к ним такое пристальное внимание общественности, что федеральное правительство было вынуждено создать в Калифорнии лагерь для переселенцев из бедствующих районов. Боевая деятельность Эптона Синклера раннего периода, начавшаяся с его романа «Джунгли», показывает, что писатель-романист может успешно вести борьбу против социальной несправедливости.

фобиями... Робинсона Джефферса» («Литературные заблуждения» — «The Literary Fallacy», Boston, Little, Brown, 1944, p. 107). В своем пристрастии к всеобъемлющим и оригинальным обобщениям де Вото смешивает Хемингуэя с Д. Г. Лоуренсом. Хемингуэй, например, далек от презрительного отношения к духовному началу; даже герои его ранних романов стремятся к духовной жизни. Джейк Барнес называет себя «плохим католиком», но постоянно посещает церковь. Лейтенант Генри пытается установить добрые взаимоотношения со священником, над которым постоянно насмеваются другие военные. Что же касается нападок на «умственную жизнь», то герои Хемингуэя — Роберт Джордан и Роберт Уилсон — являются прекрасным образцом людей, которые мыслят аналитически и ясно. На этих и других примерах можно сразу же убедиться в отсутствии связи между Хемингуэем и «мрачными фобиями» Джефферса.

¹ Это подразумевалось в словах Линкольна, обращенных к Гарриэт Бичер-Стоу: «Значит, вы — та маленькая женщина, которая вызвала эту большую войну».

До начала депрессии разочарованность писателей, казалось, не имела особого значения. Однако когда вследствие экономического краха и утраты доверия к промышленным и финансовым магнатам широкие массы людей охватило разочарование, Крейн, Норрис и Драйзер стали своеобразными пророками, шагающими впереди своего времени, и был расчищен путь для казавшихся тогда радикальными реформ «нового курса». После 1929 года уже нельзя было так легко отмахнуться от писателя на том простом основании, что он якобы беспричинно сеет среди людей уныние, протестует без всякого повода для протеста, придумывает неестественные психологические конфликты в обществе, где жизнь течет безмятежно, и в период безоблачного спокойствия навязывает людям жалобные и горестные повествования. Жизненный опыт людей начал догонять интуицию писателя, и, когда страна стала выбираться из эмоциональной пропасти, куда ее толкнула депрессия, она уже не вернулась к наивному доверию прежних лет, а, подобно писателям, пошла вперед, все больше убеждаясь, что наш беспокойный век несет с собой жизненные трудности.

Предоставление банкам возможности возобновить свою деятельность и обеспечение работой безработных было только первоочередной экстренной мерой «нового курса». После того как в течение долгого времени рабочий-одиночка был беспомощен в руках гигантских корпораций, деятели «нового курса» пытались теперь при помощи закона Вагнера о трудовых отношениях предоставить профессиональным союзам по крайней мере равные с предпринимателями права для ведения переговоров. Была создана комиссия по биржевым вопросам для предотвращения в будущем возможности нового краха и тем самым для охраны интересов мелких держателей акций. При помощи федерального закона о страховании вкладов удалось сделать то же самое для банков и их вкладчиков. Авторы закона о социальном обеспечении стремились обеспечить людей в старости. Администрация по управлению долиной реки Теннесси (ТВА) использовала гидроэнергетические ресурсы для блага общества. Была создана комиссия по сельской электрификации, чтобы, как указывает само название, дать фермерам возможность пользоваться достижениями новой техники.

Возникли также отдельные движения, ставящие своей целью ограничение расовой дискриминации и охрану естественных богатств страны,— все это дополняло энергичные, хотя совершенно неподготовленные, импровизированные и разрозненные действия правительства, направленные на то, чтобы увеличить права почти бесправных и дать некоторое обеспечение совсем необеспеченным. Даже понимая тщетность усилий деятелей «нового курса», видя их частые административные промахи, отмечая большой политический капитал, сознательно нажитый президентом Рузвельтом за счет расточительного использования государственных средств и увеличения федерального правительственного аппарата, все же нельзя не признать подлинной сущности «нового курса»: это было одно из самых значительных и вместе с тем самых жизнерадостных движений в истории Америки.

Одни из мероприятий «нового курса», как оказалось, в корне противоречили его демократическим концепциям¹, а другие провалились из-за недостаточно тщательной подготовки. Но атмосфера, которую «новый курс» создал и поддерживал — когда можно было внести любое предложение, когда правительство было готово испробовать почти все, что угодно, если это имело какой-то смысл и могло принести заметную пользу,— породила ту самую свободу действий, которая отвечала любимому афоризму Рузвельта, что «нам нечего бояться, кроме самой боязни». Конечно, в период «нового курса» появлялись отдельные бестолковые деятели и возникали нелепые идеи, но это не может опорочить принципы, лежащие в его основе. Период его расцвета — с 1933 по 1937 год — был характерен общим жизнерадостным подъемом, быстрой, энергичной деятельностью, ощущением того, что дела налаживаются, а старые ошибки исправляются. Такими мерами, как увеличение покупательной способности несостоятельных слоев населения, как расширение прав рабочих при ведении переговоров

¹ В частности, НРА, установившая уровень цен и заработной платы для каждой отрасли промышленности. Структура ее имела неприятное сходство с корпоративным государством Муссолини. В 1935 году, почти к всеобщему облегчению, она была объявлена противоречащей конституции.

с администрацией, удалось восстановить в нашей экономической жизни то равновесие, которое с самого начала было присуще нашим политическим институтам. Снова стала восстанавливаться гармония между принципами собственности и гуманности. Пусть «новый курс» даже не дал ничего большего, но благодаря ему состояние пассивного отчаяния, охватившего страну в связи с депрессией, сменилось новой уверенностью в себе, более характерной для американцев.

Однако с началом второй мировой войны «новый курс» формально закончился, внимание американцев переключилось на события за рубежом и дальнейший прогресс страны еще более затруднился. После окончания войны Соединенные Штаты втянулись в холодную ожесточенную борьбу против Советского Союза. Этот конфликт, начавшийся сразу же после периода тирании фашистских империй, усилил у нас ощущение, что жизнь — это непрерывно осложняющийся процесс¹. Не одна Россия вызывала беспокойство. В глубине нашего мозга таился страх перед новым экономическим крахом. В этом случае наше колоссальное богатство не только казалось бесполезным, но, наоборот, в силу своих огромных размеров являлось тем фактором, который мог даже приблизить грозное событие. Чем выше был уровень национального дохода, который держался на инфляционных цен и зависел от нашей финансовой помощи Европе и военных расходов, тем значительнее казалась высота, с которой в один печальный день он мог упасть. Был ли этот наивный психоз беспочвенным или нет, но он еще более подорвал оптимизм американцев и их уверенность в себе.

Совершенно очевидно, что задачи, связанные с ликвидацией внешнеполитических трудностей, оказались гораздо сложнее, чем когда бы то ни было в нашей

¹ Взгляд на жизнь как на суровую, упорную борьбу с трудностями был основным лозунгом предвыборной агитации Эдлая Стивенсона во время президентских выборов в 1952 году. В каждой своей речи он утверждал, что успех в будущем возможен лишь в том случае, если мы признаем наши жизненные трудности и будем упорно бороться за их преодоление. Та же тема была затронута Уинстоном Черчиллем в его известной речи о «крови, поте и слезах», произнесенной после катастрофы в Дюнкерке.

истории. У нас хватило жизнерадостности, физической энергии и боевого духа, чтобы превратить Америку из дикой местности в передовую промышленную страну современного мира. Но их было явно недостаточно, чтобы привести куда более обширную планету в состояние мира и процветания. Теперь в умах американцев стало складываться новое представление о мировых проблемах, к которому не смогла подготовить их вся прежняя история Америки, отгороженной океанскими просторами и занимавшейся только континентальной экспансией.

Основным элементом этого нового взгляда была холодная война против России, которая началась почти сразу же, как только окончились военные действия против Германии и Японии. Здесь в прошлом американцев также не было никакого прецедента. За предыдущими войнами следовали периоды относительного мира. Даже после первой мировой войны Соединенные Штаты смогли, отказавшись от Лиги Наций, замкнуться в границах своего континента и заниматься своими внутренними делами, не отвлекаясь никакими внешними событиями. Вся англосаксонская традиция ведения войн, уходящая своими корнями в рыцарские времена, по существу, диктовала американцам определенный образ действия в победоносной войне. Сбив с ног другую страну до того, как она запросила пощады, вы затем помогали ей подняться, обменивались рукопожатием, счищали с нее пыль и расставались без чувства злобы. Если она сильно пострадала, то могла обратиться к вам за финансовой помощью, которую вы всегда охотно ей предоставляли. Могло случиться так, что лет через двадцать вам предстояло снова с ней сражаться, но оба — вы и ваш противник — были убеждены, что в промежутке вас ждет период мира. Правила рыцарского турнира все еще соблюдались. Даже если другая сторона сражалась нечестно, как делали нацисты и японцы во время второй мировой войны, это не имело для вас существенного значения. Придется повозиться с ней несколько упорнее и немного дольше — вот и все.

Военный кризис, возникший как прямое продолжение победоносной войны, был новым неприятным и исключительно нежелательным испытанием, но вместе с тем это был лишний фактор, еще более уяснивший для нас

мрачную и сложную природу вещей. Можно предполагать, что для России, которая была непричастной к западной концепции ведения войн и для которой историческая действительность в течение долгого времени представляла собой сплошной кризис, подобная ситуация не являлась необычной. Для Соединенных же Штатов это было еще одно неблагоприятное обстоятельство в срочной для них задаче научиться приспособлять старые формы внешней политики к новой мировой обстановке. Как и при всяком процессе приспособления, начальные стадии его сопровождалась усилением кризиса. Но сделанное нами открытие, что кризис есть одно из жизненных явлений и что следует его признать как факт и выдержать, прежде чем удастся его преодолеть, способствовало расширению нашего умственного кругозора.

Те, кто горевал о потере былой чопорности, кто утверждал, что утрата нашей традиционной самоуверенности в момент беспримечной военной победы, материального превосходства и мирового господства является признаком психической травмы, тем более серьезной, что она проявилась в такой критический период,— упускали из виду самое главное. Наши смешанные чувства неуверенности и беспокойства имели животворную силу, необходимую для превращения американца из самоуверенно дерзкого и жадного «человека границы» XIX века в сознательного гражданина мира, которого так явно и энергично требует атомный век. Это превращение было невозможно без переходного периода, в течение которого были отброшены старые понятия и сложились новые. Конечно, одни только вопросы, возникшие в связи с изобретением атомной и водородной бомб, были более сложными и щекотливыми, чем все другие в нашей истории; по сравнению с ними даже проблемы Гражданской войны, где дело шло об убийстве своих же соотечественников, выглядели простыми. Одного мужества и упорства теперь было недостаточно. На первый план в больших масштабах, чем когда-либо раньше, стали мучительно и медленно выдвигаться ум и знания, несмотря на все усиливающиеся нападки на них со стороны воинствующих агентов обскурантизма и иррационализма. Вполне возможно, что неуверенность в себе, породившая столько мрачных размышлений, явилась стимулирующим средст-

вом для роста американца как отдельной личности и как члена всемирного человеческого общества.

Писатели, первыми предвидевшие это брожение умов, были участниками важных для всей нации событий и, как свойственно художникам слова, поделились с читателями своими наблюдениями, придав им соответствующую форму и словесную выразительность, еще до того, как те же явления стали достоянием широкой публики. Тем самым они доказали, что являются чувствительным и точным барометром эмоциональной жизни народа. Писатели отнюдь не были изолированы от общей обстановки и долга, диктуемого моментом, и поэтому оказались исключительно восприимчивыми приборами, определяющими чувства и настроения, которые они представляли себе заранее и драматизировали затем с такой яркой убедительностью и размахом, что их произведения становились своеобразной сценой, на которой могли разыгрываться переживания зрителей. Короче говоря, они стали антеннами для общества в целом, и все злословие по их адресу за отдельные горькие или мучительные прогнозы не может заслонить собой прочной, хотя и запоздалой и не всегда признаваемой гармонии, возникшей между ними и страной. Они были далеки от мысли ввести читателя в заблуждение относительно совершающихся вокруг событий¹ и во многих случаях отличались замечательным умением предвидеть то, что должно еще произойти, и глубиной своего проникновения в грядущее. Они творили, не рядясь в мантии пророков и не претендуя на особые практические или исторические познания, которыми они, конечно, не обладали. И все это происходило в то время, когда популярные журналы распространяли сплошной поток «коммерческой» беллетристики, где преподносили читателям фантастическую духовную пищу и приторный, ничем не оправданный оптимизм, подменяя при этом заветные мечты американцев самыми нереальными выдумками, и вместе с тем соблазняли писателей быстрым вознаграждением, которого так часто лишала их собственная серьезная муза.

¹ Бернард де Вото в своей книге «Литературные заблуждения» упорно отстаивает мысль, что для писателей характерно неточное изображение современной им действительности.

В течение долгого времени главный упор делался на приобретение капитала и накопление материальных благ. Поэтому те, кто ставил перед собой иные задачи, занимали в обществе второстепенное место. Серьезный писатель, художник, композитор, ученый, посвятивший себя служению искусству или науке, не пользовался у публики должным авторитетом до тех пор, пока его цели и интересы публики не стали постепенно совпадать. По мере того как американец все больше и больше вовлекался в трагические события нашего века, он невольно начинал понимать, насколько сложен и полон страданий окружающий его мир. Он был вынужден признать существование иных ценностей, помимо материальной собственности, и, следовательно, установить более тесный контакт с людьми, которые в силу своей профессии имели дело с этими иными ценностями. В результате несколько сгладился исторически сложившийся отрицательный взгляд на умственную деятельность и интеллектуальное развитие и появилась готовность признать за людьми творческой мысли больший престиж, чем тот, каким они до этого пользовались. Признание этого престижа давно уже вошло в сознание западноевропейца как неотъемлемая часть его опыта, поэтому культура в Западной Европе издавна занимает почетное место в обществе. Что же касается Америки, то здесь весь фольклор и весь жизненный опыт нации до момента депрессии свидетельствовал об обратном — против мнения, что люди и даже группы населения, связанные с «духовным началом», могут иметь особо важное значение для жизни и процветания нации. Широко распространенным заблуждением еще в 1920-х годах была уверенность, что все проблемы могут быть решены накоплением достаточных денежных средств. События, происшедшие начиная с 1929 года, поколебали эту точку зрения. Американцы сейчас богаче и сильнее в материальном отношении, чем любая нация на земле, и все же у нас теперь нет уверенности, что одно это экономическое и техническое превосходство может решить все стоящие перед нами проблемы. Правда, наши материальные ресурсы имели решающее значение в победоносном завершении войны, но они не смогли все же установить тот *modus vivendi*, который раньше автоматически возникал после каждой победоносной войны.

Из всех этих мучительных колебаний выковывается новый американский характер, отличительными чертами которого становятся более частые размышления и более практический подход к явлениям, а также растущее понимание того, что жизнь имеет свою трагическую сторону. Безотчетный оптимизм и пессимизм, ранее существовавшие обособленно, теперь сливаются в новое эмоциональное состояние, в котором не тот или другой, а оба сразу прокладывают путь к серьезной оценке жизненных проблем нашего века.

Г Л А В А XV

К ПОЛНОЦЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

I

Исключительно важные события, происшедшие после 1914 года, наложили на Америку более продолжительное и тяжелое бремя, чем какие бы то ни было испытания в прошлом. Примитивные понятия прежних лет уже не отвечают новым требованиям. Теперь суровая обстановка XX века требует от нас умения в той или иной степени разбираться в происходящем и достаточно гибко действовать, а также серьезного взгляда на вещи, который в значительной мере определит наши планы на будущее.

Если раньше шла речь о признании умственной деятельности или отрицании ее, то теперь уже идет выбор между тем или иным образом мыслей. «Беспокойный век», как назвал его Оден, стимулирует и интеллект и нервы, и избежать этого невозможно. Даже жизнь в течение одних суток требует анализа, обдумывания и всех остальных стадий и процессов мышления. Тем более они необходимы теперь в стране в целом, чтобы разбираться хотя бы в общих чертах в поразительно быстром калейдоскопе событий, связанных с капитализмом и коммунизмом, с объединением Западной Европы, с освободительными движениями в Африке и Азии и с рядом других властно требующих

своего разрешения вопросов, возникающих в накаленной, чересчур наэлектризованной атмосфере современности.

Земной шар теперь так перенаселен и тесен, что на нем фактически уже нет укромных мест. Жалоба Мэттью Арнолда в «Ученом-цыгане», высказанная им свыше ста лет назад, на то, что на земле буквально нет места, куда можно было бы бежать, как в XVII веке, от цивилизованной жизни, звучит сейчас до смешного наивно. Земной шар в 1850 году еще изобиловал местами, где можно было укрыться. Не говоря уже о свободных землях на американском Западе, куда можно было бежать от трудностей жизни на восточном побережье, по всей земле были разбросаны живописные гавани, манящие к себе людей с расстроенными нервами. Пьер Лоти в своих экзотических романах о Ближнем Востоке рисовал в загадочном и привлекательном виде Турцию, Сирию и другие страны восточного побережья Средиземного моря. Чарлз Доути и позже Т. Э. Лоуренс сделали столь же заманчивым Аравийский полуостров. Затем быстрой чередой стали мелькать названия других романтических, сказочных мест, которые искушали и дразнили воображение людей, мечтающих хотя бы временно бежать от волнений цивилизованного мира. На передний план выдвинулись остров Таити и другие острова южной части Тихого океана; первый из них был заражен и в конце концов погублен болезнями белых людей, остальные — разграблены и лишены своего очарования в связи со страшными боями, происходившими в джунглях во время последней войны. Тибет также некоторое время фигурировал в эскапистской картине наряду с Индией, Перу и Мексикой.

Но масштабы земного шара настолько сузились, что теперь уже не осталось свободных уголков. Свободные земли Запада были проглочены продвигающимся населением, а живописные гавани были списаны со счета или вовсе стерты с лица земли знакомством с ними, наукой и войной. Правда, все еще остаются другие планеты и прочие небесные тела в межзвездном пространстве. Ярким доказательством того, что их можно достичь, служат различные проекты ракетных кораблей, предназначенных для полета на Луну, ракетных снарядов для достижения Марса, межпланетных станций,

подвешенных над стратосферой, вне действия законов земного тяготения. Но все это еще туманно и гадательно и дает слабое утешение ищущему выхода воображению. Люди стоят теперь перед фактом, что на земле нет больше убежищ, что эскапистская теория отжила свой век, что настоящее стало неизбежным, что прошлое вне досягаемости, а будущее еще нереально и не может служить нам якорем спасения.

Раз кризисов нельзя больше избежать, их следует встретить лицом к лицу. Много раз уже было доказано, что одни лишь сила и богатство не решат и не устроят наших проблем. Небывалое процветание 20-х годов не предотвратило биржевого краха. Огромная потенциальная мощь Соединенных Штатов не помешала нацистской Германии бросить нам вызов, а Японии, достигшей всего $\frac{1}{7}$ нашего производства стали,— напасть на нас. По мере того как развитие науки в наше время приближается к своей кульминационной точке, становится все более ясным, что одной силы теперь уже недостаточно, что всякая «реальная политика», направленная на поддержку одной тирании для противодействия другой, является лишь временной мерой, что национальная политика, основанная на физической силе, только увеличивает опасность, а не устраняет ее. Сила теряет свое значение, если не опирается на определенные принципы. И так как принципы не могут быть сформулированы без глубокого продумывания и сохранять свое действие без постоянной поддержки, то ясно, что атмосфера подавления интеллектуальной жизни противоречит национальным интересам. Между свободной умственной деятельностью и проведением демократической политики в самых широких масштабах должна существовать тесная и глубокая связь. Признание этой истины является одной из срочных и важных задач нашего времени.

По существу, важнейшим показателем нашей зрелости как народа является наше отношение к свободе мысли и слова. Общеизвестно, что полицейские налеты Палмера после первой мировой войны, изгнание из законодательных палат избранных туда социалистов, подавление свободы слова с вытекающим отсюда ограничением свободы мысли — все это послужило препятствием развитию демократии. С окончанием второй мировой войны внутренняя обстановка в стране определялась

взаимоотношениями между сторонниками безопасности и защитниками гражданских свобод. У тех и других есть свои законные интересы, и ясно, что обе стороны должны научиться сосуществовать друг с другом, если хотят, чтобы страна продолжала жить, сохраняя свой демократический образ жизни.

Сейчас в США усилилась кампания, проводимая во имя безопасности, против всяких оппозиционных мнений. Это положение используется честолюбивыми политиками, которые ополчились против либеральных взглядов, не имеющих ничего общего с коммунизмом, и занялись проверкой личных убеждений в областях, очень далеких от секретной деятельности правительственных учреждений и атомных лабораторий. Если не пресечь вовремя такие тенденции, они создадут атмосферу боязни и духовной замкнутости, характерную в своей крайней форме для тоталитарного общества, которого мы так стремимся избежать. Однако по мере того, как усиливаются нападки на непопулярные мнения, возникает и соответствующее противодействие им. Во всех судах страны выступают адвокаты, отстаивающие права лиц, обвиняемых в подрывных взглядах; раздаются громкие голоса, протестующие против подавления свободы мысли. Борьба противоположных сил, выступающих за максимальную и минимальную свободу слова, началась еще с основания республики. В настоящее время в основе этой традиционной борьбы лежит крайне актуальный вопрос о взаимосвязи между физической безопасностью и интеллектуальной свободой. Шпионаж, саботаж, измена — все это так же недопустимо, как грабеж и убийство, и наши законы, направленные на борьбу против них, должны строго соблюдаться. В этой части требования безопасности, безусловно, играют главную роль. Но там, где дело идет о мыслях, мнениях и высказываниях, несомненно, должны преобладать требования интеллектуальной свободы. Когда эти требования не соблюдаются, нарушается нормальное течение дел и наше жизненное равновесие. Говоря красноречивыми словами одного судьи:

«Риск — дело благородное. Лично я лучше пошел бы на риск, что какие-нибудь предатели ускользнут от правосудия, чем позволил бы распространяться духу всеобщей подозрительности и недоверия, при котором

слухи и сплетни заменяют беспристрастное, чуждое запугивания расследование.

Я считаю, что то общество находится уже в процессе разложения, где каждый человек начинает следить за своим соседом, как за возможным врагом; где несогласие с общепринятыми убеждениями, как политическими, так и религиозными, рассматривается как признак недовольства; где донос без каких-либо доказательств заменяет улику; где ортодоксальные мнения душат свободу разногласия; где вера в конечное торжество разума стала настолько робкой, что мы не осмеливаемся открыто высказывать наши взгляды, вынося их на суд общества»¹.

Итак, здесь главным принципом должно быть не *противопоставление* интересов безопасности интересам свободы, а их *совмещение*. Как и в случае с другими вредными противопоставлениями, задачей прогрессивного общества является установление между безопасностью и свободой гармоничного, взаимно выгодного сосуществования.

II

Брожение, вызванное в умах и сердцах людей огромными переменами, происходящими в нашу эпоху, приводит к тому, что взгляды американцев становятся более широкими и передовыми, чем они были когда-либо на протяжении столетия. Мы, например, создали свою собственную новую теорию национального благополучия. При президенте Маккинли в 1900 году правительство было лишь придатком к бизнесу. Планирование пользовалось дурной славой, на политических деятелей смотрели как на неизбежное зло, а от правительства было мало пользы при решении социальных проблем. Общество двигалось вперед наугад, то достигая равновесия, то лишаясь его. Коррупция, продажность, беззастенчивая спекуляция, хищническое использование естественных богатств, эксплуатация рабочих — все это шло своим чередом, без серьезного вмешательства со стороны государства, если не считать какого-нибудь случайного, легко обходимого

¹ «Нью-Йорк таймс» от 25 октября 1952 года.

антитрестовского закона или сделанного вскользь Теодором Рузвельтом замечания о «злодеях-богачах», которое могло вызвать раздражение у тогдашних магнатов¹, но мало повлияло на их деятельность. Федеральное правительство, децентрализованное до такой степени, что потеряло всякий авторитет, отказалось от своих функций защитника национальных интересов, стоящего выше любых групповых или классовых соображений. Отдельные голоса, изредка раздававшиеся в пользу централизованного управления, звучали безнадежным диссонансом.

Перемена, происшедшая в дальнейшем, особенно в период руководства Вудро Вильсона и второго Рузвельта, была очень значительна. Широкое признание получили идеи планирования в национальном масштабе и ответственности федерального правительства за благополучие всех граждан, а также организованное и систематическое применение умственного труда в разрешении стоящих перед государством проблем. Примером исключительно успешного применения его может служить работа Администрации по управлению долиной реки Теннесси, которая использовала энергию большой реки в интересах людей, проживающих в ее бассейне, и сделала это эффективно, без чьей бы то ни было помощи и по-деловому. Даже ранее предубежденные лица редко пытаются теперь задевать Администрацию. Людей консервативных взглядов, в свое время противившихся «новому курсу», теперь заботят уже масштабы и эффективное применение его принципов, а не сами принципы. Однако было бы наивно думать, что планирование надолго вперед, хотя в общем и признанное, надежно координируется, что деятельность федерального правительства по предотвращению и ликвидации социальных и экономических бедствий общенационального масштаба, хотя и является частью нашей рабочей доктрины,

¹ В своей книге «Магнаты-разбойники» Мэттью Джозефсон упоминает о неприязненном отношении Дж. Пирпонта Моргана к Т. Рузвельту. Узнав, что Рузвельт уехал с охотничьей экспедицией в Африку, великий финансист сказал: «Я надеюсь, что первый же лев, которого он встретит, выполнит свой долг». (Matthew, Josephson, The Rubber Barons, New York, Harcourt Brace, 1934, p. 451 п.)

упорядочена и беспристрастна и что согласованная умственная деятельность в масштабах всей страны, хотя и получила широкое одобрение, протекает гладко и отличается должной пронизательностью. Вся система еще страдает недочетами и делает резкие скачки, иногда работая удивительно слаженно, иногда совсем плохо. Правительственные штаты и расходы на их содержание достигли невероятно больших размеров, и соответственно стал более громоздким чиновно-бюрократический аппарат. Но все же эти идеи при всей неумелости и непоследовательности их применения на практике уже возникли, вошли в законы, которые вряд ли кто захочет теперь отменить, и представляют собой в политическом отношении огромное достижение в области серьезной умственной деятельности.

Еще одним шагом на пути к зрелости американского народа явилось падение престижа и влияния партийных боссов. Партийный босс — этот злокачественный и до последнего времени хронический нарост на политическом теле страны, удерживавший власть в своих руках самыми сомнительными средствами, — был неизменным фактором общественной жизни Америки на протяжении целого столетия. Уже давно публике было все известно о способах ведения им дел, так что большинство партийных боссов совсем перестало стесняться, даже не пытаясь завуалировать свои действия, как это делалось в первое время. В начале XX века, когда Линкольн Стеффенс писал свое знаменитое разоблачение — «Позор больших городов» — о незаконных связях, которые существовали между партийными боссами, местными крупными предпринимателями и преступными элементами, он был поражен, как охотно и бесцеремонно рассказывали некоторые боссы о своих отвратительных приемах. Эта откровенность опиралась на широкое признание их избирателями и на почти безошибочную их уверенность в неизменности такого отношения со стороны публики.

Боссов не просто признавали, к ним нередко относились с подобострастием и, во всяком случае, с уважением. Благоговейный страх, внушаемый боссом Хейгом в городе Джерси в течение более чем тридцати лет, превосходил негодование, которое он возбуждал у граждан. Босс Крамп из Мемфиса завоевал уважение такого ли-

берального и скептически настроенного журналиста, как Джон Гунтер; глава из книги Джона Гунтера «Внутри США», посвященная ему, содержала больше похвал, чем порицаний. Босс Пендергаст из Канзас-Сити добился изъятия верности даже от самого президента Трумэна, после того как очутился в каторжной тюрьме в результате судебного преследования со стороны федерального правительства. Партийный аппарат Келли-Нэша в Чикаго работал в тесном содружестве с правительством Рузвельта, что делало честь как инстинкту партийных боссов в отношении более сильной стороны, так и тактическому гению Рузвельта (или его беспринципности — если смотреть с другой точки зрения) в политических вопросах. В свое время Кроузер, Твид и Мэрфи из Таммани-холл в Нью-Йорке, Пентроуз из Филадельфии, Хэнна из Огайо и масса меньших светил процветали в течение длительного периода без малейшего противодействия с чьей-либо стороны. Когда отдельный босс в конце концов терял свое влияние, как почти всегда случалось (обычно потому, что либо его аппарат переставал быть достаточно гибким, либо коррупция становилась уж слишком возмутительной даже для благодушной публики), другой, редко чем-либо отличавшийся от него, вскоре занимал его место, и сама система, по-видимому неуязвимая при происходивших вокруг переменах, продолжала действовать по-прежнему.

Даже интеллигенты иногда пленялись могущественным образом босса. Наиболее примечательный факт такого рода — положительный образ Хью Лонга в замечательном романе Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать». Тщательно описав все аморальные поступки, совершаемые этим политическим демагогом, и рассказав о том, как дорого обошлись людям полученные ими выгоды (Хью действительно отличился в области сельского образования в Луизиане и построил много миль новых дорог), автор все же оценивает его как положительное социальное явление, считая, что совершенное им добро перевешивает зло. Его убийство в конце книги превращается, таким образом, в подлинную трагедию, которая трогает читателя, несмотря на все сомнения и доводы разума.

Однако в период, следовавший за второй мировой войной, власть партийных машин, по крайней мере в их

прежнем понимании, постепенно уменьшалась. Поражение Хейга в Джерси было организовано его бывшим учеником, который не пытался управлять городом в диктаторской манере своего предшественника. Партийная машина республиканской партии в Филадельфии была свергнута после того, как много десятилетий находилась у власти. Таммани-холл в Нью-Йорке переживает все более и более трудные времена. Передававшиеся по телевизору результаты расследования преступности в Америке, проведенного сенатором Кефвером, нанесли тяжелый удар по уже пошатнувшемуся положению партийных машин в крупных городах. По всей стране они терпели неудачу в подготовке голосования. Появление независимых избирателей, усиливающееся отвращение к политической коррупции, рост политической сознательности и гражданской ответственности у американцев — все это послужило началом конца босса.

Поведение американцев в общественных вопросах также стало более серьезным. Предубеждение против американцев немецкого происхождения, так сильно сказавшееся на поведении наших граждан во время первой мировой войны, почти не имело места в период второй мировой войны. Возбужденные толпы шовинистов уже не били стекол в витринах кондитерских. Не было закона, по которому немецкий язык изгонялся бы из учебных программ школ и колледжей. Музыка Брамса, Вагнера, и Бетховена исполнялась непрерывно. Никто не предлагал снова заменить название «зауэркраут» на «кислая капуста», и ни один из университетов не опубликовал «голубых книг» (как это сделал Висконсинский университет во время первой мировой войны), разоблачающих германскую культуру во всех ее фазах. Обращение с японцами было более резким, но даже и тут отсутствовал патологический оттенок, заметный в предыдущую войну.

Что касается более существенных вопросов в области дискриминации, то дело уравнивания негров в правах с белыми идет мучительно медленно, хотя все же движется вперед. Антисемитизм все еще существует, но осуждение его и оппозиция к нему становятся все сильнее. Система квот, введенная многими университетами, подвергается критике, а такие картины, как «Джентльменское соглашение» и «Перекрестный огонь», были одобритель-

но встречены широкими кругами зрителей. Условия жизни пуэрториканского, мексиканского и индейского меньшинств остаются ужасающими, но даже в отношении этих более мелких групп начинает пробуждаться общественная совесть. На Юге все еще царит джимкромизм, но вопрос о гражданских правах негров, поднятый федеральным правительством, потряс всю страну. Негр теперь может быть избран капитаном футбольной команды Йельского университета, негры впервые стали играть совместно с белыми на бейсбольных площадках в Джорджии, в колледжах начинают появляться смешанные студенческие общества, и в ряде штатов были приняты законы о совместном обучении белых и негров.

Это не значит, что наступает золотой век и что все американцы будут впредь жить совместно, в мире и братской любви. И прогресс не везде идет одинаково последовательно. Как указано в докладе Национального комитета по вопросам сегрегации в столице за 1949 год, негр, проживающий в Вашингтоне (округ Колумбия), обеспечен теперь хуже, чем в 1900 году. Кроме того, выпускается антисемитской литературы на десятки тысяч экземпляров больше, чем пятьдесят лет назад. Но хотя линия прогресса и прерывается, она все же направлена в основном вперед и свидетельствует о несколько более зрелом подходе к одной из самых сложных областей социальных отношений.

Имеется множество признаков проявления независимой мысли у граждан. Наши средства связи и пропаганды достигли в этом столетии необычайно высокого технического уровня, тем не менее ясно, что если вообще их способность управлять настроениями публики и увеличилась, то далеко не пропорционально их техническому росту. В то время как в кампаниях по выборам президента начиная с 1932 года подавляющее большинство газет и журналов поддерживает республиканцев, избиратели в большинстве случаев голосуют за демократов. Кампания 1948 года служит ярким примером того, как граждане перестают поддаваться запугиванию, принуждению и паникерству. Несмотря на редакционные комментарии газет и на уверенные прогнозы экспертов и органи-

заций, занимающихся опросами населения, избиратели выражают свое собственное, независимое мнение.

Широкая, навязчивая реклама, каково бы ни было ее первоначальное влияние, породила в умах публики все усиливающийся элемент протеста и теперь так же легко вызывает недоверие к себе, как и наивную веру. Целый поток популярных романов, из которых наиболее известен роман «Барышники», посвящен разоблачению махинаций представителей рекламного бизнеса; в этих романах показывается, как часто реклама обманывает свою обширную клиентуру и тем самым подрывает доверие к себе.

Генри Морган создал свой комический радиообраз отчасти тем, что подшучивал над субсидирующими его фирмами их продукцией. Убедившись, как часто встречается разница между рекламой и действительностью, потребители в своей массе стали меньше доверять рекламным утверждениям. В материалах федеральной торговой комиссии имеется множество дел о судебном преследовании фирм за обман при помощи рекламы; сведения об этих делах, хотя и в незначительной степени, просачиваются в широкие круги потребителей.

Итак, американец теперь стал во многих отношениях менее доверчивым, менее склонным принимать все за чистую монету, чем раньше. В результате горького опыта недавнего времени, когда злоупотребляли его доверием и нарушали данные ему обещания, стало труднее, чем прежде, убедить его в чем-либо. Самая грандиозность машины убеждения, возникшей в ходе развития техники, создала у публики инстинкт недоверия и сделала ее менее покладистой, менее леповерной, чем она была, по утверждению Менкена, лет двадцать тому назад. Есть основания считать, что американский народ умнее своих лидеров. Как говорит Уильям А. Лидгейт в своей книге «Что думает Америка»: «Я готов защищать тезис, что американский народ не только правильно в общем судит об общественных делах, но что он проявляет больше здравого смысла, чем его лидеры в Вашингтоне. Этот тезис основан на внимательном изучении результатов тех опросов, которые помогают выяснить общественное

мнение. Эти результаты свидетельствуют о том, что избиратели, как правило, оказываются более проникательными, чем конгресс и правительство»¹.

III

Параллельно с развитием американского народа в политическом и социальном отношениях происходит опромное расширение его культурной деятельности. Появляется все больше и больше местных симфонических оркестров. Количество проданных пластинок с классической и джазовой музыкой достигло астрономических цифр. По всей стране созданы местные театральные труппы. Как в больших, так и в небольших городах устраиваются концерты выдающихся артистов. Норман Казинс в журнале «Сатэрди ревью» подводит итог этой оживленной деятельности:

«... об известном повышении интеллектуальной зрелости нации можно судить по тому факту, что в колледжах сейчас обучается на 65 % больше американцев, чем в 1925 году. Поразительное увеличение посещаемости концертов и художественных выставок, приобретающее «массовый» характер,— это не просто счастливая случайность, а нечто большее. Тот факт, что многие серьезные книги, такие, например, как «Очерки истории» Тойнби, пользуются большим спросом, имеет в своей основе более глубокие причины, чем простое желание публики коллекционировать красивые книги. Рост общественной деятельности на местах, все более активное участие родителей в выработке местной политики в области образования, расширение кругозора в связи с войной у миллионов молодых мужчин и женщин — все это характерные черты новой Америки, значительно более передовой, чем существовавшая всего четверть века назад»¹.

Интересы публики в этих и многих других областях, так же как и живые отклики с ее стороны на значительные культурные события, вышли далеко за рамки огра-

¹ William A. Lydgate, What America thinks, New York, Crowel, 1944, p. 2—3.

² «Сатэрди ревью» от 4 февраля 1950 года.

ниченного провинциализма, преобладавшего в начале века. Правда, плохие кинофильмы, пустая болтовня журналов-«дайджестов», наивно-сентиментальная беллетристика журналов с массовыми тиражами и примитивные программы радио и телевидения привлекают еще внимание некоторой части публики, но зато отталкивают другую, обычно более просвещенную. Случайное невнимание со стороны публики к зрелой творческой работе омрачает те моменты — более многочисленные сейчас, чем в течение долгого времени в прошлом, — когда она радостно воспринимает эту работу. Восторженный прием, оказанный пьесам «Смерть коммивояжера» Артура Миллера и «Трамвай, называемый желанием» Теннесси Вильямса, свидетельствует об огромном интересе к таким произведениям искусства, которые отражают реальный человеческий опыт. Подобная реакция со стороны зрителей тем более примечательна, что эти пьесы не потакают «популярным» вкусам, не предлагают никаких панацей и трагичны по своему содержанию. Раньше существовало мнение, что пьесы Шекспира несут гибель кассовым сборам, но превосходная экранизация «Гамлета», поставленного Лоуренсом Оливье, дала несколько миллионов долларов прибыли. Передача по радио серьезной оперы казалась недопустимо скучной программой, но трансляции со сцены нью-йоркского оперного театра «Метрополитэн-опера» привлекли внимание слушателей по всей стране и вызвали весьма положительные отзывы.

Однако деятели нашего популярного искусства продолжают большей частью выпускать избитые и неблагоприятные штампы. Иногда отдельные лица из их среды делают ставку на серьезные потенциальные запросы широкой публики, но в целом в нашем популярном искусстве нет еще заметного прогресса, который свидетельствовал бы о последовательном приближении к эмоциональной зрелости. За редким исключением, руководящие деятели искусства все еще действуют под влиянием взгляда, что американский народ имеет умственные способности отсталого подростка. В известной статье, критикующей миф о якобы застывшем умственном развитии американцев, журнал «Форчун» писал:

«С различной степенью бесстыдства пресса и радио, рекламные агентства и кинопромышленность снабжают

наш терпеливый народ ужасающим количеством расслабляющей его бессмысленной болтовни, умышленно рассчитанной в массовом масштабе на умы подростков. Хуже того, многие наши политические лидеры действуют по тому же принципу. В результате этого политические кампании проводятся по совершенно не относящимся к делу — хотя, может быть, и занимательным — вопросам. Политические проблемы, имеющие реальную ценность, не затрагивались в течение десятилетий...

Существует прочная тенденция говорить с народом на примитивном языке, писать для него упрощенно, как будто американцы в самом деле являются тринадцатилетними подростками с ограниченными умственными способностями, минимальным чувством ответственности, прирожденным отвращением к действительности... Обращаясь к нам таким образом, наши культурные деятели не только подрывают веру публики в печатное и устное слово, но и не используют до конца потенциальных возможностей, заложенных в умственных способностях народа...

Если вы обращаетесь к людям с вопросами — сложными вопросами, требующими продуманных ответов; вопросами, которые требуют реалистической оценки крупных проблем; вопросами, касающимися будущего нации и всего мира, —... (их ответы) показывают образец логической, связной мысли... Подавляющее большинство... отвечает разумно, с рассудительностью человека, способного голосовать, вырабатывать свои законы, представить себе тот строй общества, при котором он хочет жить»¹.

Народ, может быть, и не кладезь премудрости, как иногда утверждают энтузиасты демократии, но он и не тупая масса обывателей, как часто заявляют снобы от культуры и реакционные критики. Значительные его слои, несомненно, живо воспринимают искусство и литературу, свободную от влияния обскурантизма. Неослабный гнет века техники взбудоражил всех до такой степени, что наряду с самым искренним желанием уйти от действительности возникают небывалая любознательность и интерес к познанию жизни. Именно эта любозна-

¹ «American Man-In-The-Street», Fortune, December, 1942.

тельность, рождающаяся на развалинах старой наивной веры в могущество мускулов и денег, способных якобы разрешить все трудности и ликвидировать все кризисы, создает прочную основу для расцвета творческой деятельности в Америке.

А каково сейчас положение работника искусств? С точки зрения заработка творческое искусство в Америке по-прежнему остается в основном дополнительным занятием, которому посвящают свободное время, остающееся от работы, ради куска хлеба. Начиная с 1900 года, в период общего подъема жизненного уровня, ставшего возможным благодаря огромному развитию техники, на долю американских работников искусств приходилось только немногие жалкие крохи. Но зато они добились заметного успеха в области повышения престижа и признания ценности их труда. Американские музыканты, художники, композиторы и артисты балета пользуются сейчас таким вниманием, как никогда раньше. Произведения американских композиторов все чаще и чаще включаются теперь в репертуар больших симфонических оркестров, где лет двадцать тому назад они появлялись лишь изредка. Специалисты-хореографы, например Агнес де Милл, Хеная Холм, Тамирис, приглашаются руководить балетом в музыкальных пьесах, идущих на Бродвее. Постановка пьесы «Оклахома!» в 1943 году казалась вначале смелым экспериментом для коммерческого театра, но была очень тепло встречена публикой, которая чрезвычайно обрадовалась, что театр отошел от избитых штампов варьете, принятых в музыкальной комедии. Теперь уже вошло в обыкновение включать в музыкальные спектакли первоклассные балетные танцы. Американская литература, бывшая некогда незначительным придатком к европейской, в наше время стала подлинным центром творческой мысли. Таких художников слова, как Хемингуэй и Фолкнер, европейцы относят к числу крупнейших писателей нашего века.

Огромный рост этих видов искусства с начала XX века не был случайным и временным явлением, а происходил из подлинного прогресса в их общественном значении. В течение некоторого времени в 30-х годах развитие их даже субсидировалось из общественных фондов, что казалось немыслимым двадцать и даже десять лет назад. Целые группы видных деятелей в различных об-

ластях искусства добились успеха, постепенно преодолевая косное равнодушие и молчаливое пренебрежение со стороны своей потенциальной аудитории. Художники Слоан, Мэрин, Бентон, Вуд, Кэрри, Соьерсы, Шан; композиторы Коплэнд, Шуман, Дайамонд, Барбер, Крестон, Делла Джойо; писатели Сэндберг, О'Нейл, Льюис, Хемингуэй; Волф, Теннесси Вильямс, Артур Миллер, если назвать только некоторых из них; талантливые и видные деятели балета, от Рут Сейнт-Денис, Марты Грэхэм, Дорис Хамфри, Чарлза Вейдмана до десятков молодых способных танцовщиков и танцовщиц,— все они завоевали симпатии публики, которая каких-нибудь пятьдесят лет назад была целиком враждебна искусству.

Эта проявленная впервые восприимчивость публики подает самую живую надежду на то, что материальное положение деятелей искусств улучшится. Американцы всегда охотно и щедро платят за все, что им нужно,— будет ли это устройство водного бассейна или легкое развлечение,— и поэтому рост их серьезных запросов, вероятно, будет сопровождаться соответствующим ростом и престижа и денежного вознаграждения деятелей искусств и людей творческой мысли. Подобный процесс уже имеет место в американских деловых кругах, которые за последние годы проявляют все большее понимание важности искусства для промышленности. Осуществление современных и порой исключительно художественных архитектурных замыслов при возведении многих промышленных и деловых зданий (ярким примером могут служить дом фирмы братьев Левер в Нью-Йорке и технический центр фирмы «Дженерал моторс» в Детройте) представляет собой показатель богатых возможностей, открывающихся благодаря слиянию эстетического и коммерческого начал. Баснословный успех таких мастеров кисти, как Реймонд Лоуи, в художественном внешнем оформлении сотен товаров, повседневно применяемых в быту, свидетельствует о том, что неприязнь столетней давности между искусством и коммерцией отнюдь не обязательна. Стремление применить живопись, архитектуру и скульптуру к явлениям и предметам повседневной жизни указывает на желание сочетать красоту и практичность, то есть такие элементы, которые в прошлом очень часто считались непримиримыми. Сочетание культуры с коммерцией наблюдается

также в организуемых фирмой «Пепси-кола» и другими торговыми фирмами художественных конкурсах, в кампаниях по организации денежной помощи со стороны деловых кругов прогрессивным художественным колледжам и в огромных затратах на интеллектуальную деятельность со стороны фондов Рокфеллера, Гуггенгейма и Форда. На средства фонда Форда создан также философский научно-исследовательский институт в Сан-Франциско.

Бизнесмены начинают признавать, что интеллектуальное развитие и широкое образование нужны для целей самого бизнеса. «Успех или провал всякого делового предприятия зависит от одной причины, и только от нее, а именно от чьего-то ума,— заявил председатель правления фирмы «Армстронг корк компани» Г. У. Прентис младший,— ибо никто еще не изобрел машину, которая способна думать. А в условиях современных экономических и политических неурядиц как внутри страны, так и за границей постоянно требуются умы все большего и большего калибра, для того чтобы американский бизнес и американская промышленность полностью выполнили свой долг перед обществом в нашем очень беспокойном мире». Такие умы, продолжал он, могут быть созданы не узким профессиональным или специальным обучением, а только самым широким образованием:

«Неспособность узкоспециализированного ума видеть всю ситуацию в целом, боязнь предаться полету воображения и тем самым расширить масштабы своей деятельности часто являются результатом... профессионального обучения, слишком близко нацеленного и слишком узко применяемого. Ректор Гарвардского университета Лоуэлл был прав, сказав, что занятие конкретным не ведет к познанию абстрактного». В результате мы слишком часто встречаем электротехников вместо инженеров-электриков; землемеров — вместо инженеров-строителей, адвокатов-крючкотворов — вместо юристов; литературных поденщиков — вместо настоящих журналистов; чертежников — вместо архитекторов; педагогов — вместо профессоров; безличных, мелочных педантов — вместо прежних врачей, лечивших семьи на протяжении нескольких поколений и умевших видеть в пациенте человека, а не совокупность различных органов и желез! Поэтому, пожалуйста, обучайте сколько нужно бизнесу как

профессии, но в то же самое время помните о важнейшем значении для современного бизнеса находчивости, конструктивного воображения и предвидения и старайтесь усилить развитие этих качеств при помощи широкого стимула, каким является общее образование»¹.

IV

Наблюдавшийся в последнее время рост общественного авторитета физиков-атомников также свидетельствует об изменении общественных критериев американцев. Пока ученый в их представлении был только странным чудачком, скромно работающим в лаборатории, он не имел никакого авторитета. Когда же его глубокие исследования привели к открытию атомной бомбы, способной смести рассудительного, практичного человека и всю его собственность с лица земли, ученый стал грозной фигурой. Очень многие люди, пренебрежительно относившиеся к научным исследованиям и вообще ко всякому теоретическому мышлению, стали понимать, что теоретические изыскания — это такой могущественный и такой действительно практический процесс, что он в любой момент может привести к крушению мира.

Даже военные, долго игравшие второстепенную роль в американской жизни, стали претендовать на свою долю престижа и влияния. После второй мировой войны армейские генералы стали допускаться на пост государственного секретаря, получать ответственные назначения в качестве послов, играть решающую роль в административно-правительственном аппарате и даже избираться в президенты. Крупные университеты в поисках нового руководства прибегают к их услугам. Газеты и журналы охотно предоставляют свои страницы не только для мемуаров времен войны, но и для комментариев, предостережений и прогнозов военных деятелей по вопросам мирного времени. Для некоторых людей, незнакомых с нашими гражданскими традициями, это может показаться угрожающим явлением, хотя пока что большинство наших победоносных генералов оказались сдер-

¹ H. W. Prentis, Jr. *Liberal Education for Business and Industry*, American Association of University Professors Bulletin, Autumn, 1952.

жанными и рассудительными людьми. Угрожающее или нет, но само по себе такое явление указывает, насколько изменчива сложившаяся теперь обстановка в части руководства страной, если учесть, что в течение долгого времени это руководство составляло исключительную монополию людей, занятых торговлей и финансами.

Профессиональные союзы также завоевали свое место под солнцем и, изъяв у капитала некоторую долю огромной, сосредоточенной в его руках власти, усилили этим позиции демократии, которая основывается на принципе разделения власти и распределения ее между наибольшим числом самых различных групп людей. Чем больше элементов и групп обладают властью и разделяют ответственность за ее действия, тем лучше обеспечивается благополучие республики. Столь большой изменчивости в смысле общественного влияния не наблюдалось в американской жизни со времени окончания Гражданской войны, когда проповедники, поэты, профессора, старинная аристократия, новейшие реформаторы сельского хозяйства были вытеснены с руководящих позиций и их место заняли предприниматели. Как далеко смогут продвинуться в этой обнадеживающей обстановке люди умственного труда независимо от их профессий,— покажет будущее.

На протяжении целого столетия у них не было более благоприятных, чем сейчас, возможностей. Это продемонстрировала замечательная избирательная кампания, проведенная Эдлаем Стивенсоном в 1952 году. Подходя к своим слушателям с самой высокой, а не с самой низкой (как это чаще случается в политике) меркой, Стивенсон с разумной проницательностью и юмором, удивительно красноречиво обрисовал сложные проблемы нашего времени. Это свидетельствовало о возвращении на политическую сцену страны мыслящего человека. Правда, Стивенсон не одержал победы на выборах, но он собрал свыше 27 миллионов голосов и произвел чрезвычайно сильное впечатление еще на многие миллионы сторонников обеих партий. Тот факт, что такой человек, показавший в полной мере силу и размах свободной мысли, мог стать кандидатом большой партии и вести предвыборную кампанию без всяких компромиссов со своей совестью и с избирателями, явился сам по себе выдающимся событием в развитии страны.

Гибкость американских политических институтов, которые до сих пор выдерживали всю тяжесть выпадающих на их долю испытаний, является твердой гарантией того, что наметившиеся вновь пути прогресса останутся и впредь открытыми. Аналогичную гибкость можно наблюдать и в нашей экономической системе.

Дж. К. Гэлбрейс в своей чрезвычайно полезной книге «Американский капитализм» рассказывает, каким образом в нашем экономическом строе сложилась система контроля и равновесия, аналогичная той, которая включена в наш политический строй основателями республики. Излагая свою теорию «уравновешивающей силы», он приводит данные роста договорной силы и экономической независимости рабочих, фермеров, потребителей и других слоев населения, которые некогда были сравнительно беспомощны и не могли сами себя защищать. Общество, умеющее, в силу своих естественных внутренних побуждений, распределять экономическое влияние между всеми своими элементами, представляет собой ту материальную основу, на которой могут процветать высшие формы демократии. До тех пор пока существует эта гибкость, возможны любые перемены, даже радикальный перелом в нынешнем, все еще затруднительном положении мыслящего человека.

Жизнь нашей нации требует, чтобы ее составные части — как экономическая, политическая, так и культурная — функционировали свободно. Техническая сноровка, может быть, необходима и выгодна, но так же необходимы и искусство, и творческая мысль. Материальные блага являются необходимой основой существования человека, но не могут способствовать его просвещению, если не будут сочетаться с организованным разумом; максимальное благополучие человека зависит от их взаимодействия. Если равновесие между ними нарушено — как это нередко случается, — то последствия бывают столь же пагубными, как если бы одни органы нашего правительства были подчинены другим или если бы в нашей экономике либо рабочим, либо администрации предприятий позволили занять господствующее положение. Поэтому в наших интересах крайне важно устранить искусственно созданную пропасть между идеями и действиями. Ликвидация разрыва между ученой интеллигенцией и малообразованными людьми, того разрыва,

о котором еще много лет назад говорил Ван Вик Брукс, должна быть включена как один из главных пунктов в повестку дня нации. Когда исчезнет та неприязнь, которая владела ими в течение столь долгого времени, когда они снова станут жить на началах сотрудничества и взаимного уважения, тогда будет сделан большой шаг вперед к созданию полноценной жизни американского общества.

Насущные потребности нашего времени уже начинают объединять спорящие стороны. Можно надеяться, что с завершением этого процесса наша нация встретит надвигающиеся кризисы в новых условиях сплоченности. Одновременно с этим окажется также возможным достигнуть наконец раскрепощения ума со всеми его мыслительно-функциональными свойствами. Это раскрепощение ума, как и всякое другое выдающееся событие, явится сигналом к ликвидации раскола в американской культуре, к дальнейшему прогрессу той более широкой демократии, в условиях которой преуспевает полноценный человек.

Говоря словами Льюиса Мамфорда, «Вопрос надо ставить так: «Какого человека мы хотим создать?» Не человека, жаждущего власти или ищущего прибыли, и не механического робота, а полноценного человека, который должен стать центральной фигурой новой цивилизации»¹.

Такова заманчивая цель, стоящая перед нами в будущем.

¹ «Нью-Йорк таймс» от 15 сентября 1948 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От Издательства	5
Предисловие	11

Часть I

МЕСТО ИНТЕЛЛИГЕНТА В ЖИЗНИ АМЕРИКИ

Глава I. Кошмар маккартизма	15
Глава II. Мыслители и дельцы	27
Глава III. Культура в кривом зеркале	38
Глава IV. Ложные представления о богатстве и бедности	68
Глава V. Бегство и возвращение писателя	76
Глава VI. Выхолощенное обучение и преследуемые учи- теля	88
Глава VII. Общественная жизнь интеллигента	106

Часть II

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КУЛЬТУРЕ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА

Глава VIII. Поток печатных изданий	115
Глава IX. Три области искусства, слившиеся в одну	149
Глава X. Герой американского фольклора	168

Часть III

ПОЛНОЦЕННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Глава XI. Интуиция и близкие ей понятия	200
Глава XII. Тщетное бегство от самого себя	221
Глава XIII. Принципы, положенные в основу нашей жиз- ни	244
Глава XIV. Спад оптимизма и пессимизма	273
Глава XV. К полноценному человеку!	288

Л. Гурка
КРИЗИС
АМЕРИКАНСКОГО ДУХА

Редактор *И. И. ЦЫГАНКОВ*
Переплет художника *Б. И. Фомина*
Художественный редактор *Б. И. Астафьев*
Технический редактор *Н. А. Иовлева*
Корректоры *Т. Г. Вульф* и *В. С. Назарова*

Сдано в производство 31/III 1958 г.
Подписано к печати 6/VIII 1958 г.
Бумага $84 \times 108^{1/2}$ = 4,9 бум. л. 16,0 печ. л.
Уч.-издат. л. 16,5. Изд. № 9/3967. Цена 8 р. 10 к.
Зак. 341

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

1-я тип. Трансжелдориздата МПС
Москва, Б. Переяславская, 46.

КНИГИ ПО ФИЛОСОФИИ,

ВЫПУСКАЕМЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

в 1958 году

- М. Аббате, **Философия Бенедетто Кроче и кризис итальянского общества, перевод с итальянского.**
- И. Гоушка и К. Кара, **Характер народно-демократической революции, перевод с чешского.**
- Л. Гурко, **Кризис американского духа, перевод с английского.**
- Б. Данэм, **Гигант в цепях, перевод с английского (вышла в свет).**
- П. Косса, **Кибернетика, перевод с французского.**
- О. Корню, **Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность, т. 1, перевод с немецкого.**
- П. Кроссер, **Нигилизм Джона Дьюи, перевод с английского (вышла в свет).**
- Г. Менде, **Очерки о философии экзистенциализма, перевод с немецкого.**
- Т. Павлов, **Основное учение И. П. Павлова в свете диалектического материализма, перевод с болгарского (вышла в свет).**
- А. Робертсон, **Рационализм в теории и на практике, перевод с английского (вышла в свет).**
- М. Рой, **История индийской философии, перевод с бенгали (вышла в свет).**

- Дж. Томсон, **Предвидимое будущее, перевод с английского** (вышла в свет).
- Д. Томсон, **Первые философы, перевод с английского**.
- Г. Уэллс, **Павлов и Фрейд, перевод с английского**.
- Н. Винер, **Кибернетика и общество, перевод с английского** (вышла в свет).
- Л. Витгенштейн, **Логико-философский трактат, перевод с немецкого** (вышла в свет).
- И. Сакисака, **Современные японские мыслители, перевод с японского**.
- Р. Карнап, **Значение и необходимость, перевод с английского**.
- Д. Морено, **Социометрия, перевод с английского**.
- Чжан Жу-синь, **Критика прагматистской философии Ху Ши, перевод с китайского** (вышла в свет).
- Л. Лонго, **Ревизионизм новый и старый, перевод с итальянского** (вышла в свет).

А. Гурко

Кризис американского духа.